Новый Журнал

Stanger of XLV of

THE NEW REVIEW

Нью-иорк

Statement required by the Act of August 24, 1912, as amended by the Acts of March 3, 1933, and July 2, 1946 (Title 39, United States Code, Section 233) Showing the Ownership, Management, and Circulation of The New Review, Inc. Published Quarterly at New York, N. Y., for October 1, 1955.

1. The names and addresses of the Publisher, Editor, Managing Editor, and Business Managers are:

Publisher, New Review, Inc., 223 West 105th St., New York, N. Y.; Editor, Prof. Michael M. Karpovich, 898 Memorial Dr., Cambridge, Mass.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York, N. Y.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must by stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

New Review, Inc. No stocks. 223 West 105th Street, New York 25, N. Y.; President, Michael M. Karpovich, 898 Memorial Drive, Cambridge, Mass.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York 25, N. Y.; Treasurer, David Shub,

920 Riverside Drive, New York 32, N. Y.

3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: (If there are none so state).—None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stock-holders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was: (This information is required from daily, weekly, semi-

weekly, and triweekly newspapers only).

Roman Goul, Managing Editor

Sworn to and subscribed before me this 26 day of September, 1955. Irving Light, Notary Public, State of New York, No. 31-2362800, Qualified in New York County, Com., Expires March 30, 1957.

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатель М. ЦЕТЛИН

Пятнадцатый год издания



Редактор М. М. КАРПОВИЧ Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

NEW REVIEW, June 1956.
Quarterly, No. 45.

223 West 105th St. New York 25, N. Y.
Publisher: New Review, Inc.
Subscription Price \$7. — for one year.
Second Class Mail Privileges authorized
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА:	
Е. Гагарин — Охота на гусейИрина Одоевцева — Когда бушевала буряЛ. Ржевский — Человек, которому было всё равно	5 15 53
стихи:	
А. Величковский (98, 99, 135, 148, 194), В. Злобин (14, 100), Олег Ильинский (102), И. Одоевцева (104), Ю. Одарченко (106), И. Легкая (107), А. Шишкова (108).	
литература и искусство:	
Дм. Чижевский — Шиллер в России	109 136
воспоминания и документы:	
Ек. Кускова — Давно минувшее	14 9 181 195
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:	
Г. Андреев — Иные времена Н. Тимашев — Очернение Сталина Ю. Денике — Проблемы коллективной диктатуры Н. Ульянов — Комплекс Филофея М. Карпович — Комментарии: 1) О русском мессианстве, 2) Достоевский, Белинский, Шиллер	207 222 229 249 274
ВИБЛИОГРАФИЯ:	
К. Солицев — I. Fedorov's Primer of 1574. Роман Гуль — Кн. Сергей Щербатов. Художник в ушедшей России. М. Коряков — С. Максимов. Бунт Дениса Бушуева. Е. Климов — А. Бенуа. Жизнь художника. Письма в редакцию	284

ОХОТА НА ГУСЕЙ

Осень стояла на редкость солнечная, теплая — весь сентябрь ни разу не выпало дождя и старики крестьяне утверждали, как всегда в таких случаях, что за всю жизнь не помнят такой засухи. День вставал неизменно ясный, с утра всюду сухо шелестела листва, совсем еще не пожелтевшая, игольчато мерцало жнивье, запаханные поля поросли скудной седой травкой, до-красна выжгло луга. Волокнисто струился воздух, уже наливавшийся незаметно холодком, на востоке по небу тянулись длинные, хрупкие на вид облака.

Художник Лохов приехал две недели тому назад в деревню, остановился в трактире и, облюбовав одно место за лесом на берегу речки, каждое утро уходил туда с мольбертом. Здесь горьковато пахло сухим ивняком, густо росшим по берегу. У кустов в воде, чуть посеревшей и уже щетинившейся на ветру, меж синего круглого хвоща, по-летнему ярко желтели кувшинки. А за рекой широко убегали, чуть горбясь, луга, и налево вдали белел усадебный дом среди парка, очень напоминавший Лохову детство, серединную Россию. Первый раз он невольно оглянулся кругом — бредил он что-ли?.. Казалось вот тут, у этого куста, он сидел столько раз мальчишкой с удочкой в руках — разительно было сходство!..

Раскрыв этюдник, он обычно долго сидел, томясь, не зная как передать вот это скудеющее небо, волокнистое струенье, ломкие белые облака и всю эту свежесть и прозрачность бабьего лета, эту скорбь и яркую красоту умиранья, что так тачиственно соединялись и в мире, и в его душе. И каждый день он уходил недовольный собой, унося несколько этюдов.

Последние дни на той стороне стала появляться дама, на вид даже девочка, в рейтузах, по-мужски верхом на рыжей под-

Copyright 1956, by "New Review Inc.". All rights reserved.

жарой лошади, или одна, или в сопровождении уже пожилого мужчины с черными усами, ехавшего обычно впереди и не обращавшего на нее много внимания, как Лохов сразу, с непонятным для него удовлетворением, установил. Когда они были вдвоем, то ехали большей частью шагом, одна же она всегда проносилась галопом вдоль берега, иногда круто останавливала лошадь мордой к воде и так несколько минут стояла. Лошадь пила, по лебединому выгибая шею, шумно фыркая и раздувая ноздри, а всадница откидывалась в седле назад, опустив поводья, и, если это было поблизости, Лохов видел совсем юное, очень смуглое лицо, хрупкую фигурку. Но она была, вероятно, всё-таки очень гибка, цепка, совсем не хрупка. Напоив лошадь, всадница давала шпоры и дико неслась по лугам, подымая сухой вихрь, и лошадь совсем распластывалась по земле. Во всем было что-то степное, татарское.

Иногда к Лохову выходил из лесу старик лесничий, с которым он уже познакомился и сошелся, напоминавший своим видом, в особенности сивым усом, Тараса Бульбу. Несколько раз они даже были вместе на охоте. Лесничий вышел однажды, когда незнакомка как раз поила лошадь на другой стороне реки. Старик поднял свою шляпу с пером и поклонился. Всадница помахала ему ответно рукой, улыбаясь.

— Кто эта дама? — спросил Лохов некоторое время спустя.

Лесничий посмотрел ей вслед, помолчал, и, не переводя глаз на Лохова, спросил в свою очередь:

— А что, хороша? И прибавил медленно: — Слышал, что в ней ваша русская кровь есть: бабка, говорят, русская была. Как скачет!.. В гостях здесь — приводится племянницей моему хозяину. У нее прозвище — Аттила.

И когда лесничий ушел, Лохов долго еще смотрел на пыльные шары катившиеся по красно-мерцающему лугу вслед за лошадью. Забавно было, что он сразу распознал что-то степное в этой женщине.

Через несколько дней, выйдя утром к реке, Лохов с удивлением заметил, что наступила осень: сильно поблекло и под-

нялось небо, похолодела, отливавшая сталью, даль, и лес за одну ночь совсем побагровел, походил теперь на живописную кирпичную руину, рассеченную клиньями света, и как шатры церквей остро возносились из нее вершины елей. Днем потянули высоко косяки журавлей.

И в тот же день пришел лесничий и пригласил на гусиную охоту вечером.

- Налету́ хотите бить? изумился Лохов. Слишком же ясно не сядут.
- Молодой человек, отвечал важно лесничий, я в лесу уже сорок лет. Поверьте этому и моим костям. Заеду за вами в семь часов.

Охота должна была состояться на старом пруду, высохшем за лето почти до дна: лишь на середине еще осталась вода, а по бокам земля засохла и растрескалась, как старый пергамент. На этом пруду, по словам лесничего, всегда опускались на ночь перелетные гуси. Вокруг росли ивовые кусты, боярышник, и там было удобно укрываться охотникам, ибо гуси с воздуха хорошо видят и, открыв людей, улетают дальше, покружив над местом. Дома Лохов переоделся — надел высокие сапоги, непромокаемую куртку, всё время с недоверием посматривая на небо — было совершенно ясно, дул теплый южный ветер, вечер был опять совсем летним. А к шести часам стало вдруг заводить, небо погустело и, когда подъехал лесничий, с запада, густо и пенисто, как морской вал, поднялась туча. Старик в черном прорезиненном плаще с капюшоном, показал туда головой и довольно усмехнулся. Старый хрыч, действительно, смыслил в погоде!..

Они ехали на дрожках по медному жнивью. Слева на востоке был простор и покой чистого неба, неуловимо нежного цвета, багрец лесов, а справа грозно росла мрачно-стальная туша тучи, чуждая и враждебная этому светлому миру. Как смерть! — подумал Люхов, — ощущая, как что-то, подобное облаку, так же мрачно и тяжело, подымалось в душе. Во всем была какая-то обреченность: вот так, — подумал он — надвинется на всё город, фабрика, сизая сталь и не станет ни этих

полей, ни света... Лесничий по дороге всё оглядывался, подымая голову. И вдруг, толкнув Лохова локтем, молча показал на небо. Высоко, чуть уловимо, летел косяк птиц, совершенно неподвижно для взгляда. Сначала Лохов долго видел лишь одну партию, но, приглядевшись, различил вторую, третью — черные едва приметные точки.

Когда подъехали к пруду, уже совсем потемнело. В темноте смутно проступали увалы кустов, а за ними черная ложбина пруда. Лесничий поставил Лохова около куста со словами:

- Ну, ни пуху, ни пера!
- И, отойдя немного, прибавил из темноты:
- Берегите спички дождь пойдет скоро.

Лохов постоял, прислушиваясь, — косматая тьма, ни звука кругом, — и закурил папиросу, прикрывая огонь. Было
испытанно приятно это осторожное куренье в темноте, в напряжении ожидания. На том берегу тоже вспыхнул огонь и
тотчас же погас, задохнувшись; на дне пруда, как тлаз, блеснули круглые лунки с водой. Вскоре пошел мелкий дождь,
приятно освежая лицо, пробиваясь с сухим стуком, будто сыпался песок, сквозь листву кустарника, гуще понесло мошкой.
И тут же он услыхал характерный тяжеловато-свистящий звук
приближающегося гусиного косяка!.. Смяв папиросу, волнуясь, он схватил на-перевес ружье, впиваясь глазами во тьму.
Она была столь густая и ровная, что, казалось, было просто
невозможно что-либо различить, — и вдруг совсем близко
мелькнули два темных тела; Лохов вскинул ружье, — но птицы уже пропали, осев с гулким всплеском где-то рядом.

«Прозевал!» — подумал он в досаде.

На том берегу выстрелили. И тотчас же комом рухнула птица — там не промахнулись!.. И как всегда в таких случаях, Лохову казалось, что всё пропало теперь, не налетит больше ни один косяк, а на него ни один гусь. Переминаясь с ноги на ногу, он зарядил ружье. Первый выстрел дал пулей, а надо было, конечно, дробью. «Дурак!» — выругался он сам про

себя. А дождь пошел крупнее, плечи и колени стали намокать; Лохов пошупал спички в кармане — были еще сухие. Он хотел уже вновь закурить, как опять послышалось наростающее шуршанье в воздухе и, захватив одной рукой мокрый приклад, скользя другой по мокрому холодному дулу, он приложился, и — тут же завидел темное тело, косо спадающее на него. На этот раз он попал — птица грузно шлепнулась в густую грязь совсем поблизости! Он хотел сбежать туда вниз, вопреки всем правилам охоты, до того сильно было желание поднять еще теплую дичь, но налетела шумно новая птица; на другом берегу раздались подряд несколько выстрелов, и, весь дрожа, он стал заряжать ружье, не попадая в дуло патронами. Некоторое время он едва успевал стрелять и вновь заряжать; так же часто били и напротив, и сбоку, и было слышно, как падала убитая птица.

А потом разом всё стихло. Прошло минут десять, а может быть и двадцать — гуси не появлялись. И Лохов знал уже, что они не налетят больше. Никогда эти дикие налеты гусей не длились более получаса. Уже сильно вымокший, он стоял и ждал. Спички отсырели всё-таки. Что же старик не давал отбоя — было ясно, что наступил конец тяги. Но кто там охотился?.. Стреляли и справа, и слева, и напротив — не менее четырех человек. Мокрая одежда приставала к телу, было противно шевелиться. А дождь не переставал. Со шляпы тихо струились тонкие нити. Что же старик, в самом деле, спал?

И в этот момент затрубил рог. Лохов бросился вниз, скользя по мокрой глине. Первый убитый гусь должен был лежать совсем близко, почти у кустарника. Вот он лежит!.. Поспешно он засунул его в ягдташ, не рассматривая. А второй упал сбоку справа... Было адски темно, перед глазами лились, слепя, потоки, ноги увязали выше щиколоток. Но чутьем он вышел и на второго гуся, наступив на него ногой. Ухватив за лапы, ощущая под пальцами мокрые перья, мягкое тепло внутренностей, Лохов вытащил птицу и подержал ее на руках. Этот был крупнее!.. Ягдташ сразу наполнился. Идти стало труднее

и стало глубже, вода доходила до колен... И всё та же адская тьма!.. Он осторожно двигался дальше.

- Господин художник! раздался вдруг голос лесничего.
 - Здесь! отозвался Лохов.
- Выходите не имеет смысла. На середине глубоко, завязнете. Я пошлю лесника с фонарем.

В самом деле не имело смысла. Лохов повернулся чтобы выходить. И вдруг заметил, что шагах в пяти от него, смутно возникла фигура: от дождя и крика он не услышал ее приближения. Фигура походила на подростка, но в руках у него было ружье. Лохов подошел ближе, с трудом вытягивая ноги. Фигура остановилась, поджидая, и неожиданно заговорила женским голосом с нотками смеха:

— Здесь можно утонуть. Я совсем сбилась!

И тотчас же Лохов понял почему-то, что голос этот — очень не простой, а с какой-то странностью — принадлежал той всаднице.

- И я в той же беде, отвечал он, немного смешавшись. — Вы, надеюсь, в сапогах?
- -- Разумеется, она коротко рассмеялась, впрочем здесь это бесполезно. Я совсем завязла, ног не могу вытянуть. Просто оставлю сапоги и пойду босая.
- Подождите, дайте руку, придерживайте ступней сапог, я вас вытащу.

Она протянула мокрую от дождя руку и постепенно под обоюдный смех он выташил ее к себе и потом осторожно повел вперед, всё держа за руку.

- Господин художник! надрывался на берегу лесничий фрейлейн Елизавета! Куда вы пропали? Халло!
- Мы здесь! ответил Лохов, когда они, наконец, вышли.
- Вы, стало быть, тот усердный художник, которого я каждый день вижу на берегу? спросила она, блестя снизу глазами и зубами и отряживая влагу.

- А вы та таинственная всадница, отвечал он, чуть сердясь на какую-то неестественность своего тона, которая не дает мне покоя вот уже несколько дней. И, помолчав, добавил против воли тем же тоном: Я очень рад встретиться с вами хотя и столь необычно фрейлейн Елизавета.
- И я тоже, господин художник, ответила она, явно его передразнивая.

Они пошли на голос лесничего. Вдали зажегся и упал на землю круг света, он приближался, качаясь: лесничий шел с фонарем.

— Куда вы пропали, господа! — начал он ворчливо и осветил осторожно обе фигуры. — Да вы же до нитки промокли!.. Говорил взять плащи. Молодежь, молодежь!.. — И заключил вдруг: — В таком виде вам ехать нельзя. На-смерть простудитесь. Не могу взять ответственности, — поспешно проговорил он, не давая себя перебить. — Лучше всего обогреться у участкового. Вам дадут чаю с ромом; мать его прекрасная хозяйка. А после поедем. Карл! — громко позвал он.

Домик участкового лесничего стоял на поляне в лесу. Сквозь стволы деревьев блеснули красноватые квадраты окон, похожие издалека на глаза большого, лежавшего там зверя, черные нити дождя перед ними, а дальше подымалась теснина леса. С той стороны уже стало прояснивать, и короны деревьев были зубчато очерчены на зеленом небе как карандашной линией. В комнате мягко светила лампа на столе перед горящим камельком, сбоку стояли кресла с соломенными сиденьями, вся мебель была простая, крестьянского стиля, на стенах висели рога, было тепло, чуть пахло свежим дымом. Тотчас же вышла старуха, мать участкового, высокая, прямая с орлиным носом на тевтонском лице, вынесла и поставила на столик холодную закуску, чаю и графин с ромом. Фрейлейн Елизавета сняла сапоги и завернула ноги в пледик, принесенный хозяйкой. Вскоре они остались одни — старик лесничий выпил рому и ушел куда-то с участковым, ушла и старуха.

Фрейлейн Елизавета сидела, вытянув ноги к камельку, уйдя с плечами в кресло. Правая сторона ее лица была освещена, на смугло-зеркальной коже и в правом глазу колебались блики пламени. Она сидела полуопустив голову, подпирая ее рукой, иногда встряхивая назад темный, еще влажный локон, западавший на щеку, и смотрела полунасмешливо, полувопросительно на собеседника. Вначале они говорили о тяге, с оживлением вспоминая отдельные моменты, а после замолчали, перекидываясь только отдельными замечаниями, совсем не тяготясь тишиной. Было приятно сидеть у огня, вытянуть ноги, приятно бродила в теле теплота пунша, в ушах стоял всё время шум налетающей птицы, шорох дождя о листья, было удивительное согласие в этом полумраке, тепле камелька и усталости тела. «О чем она думала?» — спрашивал себя иногда Лохов, смотря на собеседницу. Вероятно ни о чем, так же, как и он, просто отдаваясь жизни, слушала вот этот легкий свист в ушах, не то от охоты, не то от пламени...

- Вы, наверное, любите охоту? спросил он, когда молчание продолжалось уже долго.
- Я всё люблю, живо ответила она. Всё... и до конца! Это очень глупо.
- Говорят в вас есть русская кровь, а русские ведь, конечно, в какой-то мере азиаты.

Она кивнула головой и сказала тихо:

— Меня иногда странно тянет туда — в степь, в дикий лес, на медведя... А вы — совсем европеец, — неожиданно сказала она.

Он вопросительно на нее посмотрел.

— Ну-да, вы даже ходите по-европейски — как на шарнирах. А русские ходят иначе. Я помню казаков пленных, какбудто они вечно крадутся за кем-нибудь, кого-нибудь подстерегают, в городе так же, как в лесу. — Вы заметили? И помолчав сказала. — Ну, пора ехать. Я уже просохла, подайте мне сапоги. Вы не обиделись, — вдруг спросила она, — мы все здесь такие.

Сбросив плед, она скользнула в сапоги и встала перед ним — тонкая, живая, вся нагретая пламенем камелька и пунша, исполненная ошеломляющей прелести молодости и девичества.

Дождь уже перестал. Лес просторно шумел, округло раскачивая вершины по зеленому светящемуся небу, кристально, как капли дождя на траве, блистали звезды. Появился старик лесничий. Фрейлин Елизавета уезжала с участковым, и это было досадно. Она вышла из темноты и, подойдя к Лохову, сказала просто, протянув руку.

- До свиданья!
- До свиданья! ответил он, чуть задерживая ее руку до свиданья, фрейлейн... Аттила. Сегодня вы вновь покорили Европу...

Вскинув голову она посмотрела на него, коротко усмехнулась и пошла, ничего не сказав. Лохов смотрел ей вслед. Колеса дрожек застучали, прыгая по камням. У леса она обернулась, и махнула рукой в белом. И Лохов всё стоял, пока старик не вывел его из раздумья.

— Хороша? — спросил он, как тогда, и пошевелил губами, усы его сверкнули в свете окна. — Вы как в столбняке, молодой человек.

Да, она была хороша, ясна, как сама жизнь, но он не был в столбняке. Он изумленно думал, что что бы ни случилось с ним, даже если он не встретит ее больше никогда — чему он всё-таки не верил, убежденный, что, может-быть, завтра уже он увидит ее у реки, — эта сухая долгая осень, часы на берегу в шуршаньи ивняка и вид всадницы на медно отливающем лугу, и эта охота на темном пруду, и фигура ее на кресле в свете камелька, — всё это навеки уже осело в нем, и это было то настоящее и прекрасное, для чего единственно приходят в мир, и где бы он ни был, всегда радость озарит его при этом воспоминании... Они ехали, а лес стоял весь в светящихся голубых лунных теснинах и сверху лился ровный, как влага, голубой свет, и мир был весь в голубом сиянии; дальше на полях молочно колебался туман, а в деревне светились одинокие огни с каким-то удивительным миром...

Лесничий молчал. Молчал и Лохов. Уже у дома, прощаясь, старик сказал:

— Вы счастливы? Вы полны всем этим, — он повел рукой кругом. — Я знаю это состояние, молодой человек. Это лучшее, что дает жизнь. Она дает многое. В сущности — всё, что человек хочет. Всё!.. И в любом возрасте... Надо только уметь видеть и принять. Мне за 60 — и я знаю, я понял это... Ну, покойной ночи!..

Евгений Гагарин

* * *

Только в немоте оцепененья, На границе мрака и прозренья, Порывая все земные узы, Ты услышишь вещий голос Музы, Полноценным золотом звенящий, Древней Девы голос настоящий. Только так — в безумии и в плаче. Только так и никогда иначе.

Лишь дойдя до крайнего предела, Где душа испепеляет тело, Где добро и зло одно и то же И любовь на ненависть похожа; Только в час, когда теряешь веру, Ты найдешь божественную меру. Двух миров согласную природу И в законе — высшую свободу.

Владимир Злобин

КОГДА БУШЕВАЛА БУРЯ*

Автомобиль, ходивший на газожене, снова чинился. Рачинский возвращался к себе в вело-такси. Гнуснейший, унизительнейший способ передвижения. Езда на человеке. Lupus lupi homo est — следовало бы говорить о волках. Не забыть — может пригодиться. Но он не был уверен, что не слышал уже где-то... Lupus lupi... Голова его была полна цитат. Он гордился своей репутацией острослова. Впрочем, острословы выходят из моды. Их оставалось еще несколько во Франции, самой несовременной из несовременных стран. Но даже здесь их перестали ценить. Когда-то в Петербурге ни один блестящий обед не обходился без остроума. Теперь обеды стали самоцелью и не нуждались в ораторских украшениях. Запомнить. Может пригодиться на сегодняшнем обеде в Нэйи. Запоминать не стоит. Лучше помнить: «молчание — золото». Только позавчера его сосед по столу, оберст Гюнтер прервал один из его остроумнейших анекдотов грубым — Не мешайте мне есть!

До чего неудобно сидеть в маленькой двухколесной колясочке под клеенчатым балдахином! Дождь, холод, ветер. Отвратительно. Он весь съежился, засунул руки в рукава непромокаемого пальто, надвинул шляпу на глаза. Отвратительно — всё. Без исключения. И отвратительнее всего — он сам.

Тарелка пролетела мимо его головы. Конечно мимо, но совсем близко. Могла ранить. Звон разбившегося фарфора. Охрипший от ярости голос Ксаны...

Нет, этого нельзя терпеть. Вечное требование денег. Деньги, деньги и еще деньги! Бездонная бочка. Если бы Ксана

^{*} Огрывок из подготовляемого к печати романа.

была хоть немного привязана к нему. Но ревность. Ревность, чудовище с зелеными глазами. Не ревность, а совесть, поправил он себя. Впрочем и с тем зеленоглазым чудовищем дело обстояло не лучше. Совесть мучила его всё сильнее. Совесть или предчувствие.

Скачет птичка весело По тропинке бедствий, Не предвидя от сего Горестных последствий.

Но ведь он предвидел. И как еще предвидел. Он знал, что всё кончится позором, гибелью, и всё-таки продолжал «весело скакать по тропинке бедствий». С того самого, насквозь промерзшего, хрустящего зимнего утра, когда он спустился в метро с чемоданчиком, наполненным батареями для карманных фонариков и, разложив их на крышке чемодана, стал, как обычно, поджидать покупателей. Как обычно. Вот уже полгода, как он кормил себя и жену этой малоприбыльной торговлей вразнос, кормил впроголодь.

Пассажиры волной катились мимо; никто не останавливался перед его чемоданчиком. И вдруг — «Рачинский!» Сколько лет, сколько зим! Вот встреча! Да, это действительно была встреча. Встреча из встреч.

Михновский, товарищ по Ледяному походу, в барственной шубе с бобровым воротником. — Торгуешь пилями? Откуда достаешь? Со склада? Беру, беру! Всё беру! Идем скорей. Заработаешь. Идем, идем. И он пошел. Так с того насквозь промерзшего хрустящего утра он и шел. Шел всё дальше и дальше, уже не с пилями. С табуретками. С ножами, вилками и ложками. С шнурками для башмаков, с одеялами, с какао, с валютой, с картинами старинными и модными, по большей части фальшивыми, с унитасами, с горчицей, со всевозможными комбинациями. Так он и шел, так он весело и скакал по тропинке черного рынка.

Дождь звонко барабанил по крыше клеенчатой будки, отдаваясь тоской и страхом в сердце Рачинского.

Чем всё это кончится? Чем?

Он вздохнул так тяжело, как будто не несчастный рикшавелосипедист, а он сам, из последних сил надрываясь, работал ногами до изнеможения, до свистящего стона. — Довольно. Больше не могу!..

«Довольно. Больше не могу!..» Врешь, перебил он самого себя. Притворяешься, старый шут. Сил, чтобы мучиться, всегда хватит. Сил всегда больше чем кажется. Гестапистам это отлично известно. Это, и еще многое другое. Гестапистам.

В колаборационно-чернорыночных сферах пышно цвели сплетни, интриги, доносы, подвохи, слежка друг за другом. Рачинский знал много секретов. Слишком даже много пожалуй. Он мог казаться опасным. Но опасным он был только для себя. Его сердце трусливо вздрогнуло. Никогда он не посмеет погубить кого-нибудь. Никогда не посмеет. И это отсутствие смелости могло погубить его. И ни на кого нельзя положиться. Даже на самого себя.

Вело-такси остановилось перед паласом. Рачинский поправил шляпу и неизвестно зачем стал торопливо натягивать лимонно-желтые замшевые перчатки. Швейцар с большим красным зонтиком осторожно и мягко высадил его на тротуар и проводил до входа. С поклоном.

Рачинский старался принять рассеянно скучающий, презрительный вид. Но таинственно светящиеся витрины с разбросанными в них страусовыми веерами, похожими на опахала восточных владык, гранеными флаконами духов, золотыми пудреницами и пятнами солнечно-ярких шелковых шарфов, но холл, но лифт, но взаимно отражающие друг друга зеркальные стены, уводящие вглубь празднично-пустого зеркального мира его отражение. Я?.. Неужели это я?.. Я, который... Нет, к этому он всё еще не привык, как и к ломающемуся пополам в почтительном поклоне лифт-бою. Это я?.. Я, живший в комнате для прислуги на шестом этаже — в неоплаченной комнате с закрытым за неплатеж электричеством. Я возвращаюсь к себе, в палас. В сюиту из трех комнат. С ванной. Я. Я. Я. В сюиту с ванной. Лифт остановился. Песочный ковер, устилающий коридор, как ковер-самолет, донес Рачинского до двери «сюиты». Но чувство гордости исчезло, как только он переступил порог.

Анна, верная, неизменно-любящая и терпеливая, такая верная и терпеливая, что от скучной жалости к ней он, такой неугомонно-разговорчивый, не находил, что сказать ей — сидела в кресле у окна в позе самозабвенного отчаяния. Клубок серой шерсти и проткнутое длинными металлическими спицами вязание «для бедных» лежали у ее ног.

Неужели узнала? Неужели о Ксане? Он дернул воротник рубашки, будто воротник стал слишком узок. Нет покоя. Нигде. Даже дома. Где люди, там скандал.

Он сбросил пальто и откашлялся:

— Анна.

Анна приподнялась к нему навстречу в шелковом шелесте широкого, немодного платья.

— Виктор Викторович. Случилось несчастье.

Несчастье? Значит не о Ксане. Ксану она не назвала бы «несчастьем».

— С Соней...

Соня была дочь Варвары Семеновны, институтской подруги Анны. Варвара Семеновна в начале эмиграции вышла замуж за француза-еврея и вскоре овдовела. Институтская дружба превратилась в дружбу на всю жизнь, и Соня считалась «своей», родной у Рачинских. Соня выросла, и хотя они все втроем возмущались и отговаривали, вышла замуж за молодого доктора, тоже еврея. Доктор оказался на редкость симпатичным, а когда появилась маленькая Мая, стало ясно, что лучшего выбора Соня и сделать не могла.

Мая была до странности прелестным ребенком, ребенком «не от мира сего». Созданная и занятая исключительно любовью. — Ты меня любишь? — спрашивала она у всех и каждого. И сейчас же прибавляла: Я очень тебя люблю. И Боженька тоже. Даже у нищего на их углу, у полицейского регулирующего движение, она успевала осведомиться, любит

ли он ее и уверить его в своей любви. Она раздаривала свои игрушки детям в Люксембургском саду, норовила даже подарить им свои перчатки или туфельки. И плакала, когда ей это запрещали — «это добрые, хорошие дети». Я их люблю.

Ей было три года, когда ее отец после разгрома Франции бежал в Англию. Она была слишком мала для такого опасного путешествия. И Соня из-за нее осталась в Париже, переехав с ней к Варваре Семеновне.

Когда на евреях замелькали желтые звезды, Маю перестали выводить из дому. Варвара Семеновна объявила консьержу, что ее дочь с внучкой уехали в Ниццу и даже выписала их в полицейском участке. Детская кроватка Маи была отправлена на чердак «за ненадобностью» вместе с ее высоким стулом и игрушками. Мая зажила затворницей в квартире бабушки, где даже окна заклеели цветной бумагой, чтобы ее не видно было с улицы. Мая была попрежнему весела. Она подолгу останавливалась перед зеркалом, гладила и целовала прелестное отражение своей мордочки. «Это хорошая девочка, — говорила она. — Я ее люблю. И Боженька тоже любит ее».

Но можно ли было быть уверенным, что «Боженька ее любит»? Охраняет ее?

Ничто в квартире не выдавало присутствия ребенка. Мая спала вместе с бабушкой и матерью в двухспальной кровати. В стенном шкафу опальни был устроен тайник, куда Соня и Мая прятались на случай тревоги.

Анна почти ежедневно навещала Варвару Семеновну. Рассказы об этих визитах служили главной темой их разговоров с Рачинским. И сейчас, услыхав, что дело не в его измене, он всё-таки забеспокоился.

- Соня? Что с Соней? Больна?
- Вчера вечером, Анна мотнула головой. Вчера, вчера... крикнула она и зарыдала.

Он стоял перед ней, растерянно тряся ее за плечо.

— Анна. Успокойтесь. Анна. Да говорите же.

И она, всхлипывая, заговорила.

- Вчера вечером. Позвонили. Мая уже спала. Соня взяла ее сонную на руки и спряталась с ней в тайник. Варвара Семеновна спокойно, очень спокойно объявила гестапистам, что никакого ребенка здесь нет. Ищите сами. И гестаписты обшарили всю квартиру. Даже кухню. Даже ванную. Нигде никаких признаков ребенка. Ясно опять ложный донос. Они уже были в прихожей, когда раздалось ку-ку! Гестаписты взломали дверь шкафа. Мая, отбиваясь от матери и смеясь, протянула им ручки:
 - Куку! Вот я где!..

Анна Семеновна снова зарыдала; — Варя совсем помешалась от горя. Одна надежда на вас. Вы один! Вы один! Спасите их! — умоляла она, будто от Рачинского действительно зависела их судьба.

— Не плачьте, Анна. Я постараюсь.

Но она продолжала всхлипывать. Обещание постараться не удовлетворяло ее.

— Спасите их!

Он взял ее руки в свои.

— Анна, Анна, не плачьте.

Он опустился перед ней на колени, целуя ее руки.

- Успокойтесь!.. Я сделаю всё, что могу. Больше, чем могу. И вдруг, неожиданно для себя, произнес громко и торжественно:
 - Я спасу их. Клянусь спасу!

Да, он опасет! Она права — он один может спасти их. Это будет настоящее спасение. Он спасет их и тем самым спасет себя. Конец. Конец рабства и вечного страха. Конец позорной страсти к Ксане. Конец.

Эта старая всхлипывающая женщина была единственным существом в мире любящим его, верившим в него. Не только верившим в него, но и знавшим, что в него можно верить. Что он спасет Соню и Маю. Но он уже не думал о спасении Сони и Маи. Да, да, конечно, он спасет их. Он поклялся. Но он думал о себе. О своем спасении чудесно возникшем из спасения Сони и Маи. Но разве он уже опас их? Спас, отве-

тил он себе. Спас — раз решил спасти. И ничто уже его не остановит. Спас. Он с чувством освобождения спрятал голову в шелковую, шумную, широкую юбку Анны. Но уже не шелест шелка наполнил его уши, а шорох тополей, шорох пирамидальных тополей длинной светлой аллеи, ведущей к въезду в их крымское имение. Таинственный, овежий, легкий шорох его детства, такой же таинственный, легкий и свежий, как тогдашнее небо, тогдашние звезды, птицы, эвери, цветы и ветер. Всё, чего не существовало больше, что жило только в его памяти. Всё невозвратное, навсегда покинутое — там в России. В его детстве.

Он закрыл глаза. Ему почудилось, что он вдохнул знакомый запах, смесь пачулей, кофе и ванили, жилой запах, шедший от коричневого шерстяного платья его старой няньки, от ее набивного, в красные розы, большого платка. Ему почудилось, что этот платок накрыл его с головой. Сквозь таинственный свежий легкий шорох тополей он вдруг услышал старческий шопот своей няни:

— Никогда не лги, Витенька. Человеку лгать нельзя. У человека голова маленькая. Вот лошадь, у нее голова большая. Она может лгать. А тебе стыдно. Обещай больше никогда не лгать. Обещай быть хорошим!

Он снова чувствовал себя мальчиком, выпрашивающим прощение, его сердце рвалось от раскаяния и жажды самопожертвования, героического искупления вины. Он обещает... Он больше никогда, никогда... Всепрощающая легкая
старческая рука легла на его вихрастую восьмилетнюю голову. Простила!.. Значит можно вскочить, убежать...

Он тяжело встал, отряхнул с колен несуществующий песок тополевой аллеи. Растерянно взглянул на Анну. До чего комично, до чего глупо. Вообразить себя вдруг ребенком, и ее....

Но она повидимому и не заметила превращения Рачинского в мальчика Витю и себя — в старую няню. Она не заметила ни путешествия туда, в прошлое, ни зеленой скамьи, ни шуршащих тополей под синим крымским небом. Она оставалась тут, в номере парижского паласа. Она смотрела на стоящего перед ней мужа, и ее заплаканные глаза сияли восторгом и благодарностью.

— Спасибо. Спасибо. Я знала. Вы добрый, чудный. Я ни минуты не сомневалась, что вы согласитесь, что вы спасете их.

Он нагнулся и поцеловал ее седеющие волосы.

— Я лучше пойду сейчас же...

Да, лучше было идти сейчас, пока не прошел героически-жертвенный порыв. Лучше не откладывать. Она не удерживала его.

-- Идите, идите. Да хранит вас Бог.

В прихожей она обняла его, как перед разлукой.

— Да хранит вас Бог, — снова повторила она, крестя его. — Даже если вам придется рискнуть жизнью. Но Бог не допустит. Нет.

Он поднес ее руку к губам и вышел прежде, чем она успела добавить еще что-нибудь.

Вот он снова на улице. Сесть в вело-такси, увидеть мелькавшие в непосильном движении тощие ноги, услышать надрывающееся пыхтение. Нет, это в его теперешнем состоянии было немыслимо. А извозчика, как на зло, ни одного. И он пошел пешком.

Дождь. Но это не был прежний, отвратительный дождь. Это был дождь его детства. Он остановился и снял шляпу. Дождь заструился по его голове, по его лицу, смывая грязь, налипшую за столько лет. Он засмеялся, вытер лицо и снова надел шляпу.

Он шел по авеню Анри Мартэн, не колеблясь, не раздумывая, прямо в геену огненную, в ров со львами и тиграми. Ведь Анна сказала: даже если вы рискуете жизнью. Но никакого риска нет. И совсем не страшно.

Он шел быстро, решительно. Он слышал за собой разнобойный шаг нагоняющего его двойника. Его прерывающееся дыхание, дыхание отучившегося ходить толстяка. Этого старого чернорыночника, этого немецкого прихвостня, этого подлого содержателя Ксаны.

Не оборачивайся, не оборачивайся, — шуршал дождь. Не оборачивайся!.. — шумел ветер. На минуту стало страшно. Но только на минуту. Рачинский обернулся. Широкая улица была пуста. На всей широкой, блестящей от дождя улице был только один пешеход — он сам, он — настоящий Рачинский. И никакого двойника больше не существовало. Он перешагнул порог с бесстрашием укротителя, входящего в клетку диких эверей.

— Доложите вне очереди! — бросил он сидящему за столом гестаписту.

Гестапист уставился на него злыми понимающими глазами, усы его ощетинились, как у тигра, готового к прыжку. Но не выдержав взгляда Рачинского, он оттолкнул стул, вытянулся во весь рост и механически щелкнул каблуками: — Zum Befehl!

Всё вышло не совсем так гладко, как надеялся Рачинский. Решимости ни перед чем не останавливаться оказалось мало. Да, ему удалось узнать, что Соню и Маю должны переслать в Германию с ближайшей партией, уходящей в субботу. Да, их можно еще спасти. Но дело сложное... Много заинтересованных...

— Шестьсот тысяч! Ни франка меньше! — резким жестом Шлейфер пресек всякую попытку сбавить цену. Его бледные глаза, похожие на два плевка, скользко блеснули. — Деньги завтра, в четверг, в 7 часов вечера. Ровно в семь. И решайте сейчас. Согласны?

Рачинский дернул воротник рубашки и, задыхаясь, сказал:

— Согласен.

Шлейфер встал.

- Даете честное слово? Честное арийское?
- Даю. Только нельзя ли деньги в пятницу вечером? Ведь старой даме такую огромную сумму сразу...

Шлейфер неожиданно захохотал:

— Ach, so? Трудно бедняжке? Ну и пусть сидит без

дочки и внучки. Увезут их в ихний шабаш на увеселительную прогулку.

Но смех должно быть сделал его более сговорчивым.

— Пусть будет по вашему. В пятницу. Ровно в семь. Буду ждать! Не опаздывать ни на минуту. — Heil Hitler!

Известие, что для спасения Сони и Маи нужны шестьсот тысяч, не произвело панического действия на Варвару Семеновну.

— Найду! Достану! Как мне благодарить вас?..

Благодарить? Ведь он еще ничего не сделал. Если бы у него были деньги. Но он так запутался из-за Ксаны. У него всюду долги. Всё-таки он постарается...

Но Варвара Семеновна и не рассчитывала на его денежную помощь. Она и так смотрела на него как на спасителя.

— До гроба! до гроба благодарна! И какое счастье, что вы выторговали лишний день. Успею всё продать — обстановку, вещи, меха...

И она исчезла, уведя с собой Анну.

Рачинский в тот же вечер послал Ксане пневматичку. Очень вежливую, очень решительную. Полный разрыв.

Он был доволен собой. Он даже сжег фотографию Ксаны, хранившуюся у него в несгораемой шкатулке. Церемония сжигания портрета на свечке продолжалась долго и очень укрепила его в решении больше никогда не встречаться с Ксаной. — Видишь, видишь, вот я сжег тебя! Вот ты больше не существуешь для меня!.. Он положил горсточку пепла на ладонь и подул на нее, пуская пепел по воздуху. Видишь, и нет тебя больше! Кончено. И он протяжно свистнул.

Анна проводила всё время с Варварой Семеновной. Продажа вещей шла полным ходом.

— Я не думала, что так легко собрать такие огромные деньги, — говорила Анна в четверг вечером. — У Вари ужетриста тысяч на руках. Остальные триста комиссионер отдаст ей завтра днем. В пять часов она будет у нас. Только не опаздывайте, приезжайте в пять, Варя так волнуется.

В пятницу, поднимаясь к себе в лифте, Рачинский по-

смотрел на часы — четверть шестого. Часы доставляли всегда то же неизменное удовольствие, что устланный коврами холл, освещенные витрины, всё то, к чему он всё еще не мог привыкнуть. Часы были золотые, Лонжин, на крокодиловом ремешке. Крокодиловый ремешок всегда будил в памяти «Крокодила» Чуковского: «Ах, ты милый мой Вася Васильчиков, Пожалей ты моих крокодильчиков»... Просьба, обращенная к нему — будь жалостлив. И он действительно был даже слишком жалостлив. Вот и сейчас ему жаль, что Варвара Семеновна, привезшая деньги, ждет его, кипя от волнения. И Анна с нею. Ах, эти женщины!.. Никакого у них нет чувства времени. Всё боятся опоздать. А ведь за час сорок пять минут можно... Он не успел додумать, что именно можно сделать за час сорок пять минут. Он отворил дверь своей «сюиты» и вошел в катастрофу. Катастрофа, пожар, кораблекрушение. Он не знал, что именно, но это висело в воздухе.

Анна выбежала ему навстречу:

— Комиссионер в последнюю минуту... Покупатель... Денег нет, нет! Нет денег!

И как крик «спасайся» из пожара:

— Слава Богу вы пришли, Виктор Викторович! Варя, Варя, он пришел!

Варвара Семеновна лежала на диване в гостиной. Ее тело то вытягивалось, то сокращалось как спираль. Голова ее глухо ударялась о деревянные локотники дивана.

- Варя, Варя, подожди! Виктор Викторович вернулся... Видишь... Он поможет. Он знает. Он опасет. Варя... пойми... Но Варвара Семеновна не слышала, не понимала.
- Сожгут, сожгут! кричала она, будто сама горела на костре, будто в ней самой бушевало пламя. Соня! Мая! Сожгут!
 - Подожди, Варя, подожди!

Анна напрасно старалась удержать судорожно подпрыгивающую голову. Ведь Виктор Викторович тут! Он всё устроит. Он знает. Ведь еще час три четверти...

...За час три четверти можно... За час три четверти —

ничего нельзя. Надежда Анны. Напрасная сумасшедшая надежда. Помочь нельзя. Ничем. Даже если он бросится к ногам Шлейфера и будет так исступленно биться и кричать, как Варвара Семеновна.

Как ужасно она кричит. Нет, этого перенести нельзя. Только бы она замолчала.

— Варя, замолчи, замолчи! Виктор Викторович, да объясните же ей. Ведь вы устроите, вы спасете!..

Рачинский молча взглянул на жену. И только тогда она поняла. Она даже отступила на шаг и застыла на месте. Потом вдруг подняла руки к ушам и губы ее задрожали и открылись. Неужели и она тоже начнет так исступленно кричать?

Но Анна не закричала. Она протянула обе руки вперед, держа в каждой руке по серьге.

— Варя, вот, вот мои... — она задохнулась, у нее не хватило голоса сказать — мои серьги.

Серьги Анны, перешедшие ей от покойной матери. Даже в самые голодные и страшные минуты их жизни она ни разу не предложила ему не только продать, но даже заложить их. Серьги Анны были священны. Он это хорошо знал. Они связывали ее не только с прошлым, но и с будущим, с жизнью... Отнять их было нельзя. «Лучше умереть, чем расстаться с моими серьгами», — говорила она. — Меня похоронят с ними».

И вот она отдавала их...

— Возьми, возьми, Варя!

Крик Варвары Семеновны. Дикое отчаяние, перешедшее в такой же дикий восторг. Головокружительный прыжок из отчаяния в восторг. Из памяти вдруг вынырнуло видение Чарли Чаплина в давно забытом фильме La ruel vers l'or. Те же бредовые гримасы, те же прыжки и ветряной мельницей крутящиеся руки. Неужели она сейчас вспорет подушки дивана, пустит пух по ветру снежным вихрем и начнет раскачиваться зацепившись руками за притолку двери?

— Спасены! Спасены!

— Возьмите, Виктор Викторович, отдайте их. Они стоят гораздо дороже. Ведь до пяти каратов каждая.

Анна уже заворачивала серьги в носовой платок.

- Конечно дороже. По крайней мере пятьсот. Я успею продать их ювелиру.
- Не надо, нет. Отдайте так. Всё равно. Только скорей, ради Бога, скорей! Спрячьте, не потеряйте.

Она протянула ему узелок платка с серьгами.

— Лучше всего в жилетный карман.

Он расстегнул пиджак, но голос Анны жалобно попросил:

— Дайте взглянуть на них, еще разок.

Он развязал узел.

Она не взяла серьги. Она даже не притронулась к ним. Она только нагнула голову и не отрываясь смотрела на них

...И чудно так на них глядела. Так души смотрят с высоты На ими брошенное тело

- прозвенело в его ушах. Вздор! Фальшь! Неужели сейчас нельзя без литературных ременисценций?..
- Идите, идите теперь. Анна закрыла лицо руками. Идите, Виктор Викторович!

Он снова сунул платок с серьгами в жилетный карман. На пороге он обернулся.

Теперь они плакали крепко обнявшись. Плакали восторженно и отчаянно, как спасшиеся от кораблекрушения.

Не дожидаясь лифта он стал спускаться по лестнице. Он всё еще видел перед собой искаженное судорогой лицо Варвары Семеновны и черную дыру ее кричащего рта. Как безобразна дикая голая животная боль! И дикая животная радость... Неизвестно даже, что безобразнее.

Он застегнул пальто. Поправил шляпу. Нет, что ни говорить, цивилизация... Он поморщился. Такие потрясения не для него. Анна? Да, она святая. Он всегда это знал. И всётаки он не ждал, чтобы она пожертвовала своими серьгами. Бедная Анна!.. Он чувствовал себя разбитым.

Конечно, всё-таки правильнее было бы сначала продать серьги. Зачем давать Шлейферу еще наживаться? Но всё равно. Он так устал. Он поедет прямо на Анри Мартэн. Он дождется Шлейфера. Отдаст ему деньги и серьги. Хватит с него волнений на сегодня. Довольно, довольно.

Но волнений не было довольно. Ни на сегодня, ни вообще.

Швейцар, приподняв фуражку, уже проскользнул мимо Рачинского на улицу в поисках извозчика. И в эту самую минуту извозчик, дергая возжами, остановился перед входом.

Старая белая кляча с разбитыми ногами широко раскрыла рот, показывая длинные желтые зубы.

Больно ей. «Лошадь, вам больно?». Нет, это мне больно. Но где больно? Он не чувствовал боли в своем теле. Боль вилась над его криво сидящей фетровой шляпой, лежала, свернувшись клубком, в портфеле, хозяйничала во рту старой белой лошади. Один из ее глаз закрылся наполовину, как шторой, большим веком, окаймленным толстыми, редкими, белыми ресницами. Лошадь тоже несчастна. Лошадь тоже устала. Ну, да, конечно. Давно известно. «Лошадь, вам больно?». Больно. Еще как больно. Но помочь нельзя. Ни лошади, ни мне. Никому. Это тоже известно. Из извозчичьей коляски с поднятым верхом выскочила девочка-подросток и стремительно бросилась в подъезд. Он посторонился. Еще с ног собьет. Но она, повернувшись налету, оказалась перед ним.

— Едем Вик Викич к нам! Я за вами!

Это была Лисса. Лисса, сестра Ксаны. Как он не узнал ее? — Садитесь скорее. Едем.

И он сел. Не для того, чтобы ехать с ней.

— На Анри Мартэн, — приказал он извозчику. — Я тороплюсь по важному делу, — объяснил он Лиссе.

Она вцепилась в его рукав:

— Ксана больна! Очень больна! Она послала меня за вами!

Он отмахнулся.

— И всё-то ты врешь! Не верю.

Но она доказывала, трясла за рукав, умоляла.

— Больна. Очень. Жар. Ничего не ест. Только плачет. Ей Богу! — она мелко перекрестила золотые пуговицы своего синего пальто. — Как жить хочу! Ей Богу больна... Очень!..

Детские глаза Лиссы испуганно блестели в полутьме коляски с поднятым верхом.

— Ничего не ест. Всё плачет. Поедемте к ней, Вик Викич!

Стук дождя, смешиваясь с голосом Лиссы, придавал какую-то убедительность ее словам. Он вдруг почувствовал какую-то знакомую тошнотворную пустоту в мозгу.

— Только на минуточку!.. На одну минуточку...

Решение никогда не встречаться с Ксаной уже не казалось таким непреложным. Ничего не изменится, если он действительно «на минуточку»... Ведь он уже порвал с ней, расстался навсегда. Нельзя быть таким безжалостным. Он никогда не был безжалостным. Раз она плачет... Она больна... Он взглянул на часы. Без пяти шесть. Да, да, жалею крокодильчиков. И их царицу крокодилиху Ксану.

— Вот что, Лисса. Отправляйся домой. Скажи Ксане, что я приеду в половине восьмого.

Но Лисса снова схватила его за рукав.

— Вы не понимаете. Я не могу вернуться без вас. Умоляю, умоляю, едем сейчас.

Извозчик уже сворачивал с авеню Клебер к авеню Анри **М**артэн.

— Ведь тут так близко. Вы сейчас, сейчас вернетесь. Она плачет. Она зовет вас. Она больна...

Зовет? Больна? Плачет? Он вдруг встрепенулся, будто только сейчас понял.

— Да, да. Ты права. Едем. Ведь еще целый час. Успею. Скорей, извозчик! На чай!

Теперь уже не Лисса, а он торопился.

Белая лошадь пустилась вскачь. И сразу — значит это

действительно так близко — серый особнячек. Ель посреди лужайки и каштаны у забора.

Подождите меня. Я сейчас.

Не только извозчику, но и себе: Я сейчас.

Калитка жалобно-ржаво скрипнула, будто стараясь передать всю тоску облетающего, зябнущего под дождем, разгромленного осенью сада. Рачинский скользил по мокрым набухшим листьям, похожим на лягушек.

Лисса, забежав вперед, уже открывала дверь.

— Сейчас скажу Ксане.

Но он прошел мимо нее.

— Не надо. Я сам.

Занавеска была откинута с широкого окна. Рачинскому казалось, что спальня только продолжение сада, что и здесь, как в саду, идет дождь, что и здесь, как в саду, тот же осенний разгром, то же отчаяние.

Ксана сидела на краю неубранной кровати. Шелковое синее одеяло сползло на ковер и блестело у ее босых ног, как большая дождевая лужа. Она сидела, опустив голову, волосы падали на ее мокрое лицо. Мокрое от дождя или от слез? Она плакала.

— Вик!..

Она взглянула на него большими усталыми несчастными глазами. Такими же большими, усталыми, несчастными, как у белой лошади там, за забором.

- Ты тоже, сказала она, ты тоже бросил меня.
- Ты больна, Ксана?

Она покачала головой. Ее волосы взлетели и повисли, как мокрые тряпки по обе стороны ее мокрого лица.

— Это от горя. — Слезы текли по ее лицу и, хотя она держала в руке платок, она не вытирала их. — Он бросил меня. Он уехал в Ниццу. Позавчера. Бросил...

Так вот в чем дело. А он, бедный идиот, поверил, что она больна, что она плачет из-за него. Он? Кто он? И значит действительно правда, что был какой-то он. Уверяла, что всё сплетни... Так вот оно что.

Он стоял перед ней в пальто, с шарфом на шее. Ведь он только «на минутку».

— Он уехал, бросил меня. Я не могу, не могу без него. Я умру...

Теперь она лихорадочно рассказывала, торопясь, запинаясь. Всю правду. Откровенно. Бессердечно. Не красуясь, не щадя себя — всю правду. Так не рассказывают любовнику, так не рассказывают даже подруге, только себе. Всё то, о чем он только догадывался.

Он рассеянно слушал. Ведь это уже не имело значения, ведь между ними всё кончено. Да он почти не слушал. Он только смотрел на нее. Его внимание было поглощено рассматриванием ее.

Так вот она какая?.. А он и не знал.

«Господи, я и не знал до чего она некрасива! И не только некрасива, но и стара. Сколько ей лет? Она говорила двадцать восемь. Но ей сорок. Или даже пятьдесят. Может быть еще больше».

И эти большие несчастные усталые лошадиные глаза. Несчастные от старости. Она тоже знала, что всё между ними навсегда кончено. Иначе разве она показалась бы ему в таком виде? Опухшая от слез, растрепанная, в измятой пижаме. Она, всегда такая красивая, элегантная. Она, всегда проверявшая в зеркале свои улыбки и движения, даже за обедом, даже в театре, теперь не повернула головы, чтобы взглянуть на себя в зеркальный шкаф, не протянула руки за пудрой, за карандашем для губ. Она не боролась. Она сознавала свое поражение.

Ее голос. Когда-то его сердце начинало дрожать от звука ее голоса... Когда-то. Но ведь только три дня тому назад он был так рабски влюблен в эту старую некрасивую женщину. И она была такая же, как сейчас. Он только не видел. Он воображал ее победоносно-красивой, торжествующей над жизнью и судьбой. И он беспрекословно, рабски подчинялся ей. Не ей, а моей выдумке о ней, поправил он себя. Он вдруг прервал ее:

- Я тороплюсь, Ксана. Меня ждут. Важное дело... Она положила руку на рукав его пальто. Он отстранился.
 - Не трогай меня, я мокрый.

Но она не сняла руки. Она говорила:

- Как я мучила тебя. Теперь только я поняла. Мне казалось, что у тебя нет самолюбия, что ты смешной, жалкий. А ты один любил меня по-настоящему. Как я сама люблю теперь. И как это больно. — Она тяжело вздохнула.
- Ты тоже бросил меня. Нет, я не прошу тебя вернуться. Так мне и надо, стерве!

«Стерве» — это уже было слишком. Это резало ухо. И зачем она так старается раз знает, что всё кончено.

— Мне пора, Ксана, поправляйся...

Добавить: «Я заеду как-нибудь на-днях?». Нет, неудобно. Как насмешка.

- Подожди. Она поднялась. Сейчас отпущу тебя. Ты только скажи, что простил мне всё. Простил всё зло, она подвинулась к нему.
 - Прости меня, Вик!..

Чтобы она, гордая, непреклонная царица Ксения унизилась до того, чтобы просить прощения! Он почти испуганно поглядел на нее.

— Не надо, не надо, Ксана.

Она стояла теперь перед ним, босая. Она всегда носила очень высокие каблуки. Он не знал, что она так мала ростом! Так мала, так стара, так некрасива. Так жалка — она, царица Ксения.

Он отвернулся. Ему стало неловко, что он видел ее такой. Не надо было. Не надо было приезжать. Осталось бы воспоминание, трагическое воспоминание о том, как он раскачнулся на качелях жизни. А теперь...

Он взял ее руку на прощание.

- Не огорчайся, Ксана. Всё пройдет. Всё устроится!.. Но она потянула его руку к своим губам.
- Что ты делаешь?..

Он оттолкнул ее, стараясь вырвать руку. Но она крепко держала ее своими горячими пальцами, продолжая тянуть к губам. Он зацепился ногой за сползшее на пол одеяло, потерял равновесие и вместе с ней упал на постель. Он вдохнул запах ее духов. Ее запах, единственное, что не изменилось в ней. Он проник в его горло, в его кровь, в его голову, путая чувства и мысли. Он вдохнул его еще глубже и закрыл глаза. Рот Ксаны. Нежный, влажный, молодой. Нет, это не мог быть старый, размякший рот, только что так униженно просивший прощенья.

Она победила. Еще раз победила. Да, она была стара. Она была жалка и некрасива. Но он любил ее еще сильнее оттого, что она потеряла молодость и красоту. Жалость разрывала его сердце. Жалость еще более мучительная.

Мог ли он бросить Ксану? Думал ли он серьезно бросить ее? Вздор, вздор. Он только обманывал себя. Старый шут. Старый комедиант.

Он тяжело приподнялся, опираясь на постель.

- Я сейчас вернусь. На весь вечер. Только съезжу по делу. Отвезу. И сейчас обратно. Извозчик ждет. Он заторопился совсем как прежде, суетливо, рабски-трусливо.
 - Который час? Только не опоздать!

Он поднес часы к глазам. Из сада уже набежали сумерки, и он не мог разглядеть стрелок. — Всё равно, наверно очень поздно...

— Ты правда простил? Совсем?

Он уже взялся за дверь.

— Что? — спросил он, не расслышав в спешке. — Сейчас вернусь. Тогда обо всем...

Но она настаивала.

— Ответь мне только. Ты простил?

О каком прощении? Разве она не понимает?

Он обернулся к ней и увидел в сумерках ее лицо, поднятое к нему. Ее красивое, молодое лицо. Но это не была ее обычная торжествующая красота. Нет, лицо ее было грустным и нежным. В его грусти, в его нежности было что-то

раняще-пронзительное, молодое и беспомощное. Оно нежно и прозрачно светилось.

Из памяти Рачинского вдруг навстречу ксаниному лицу выплыла алебастровая лампа. Алебастровая лампа, зажигав-шаяся в сумерках в голубой гостиной его детства. Настоящая, керосиновая лампа, женственно-стройная и прекрасная. Ничего не было прекраснее этой алебастровой лампы, ее нежного певучего света. Он выбирался ночью из своей кровати с сеткой и крался по жуткому длинному коридору на свидание с ней. Она была его первой любовью. Она, ее свет. И вот опять перед его глазами сиял этот нежный свет. Этот свет, освещавший, преображавший его детство. Он и не знал, что лампу звали Ксана. Ксана — свет.

— Ты милый, Вик. Ты простил меня. Больше мис от тебя ничего не надо. Даже денег. На что они мне теперь?..

Вздох, как порыв ветра, порыв ветра, потушивший лампу. Свет исчез. Вместо него только смутно матово-белое пятно, погасшее лицо Ксаны.

Нет, он не мог вынести вида этого погасшего лица. Свет должен был вернуться. Сейчас. Во что бы то ни стало. Вернуться, засиять...

- Ксана, я никогда, никогда не оставлю тебя, Ксана...
- Ах, Вик. Я так несчастна. Ты милый, но ты ничем не можешь мне помочь. Я так несчастна.

Голос замолк. Свет не возвращался.

В детстве не было ничего, чего бы он когда-то не сделал для алебастровой лампы. Нет ничего, что он не сделает теперь для Ксаны. Снова вздох, долгий, безнадежный.

- Если бы я могла уехать в Ниццу!..
- Ксана, Ксана, ты поедешь!..

Да, она будет счастлива. Она будет невероятно, невозможно, беспредельно счастлива. И это счастье даст ей он. Он один.

Руки его уже открывали портфель, выбрасывали пач-ки денег на простыню.

— Бери, бери! Это тебе! На поездку.

Руки без участия его воли уже вынимали из жилетного кармана серьги.

— И это тоже бери! Чтобы ты была счастлива и красива. Для него. Чтобы ты была счастлива. Всё... Всё **б**ери.

Он в темноте нашупал выключатель. Свет обыкновенный — яркий электрический свет. На белой простыне разбросанные пачки денег. Бледное, заплаканное, непонимающее лицо Ксаны.

— Да бери же!..

Он положил серьги Анны на ее ладонь.

— Чтобы ты была счастлива. Чтобы ты поехала в Ниццу. К нему.

Она заметалась.

- Мне? Чтобы я в Ниццу?
- Ну, да, да! уже кричал он. Бери, бери всё! Я тебе даю. Он задохнулся. Это цена крови, это цена двух человеческих жизней! Это я для тебя!..

Она отдернула руку. Серьги Анны упали на простыню.

— Цена двух жизней? Не хочу, не хочу. Не надо. Убери их! Не хочу!..

Но он не сдавался. Она должна взять. Она должна уехать в Ниццу. Быть счастлива. Должна.

- Я пошутил, не пугайся, голос не слушался, голос скрипел и визжал от отчаяния. Пошутил. Я купил серьги для тебя. А деньги. Я хотел новый автомобиль... Но старый еще может служить.
 - Правда?

Она переводила взгляд с денег и серег на Рачинского, и в ее заплаканных испуганных глазах уже вспыхнул свет радости.

- Правда, Вик?
- Правда, Ксана. Честное слово!

Ну, да. Честное, арийское слово. Как Шлейферу.

- Бери, Ксана. Бери и будь счастлива!
- Вик.

Нежные душистые руки обвились вокруг его шеи.

— Вик, милый...

Молодое, счастливое, сияющее лицо Ксаны. Свет алебастровой лампы. Свет счастья. Свет, какого даже в детстве не было.

- Подожди, Ксана. Я сниму пальто.
- Не надо, всё равно.
- Подожди.

Он опустился на колени. Он прижался губами к свисающей с кровати холодной ноге Ксаны и замер.

Как лягушка, — смутно мелькнуло в голове. Как лягушка, которую долго мучили, резали ланцетом. И наконец дали капельку воды. Перед тем, как зарезать совсем.

Извозчик ждал перед калиткой. Тот же самый извозчик, та же самая старая, белая лошадь. Как будто жизнь продолжалась и ничего не произошло.

Рачинский взобрался на сиденье под поднятый верх коляски.

— В какое-нибудь кафэ! Живо!

Белая лошадь тронулась. Тронулась, чтобы почти сейчас же снова остановиться.

— Вот тут открыто, — сказал извозчик. Рачинский уже забыл, что велел ехать в кафэ. Его удивило, что извозчик догадался, что ему необходимо выпить коньяку. Совершенно необходимо.

Он толкнул темную дверь и подошел к цинковой стойке нетвердо, как пьяный.

--- Коньяку. Двойную рюмку.

Хозяин кафэ оглядел его оценивающим взглядом, не спеша достал откуда-то снизу бутылку мартеля и большую пузатую рюмку.

— До краев!

Рачинский выпил закрыв глаза и закинув голову, как курица.

— Повторите. До краев!

Хозяин пришурясь помедлил с минуту. По губам его прошла понимающая, соучастническая улыбка. Бутылка как бы в нерешительности пови сла в воздухе.

Рачинский сжал кулаки. Выхватить бы бутылку и ударить по голове этого негодяя. Так, чтобы череп хрустнул.

Чей череп? Мой или его? осадил он себя, стараясь сдержать подступающую к горлу ненависть. Он молча поднял руку, показал на бутылку и на рюмку. И жест подействовал. Рюмка наполнилась до краев. Еще и еще раз. До краев.

Только тогда он выпрямился, сдвинул шляпу на затылок и огляделся. Посетители колыхались и расплывались пятнами в сыром дымном воздухе. За одним из столиков у стены играли в карты. От вида карт почему-то стало легче, почти спокойно. Играют. Значит еще не всё потеряно. Игра продолжается. И жизнь тоже.

Ему захотелось подойти, заглянуть через их плечи в карты. Но над головами играющих вдруг показалось лицо Варвары Семеновны с открытым, беззвучно кричащим ртом, рядом Анна, вынимающая серьги из ушей. И над ними выше и как бы дальше — Соня и смеющаяся мордочка Маи. Лица громоздились друг над другом уступами, «как итальянские виноградники», подумал он, вглядываясь в них. И совсем далеко, совсем высоко, будто на другом плане, раскрывая закопченый потолок, уходя в звездно-лунное небо, сияло жестокое, прелестное лицо Ксаны.

Они были все здесь, чем дальше и выше, тем ближе к нему. И это казалось совершенно естественным.

— Ку-ку! — вдруг звонко крикнула ему Мая, будто только что нашла его в толпе. — Ку-ку! Вот ты где...

Он дернул шеей. И всё сразу исчезло. Горячая волна прошла по его затылку, отдаваясь звоном разбитого стекла в ушах. Должно быть он смахнул рюмку с цинковой стойки на пол. Он не видел, как рюмка упала. Он продолжал смотреть прямо перед собой на стену, на играющих в карты. Их черные тени вытягивались на грязновато-серой стене, как подтверждение, что они действительно реально существуют,

сидят здесь и играют. Их тени и только. Больше на стене не было ничего.

Он заплатил и вышел, держась преувеличенно прямо и уверенно.

В темноте уносящего его, укачивающего движения коляски он неожиданно понял, что пьян. Пьян до отказа. Как просто, как хорошо — пьян. Опьянение защитит его от страха встречи с Анной. Под него можно будет спрятаться от всех и даже от себя. Накрыться им с головой, как нянькиным большим, набивным платком в красные розы. Тепло, уютно, беспамятно свернуться клубком. И заснуть.

Но нет. Опьянение больше не защищало его. С каждым поворотом колес оно предательски покидало его, растворялось в сыром воздухе, сползало с его сознания.

В Палас он вошел уже совсем трезвый. Ночной швейцар протянул ему ключ от его «сюиты» и, плохо сдерживая зевоту, пожелал ему спокойной ночи. Впервые за всё время, что он жил здесь, Рачинский не испытал знакомой гордости, проходя по коврам мимо золоченых витрин и бесчисленных отражающих друг друга зеркал. Всё было тихо и пусто. Особенной мрачной, пугающей тишиной и пустотой. Лифт с легким жужжаньем понес его вверх, но ему показалось, что он скользит куда-то вниз. «Взвейся ввысь иль опустись на дно. Ведь это одно и то же», почему-то вспомнил он.

Рачинский вернулся домой только в два часа ночи.

Анна в халате, сшитом из персидской шали, с папильотками, закрученными над ее измученным ожиданием лбом, встретила его в прихожей.

— Когда их отпустят?

Рачинский дернул себя за воротник и откашлялся.

— Не волнуйтесь, Анна. Вышло не так гладко, не совсем так гладко. Нет, не серьги. Серьги взяли. Это всё в порядке. Но... — он запнулся. — Там со вчерашнего дня... Новый из Берлина. И с ним нельзя так просто. Они сами растеряны.

Им придется деликатно, осторожно ввести его в дело. — Он снова запнулся. — Надо ждать. Но вы не волнуйтесь, — уже увереннее прибавил он. — Раз деньги взяли — значит всё в порядке.

- Но ведь их должны отправить завтра в Германию!.. Он снял пальто и акуратно повесил его на плечики в шкаф.
- Нет. Партия уйдет только через неделю. У них там какие-то перемены и перетасовки. Как раз из-за этого нового из Берлина. Но всё устроится. Будьте спокойны. День-два придется подождать. Он закрыл дверцу шкафа. Может быть даже целую неделю. До отправки партии.
- Варя, голос Анны сорвался Варя будет в отчаянии.

Рачинский прошел мимо нее.

- «Возьму горячую ванну. Просто падаю от усталости. Спать, спать». Она оставалась стоять на прежнем месте. Она даже не обернулась.
- Вам звонили. Какой-то Шлейфер. Пять раз. Очень грубо требовал вас. Он прислонился к стене. Он чувствовал, что побагровел. Если бы Анна обернулась!
- Шлейфер? он издал неопределенный горловой звук. Грубо требовал? Значит дело... Дело с кофе провалилось. Неприятно. Очень неприятно. У меня было с ним свидание. Но я опоздал. Эти черти на Анри Мартэн заставили больше часа ждать. Неприятно, очень неприятно... Он кашлянул. Зачем так многословно и подробно? Никогда он не объяснял Анне своих дел.
- Постарайтесь успоконть Варю. Всё в порядке. Самое большее неделю.

Она ничего не ответила. Она стояла на том же месте, будто приросла к нему. Совершенно прямо. Крепко прижимая локти к талии. И в этой спине и в этих локтях была несвойственная Анне каменная напряженность. Какие у нее упрямые локти. И вся она замкнута, как дверь тюрьмы. Он вошел в ванную, щелкнул замком и вздохнул.

Передышка!

Вид никелированных кранов, душа, пестрых полотенец и сетки с губками всегда действовал на него успокоительно.

После часа, проведенного в горячей ванне, я, как Наполеон, снова готов к бою, говорил он всегда.

Наполеон с детства был его любимым героем. Он мечтал о подвигах. О славе нового Наполеона. Мечты обманули. Уже в Париже в первые годы эмиграции, успев хорошенько познакомиться сам с собой и узнать себя, он написал стихи — среди его разнообразных способностей были и литературные. Стихи, начинавшиеся так:

Всему конец. И ясно, что Наполеоном я не буду...

Да, он не стал Наполеоном. Ни в какой области. Даже чернорыночной. Для этого тоже ему не хватало ни смелости, ни размаха. Но он всё же любил сравнивать внешность Наполеона со своей. У меня такие же голубые глаза, как у него. И роста мы одинакового. Великие люди никогда не бывают большими. Он не огорчился, когда у него стало обнаруживаться брюшко — это тоже была черта общая с Наполеоном.

Обыкновенно он долго рассматривал себя в трехстворчатом, длинном зеркале ванной. Он скорее нравился себе. Конечно, он некрасив. Но сколько женщин влюблялись в него. И как влюблялись! Ему всегда везло с женщинами. До трижды проклятого дня, когда он встретился с Ксаной. Он вздрогнул. Нет, о Ксане сейчас нельзя было думать.

Обыкновенно, перед тем как начать раздеваться, он отвешивал себе поклон в зеркале:

— Здравствуйте, здравствуйте, Виктор Викторович. Ну вот... Ну вот мы и спокойны с вами до утра. И он, напевая, принимался развязывать галстук. Он обладал удивительной способностью снимать с себя вместе с дневным платьем дневные заботы, выключать из своих мыслей тревоги.

До завтра, до завтра. Ночь для сна или, если спать не удается, для приятного отдыха. Непременно — приятного.

Ночью всё менялось. И он сам. Ночью не было ни войны (если о ней не напоминал вой сирен), ни черного рынка, ни даже Ксаны. Ничего, что мучило его днем. Ночью, когда не спалось, он занимал мысли решением крестословиц или бриджевых задач, прочитанных перед тем, как потушить свет. Но в последние дни это стало очень трудно. За невинными горизонтальными или вертикальными словами в столько-то букв тянулись длинные мрачные хвосты всевозможных ассоциаций, путая мысли и покой. Отдыха больше не было.

Локти Анны? Неужели Анна уже догадалась? Уже знала? Водопадный грохот наполнявшейся ванны... Как правило, нервные люди терпеть не могут шума воды. Но он, напротив, любил его. Участь Прометея не казалась ему такой уж невыносимой. Если бы не орел. Не печень. С печенью у него самого уже были осложнения. Он знал, как это больно. Но вечный шум воды... И ведь Прометей был прикован не к какой-нибудь там скале, а к скале Кавказа. Кавказ — земной рай. Пар заволок его глаза. Лермонтов... Пятигорск. Княжна Мэри в башмачках couleur рисе...

Но локти Анны оттолкнули прелестное видение княжны Мэри. Рачинский отмахнулся от них и сел в горячую ванну. От воды шел запах соснового экстракта. Сосны шумели на высоких дюнах... Сквозь красные стволы сосен просвечивал серебристо-серый песок, серебристо-голубое море. Балтийское море. И далеко на горизонте белый парус.

«Белеет парус одинокий...» Вздор, вздор. До паруса ли ему? Ведь он преступник. Он — убийца... Но что из этого. Ведь Наполеон «забыл» армию в Египте. А убийство герцога Энгиенского? Разве это не было преступление?

Он поднял руку и со всей силой ударил ею по воде. К чорту всю эту ханжескую мораль! Ну, спаслись бы Соня и Мая. А другие — тысячи других, таких же, как они. Тысячи невинных, погибающих в газовых камерах, в лагерях... И никому до их гибели дела нет. Никто их не спасает, не выкупает их. Все продолжают спокойно жить. Как будто нет ни газовых камер, ни палачей. Отлично жить. Лучше, чем до

войны. И делать дела. И богатеть. И всё это только ханжество, притворство, крокодиловы слезы. Сплошное «пожалей ты моих крокодильчиков!» К чорту! К чорту! — крикнул он. — Всех надо жалеть или никого. Никого не жалею, кроме себя. И прав!.. К чорту!..

Стук в запертую дверь ванной. Голос Анны:

- Вы звали? Вам дурно?
- Мыло выскользнуло из руки. Вот и всё. Идите спать, Анна.
- Вы меня напугали. Не оставайтесь слишком долго в ванне. Вам вредно.

Нет, она не знает. Она еще боится за его драгоценное здоровье. К чорту ее заботы!..

Но злоба уже прошла. Он больше не бунтовал. Сердце билось испуганно и быстро. Не сердце Наполеона. Заячье сердце.

Он закрыл глаза. Подбородок его касался воды. Жаль, что надо держать голову над водой, что нельзя распустить все мускулы, совсем. Нырнуть на дно. Дать этой душистой горячей воде закончить дело. Это было бы так просто. Так легко...

Но шея его напряглась, веки замигали. Нет, жить, жить, жить! Ксана остается еще целую неделю с ним — перед Ниццей. Целую неделю — для него. Завтра вечером... И послезавтра... Через неделю, когда она уедет — тогда...

Он намылил руку, сложил ее в кулак и подул в него. Мыльный радужный пузырь легко и плавно поднялся под потолок. Мысль, как в детстве, а вдруг он так и останется навсегда. Не лопнет... И продолжение этой детской, радужной мысли: а вдруг эта неделя никогда не кончится?

Уже у самой калитки Рачинский повернулся к извозчику. Ждите. Сколько бы ни пришлось ждать. Не пожалеете. Он,

конечно, мог заплатить вперед за целую ночь простоя. Но можно ли рассчитывать на извозчичью честность?

Он прошел по шуршащей листьями аллее. Листья уже не были скользкими, не напоминали лягушек. Но они попрежнему казались живыми. Они взлетали из-под ног. Они кружились по ветру, как бабочки. Как большие черные бабочки. В свете луны. От света луны сад казался праздничным. И ель посреди лужайки казалась рождественской елкой. Будто Рождество. Конечно, Рождество. И всю неделю будет Рождество. Пышный, бесконечно длящийся праздник. Но дом с закрытыми ставнями не принимал участия в этом празднике. Он выпадал из него. От фантастично-яркого лунного света он казался мертвым, почти призрачным.

Трудно было даже поверить, что в этом призрачном доме, за этими глухими ставнями ждет Ксана. Ксана — свет, Ксана — счастье. Но ведь он знает — это будет. И ничто в мире не может помешать.

Три ступеньки. Три шага. Звонок. Не надо было так резко, так нетерпеливо звонить. Ведь он спокоен. Он совершенно спокоен. Он совершенно счастлив.

Дверь открыла Лисса. Очень бледная Лисса. От луны должно быть. Но ему некогда было ее разглядывать, некогда даже поздороваться с ней. Он хотел скорее войти в дом. Она стояла на пороге, заграждая ему дорогу. За ней, в квадрате открытой двери, было темно. Темно и тихо. Будто дом был пуст.

— Пропусти же, Лисса!

Она подняла голову и взглянула на него. И хотя ему не было никакого дела до нее, он всё же не мог не спросить:

— Что с тобой? Ты больна?

Она покачала головой. Ее светлые длинные волосы закачались вокруг неестественно неподвижного, неестественно взрослого лица.

- Ксана уехала, сказала она, отчетливо отчеканивая.
- Уехала?

Невозможно. Невозможно. Ведь она сама просила вчера

- только не опоздай. В половине восьмого. Сейчас ровно половина восьмого.
 - Совсем уехала, так же отчетливо сказала Лисса.

Лисса шутит. Конечно, шутит. Оттого у нее такое театрально-взрослое, театрально-неподвижное лицо и голос, деланный как на сцене. Ведь она любит рассказывать всякие ужасы, чтобы потом, прыгая на одной ножке и хохоча, хлопать в ладоши: Попался! Поверил! Надула! Ну да, она шутит. Она сейчас, не сдержавшись, звонко фыркнет и начнет плясать вокруг него свой индейский танец. Еще хорошо, что она не заявила «Ксана умерла»...

— Брось глупости, Лисса. Вздор!

Он нетерпеливо отодвинул ее, вошел в прихожую и щелкнул выключателем. Пустые картонки. Смятая оберточная бумага. Широко открытый шкаф, где обыкновенно висела новая, недавно подаренная им Ксане норковая шуба и все ее остальные пальто — совершенно и сразу убедил его.

— Уехала! — Уже не вопрос — утверждение. — Бросила. Бросила, как шелудивого пса.

Лисса всё еще стояла на крыльце с тем же неестественно-неподвижным, неестественно-взрослым лицом. Теперь уже было ясно, что она не притворяется.

На крыльце он всё же остановился перед ней. Ему всё еще казалось, что вот сейчас всё объяснится. Не могла же Ксана так, ничего не сказав...

- Ксана велела вам передать, что напишет вам из Ниццы. Напишет? О чем еще опрашивать? Решительно не о чем. Лисса смотрела поверх головы Рачинского на зеленую круглую луну.
 - И меня тоже бросила.

Как будто она не ему, а луне жаловалась. Как будто не он, а луна могла пожалеть Лиссу. И он действительно не почувствовал к ней жалости. Он уже спустился с трех ступенек крыльца.

— Спокойной ночи, Вик Викич.

Этого она могла бы и не говорить. Но вряд ли она отда-

вала себе отчет, до чего неуместно ее пожелание спокой-

«А вдруг эта неделя никогда не пройдет?» И вот уже лопнул мыльный пузырь. И вот уже конец. Окончательный конец. Уехала. Уехала. Бросила. Под его ногами разверзлись бездны и хляби, готовые поглотить его. Старый комедиант. Старый шут, перебил он себя. Бездны и хляби? Не умеет говорить просто даже сам с собой на пороге смерти. Почему «на пороге смерти»? А не перед тем как сдохнуть? Сдохнуть, как крыса, нажравшаяся крысиного яда?

Зеленый крысиный яд. Зеленая ядовитая крысиная луна. И как светло. От этого зеленого ядовитого света ему холодно. Он дрожит. Нет, ему жарко. Он задыхается. Бросила. Сбежала.

Теперь он действительно спустился в ад, в самую преисподнюю. На самое дно. Ниже уже нельзя опуститься. И всётаки он чувствовал, что опускается еще и еще. Если бы было дно, он мог бы, достигнув его, оттолкнуться от него, снова всплыть на поверхность. Но дна отчаяния не было. Отчаяние, как трясина, затягивало всё глубже. Ксана, Ксана!..

Он давно знал, что всё кончится катастрофой. Катастрофой. Позором.

Позор, катастрофа мерещились где-то там, в будущем, смутным грязным пятном. Грязным, но не кровавым пятном. Кровь. Он глубже засунул в карманы пальто влажные руки. Влажные не от пота — от крови. У меня руки в крови.

Убийца. Нет, даже в минуты самого беспощадного, прозорливого предвидения своей судьбы он не догадывался, что его ждет. Кража. Растрата. Подлог. Предательство. Это он предвидел. Этого он даже ждал. Но убийство... Ничто не бывает так прекрасно или так ужасно, как в воображении. Но он ошибался. Действительность превзошла его воображение. Ни мелкий жулик, ни вор. Убийца.

Ночь для него всегда значила — тишина и темнота. Но он и тут ошибался. Удары копыт и щелканье кнута, стук колес поезда, увозившего Ксану в Ниццу, больно отдавались в

его голове. Тишины не было. Улица переливалась и вздрагивала в ядовитом зеленом свете. Было светло, чудовищно, фантастически светло. Ночь? Но ведь ночь еще не наступила. Еще только вечер. Последний вечер его жизни.

Из темного подъезда какого-то дома вышли две барышни. Они смеялись, и это удивило Рачинского. Чему они смеются? Разве можно еще смеяться? Но может быть ему только показалось. Эти барышни, вышедшие из подъезда. Их просто не было. Но смех? Смех он слышал. Как заливисто смеялась маленькая Мая. Банальное сравнение с колокольчиками всегда приходило в его банальную голову. «Волшебный колокольчик всё звенит». Колокольчики. Колокола. Церковные колокола, вызывающие похороны. Кажется у евреев в синагоге нет колоколов. Он не знал. И не всё ли равно? Колоколов не будет, потому что и похорон не будет.

Впрочем, даже и это не достоверно. Иногда всё-таки погребают. Рассказ гестаписта Крэмера во всей его чудовищной простоте: — трех мальчиков и девочку...

Трех мальчиков и девочку столкнули в уже вырытую для них яму. Дети сразу принялись возиться в песке. Их стали засыпать песком. Они продолжали смеяться и играть. Один из мальчиков крикнул солдату, указывая на его лопату: Fais attention, Monsieur. Tu me jette du sable dans les yeux! Гестапист захохотал:

— Ax, эти жиденята! Даже собственные похороны за игру принимают!

Тогда, стараясь скрыть впечатление от этого рассказа, он подумал: тот, кто работает с убийцами — сам убийца. Теперь он был убийца. Без всяких предпосылок, из которых вытекает «убийца». Просто — убийца.

Если Маю станут зарывать живой, она тоже наверно до последней минуты будет смеяться и не верить, что это не игра. Но если газовая камера... Удушье... Он задыхался.

Но это еще не всё, сказал он себе. Надо еще во всем сознаться Анне. И это тоже убийство. Еще одно убийство.

Анна вопреки всем и всему считала его благородным,

добрым, честным. «Мой муж идеальный человек. Нет добрее, лучше его». Она видела его не таким, каким он был, а таким, каким он жил в ее сознании — вот уже тридцать лет. Он старался не разрушать раз и навсегда создавшийся образ идеального Рачинского. Это было нетрудно. В глазах Анны, Рачинский был также и необычайно умен. И всегда и во всём прав. Даже его чернорыночество и коллаборантство она принимала за героическую борьбу с большевиками. И восхищалась им за эту героическую борьбу.

Теперь ему предстояло убить «идеального Рачинского». Убить не только его, но и Анну. Вряд ли Анна сможет не умереть, узнав правду. Даже если она не перестанет дышать и двигаться, и сердце ее не перестанет биться — это всё-таки будет убийство. Духовно, душевно или как там, она не сможет не умереть.

Я убью ее. Иначе нельзя. Необходимо. Он не знал, почему это необходимо. Почему нельзя просто, ни в чем не признаваясь, не проходя еще через это... Почему необходимо пройти через это? И всё-таки он пройдет и через эту казнь. И только тогда... Классическое образование послужит хоть чему-нибудь. Петроний. Но цветов не будет. Цветов не надо. Не забыть в записке комиссару полиции — Ni fleurs, ni couronnes.

Тень лошади непомерно длинная, тень извозчика в цилиндре, как труба, извивающаяся змеей тень кнута, тень коляски на высоких, крутящихся колесах и в ней тень его самого, бесформенная тень.

Может быть это и есть ад?

Так обыденно, так буднично, так страшно? И ничего другого уже не будет. И это будет длиться вечно. Это неподвижное движение в царстве теней. Тень лошади, тень извозчика... Вечно?

Толчек. Коляска остановилась. Значит ад еще впереди.

Рачинский спрыгнул на тротуар, суетливо достал деньги, суетливо заплатил. Так щедро, что извозчик поднес руку к своему нестерпимо блестящему цилиндру, снял его и поклонился.

— Спасибо. Большое спасибо.

Как странно, что его еще благодарят. И еще с провансальским акцентом.

- Вы верите в Бога? неожиданно спросил Рачинский. Вопрос удивил его больше, чем извозчика.
- Как сказать, Monsieur. С одной стороны, конечно, бомбы, война и все ужасы, и есть нечего. А с другой...
- Тогда, прервал Рачинский, помолитесь сегодня перед сном за Виктора. Vous n'oublierez pas? Victor сотте Victoire. И он протянул ему еще сто франков.

Цилиндр снова блеснул в светящемся поклоне.

- Будьте спокойны, Monsieur. Я еще лучше сделаю. Я заставлю свою маленькую девочку помолиться за вас. Ничто так не доходит до Бога, как детские молитвы.
- Что? Девочка? Какая девочка? Как вы смеете про девочку?..

Он отдернул руку, еще державшую сто франков, и быстро вошел в отель.

Ковры? Да, ковры действительно несли его. По холлю, мимо поджидающего лифта, по лестнице, по коридору. Девочка?.. Какая девочка?..

Дверь номера распахнулась прежде, чем он успел вставить ключ в замок. Анна, крепко, обеими руками обхватила его. Всё закружилось перед его глазами. Голова против воли опустилась на черно-шелковое плечо Анны. И всё-таки он заставил себя сказать:

— Анна, я должен. Анна, послушайте...

Но она ничего не желала слушать, она говорила сама, она кричала так, что подвески люстры звенели, перекликались с ней. Крик ее наполнял водопадным шумом его уши. Шум воды. Ванна. Бритва. Так, с закрытыми глазами. Только бы не видеть ее лица. И всё-таки надо.

— Анна, послушайте, Анна...

— Уехали!.. — это дошло до него. — Да. Конечно. Их увезли. В Германию. На смерть. Да, он знает.

Он привычным жестом дернул за воротник рубашки. Не хватало воздуха. Но разве воздух поможет? Он издал неопределенный гортанный звук.

- Анна, я должен...
- Уехали! -- Крик торжества. Крик победы. Victoire. V как Victoire. Нет, она не могла так кричать от боли, от отчаяния.

Она приблизила свои губы к его уху. Она кричала в самое ухо, в самое сознание.

— Уехали в Лион! И вы спасли их! Вы один. Спасли!.. Теперь он не только слышал. Теперь он понимал.

...Только за час до отправки партии. Потому что партию отправили сегодня. Маю отняли у Сони. Маю поместили в детский павильон. Из бараков, куда заперли Соню, было слышно, как плакали дети. Особенно ночью. Из окна Соня могла видеть стену детского павильона. И дерево перед ним. Соня не отходила от окна. Она не готовилась к отъезду, как остальные. Не меняла, не продавала своих вещей. Не укладывалась. Даже когда она услыхала, что ее вызывают, она не отвернулась от окна. Ей всё казалось, что она еще увидит Маю. Но имя ее прокатилось по всему бараку.

— Ну, да, я готова. Иду.

Она наконец оторвалась от окна: — Я готова. Иду...

Немец в форме протягивал ей Маю. Перемазанную, с соломой в локонах, в грязном платьице, но живую, смеюшуюся Маю. Соня упала в обморок.

Их привезли домой к Варваре Семеновне на немецком автомобиле. Немец в форме, провожавший их, возмущался дорогой подлыми доносчиками. Он подарил Мае плитку шеколаду. На прощание Мая поцеловала его. — Он хорошяй. Я его люблю!.. И шофера Мая тоже захотела поцеловать. Шофер растрогался и вытер глаза. — Schweinehunde эти доносчики!.. Такая прелестная, такая арийская девочка!..

— Варя и Соня так жалели, что не удалось поблагода-

рить вас. Я отвезла их на вокзал. Они уехали в Лион, к вариной сестре. С ниццским поездом.

— С ниццским поездом? — переспросил он.

Она вдруг радостно и ошалело ахнула.

— Что же это я держу вас в прихожей и даже мешаю вам снять пальто?

Он нагнулся за своей свалившейся на пол шляпой.

Она шумно захлопотала. Обедал ли он? Не хочет ли он чаю? Не напустить ли ванну?

Нет, нет, ничего не надо. Ничего. Он очень рад, но у него болит голова. Он хочет лечь. Скорее лечь.

Он прошел в спальню. У них всегда была не только общая спальня, но и общая кровать. Анна говорила: мы вот уже тридцать лет спим вместе. Мы просто не могли бы не спать вместе, не в одной кровати. У него не хватало жестокости объяснить ей, что из-за этой общей кровати он так часто не может заснуть. Эти совместные ночи были почти единственной жертвой, приносимой им Анне. Но никогда еще эта жертва не казалась ему такой тяжелой.

— Я боюсь, что я простудился, что у меня начинается грип.

Грип — повод к молчанию.

Вместо лампы — голубоватый ночник. Черно-шелковый шелест снимаемого платья. Звон сталкивающихся флаконов и банок. Морская свежесть лосьона. Легкое потрескивание щетки для волос; все давно знакомые звуки и запахи ритуала укладывания спать Анны. И наконец протестующий лепет откинутых простынь, струя холодного воздуха в разогретой мягкой глубине постели и осторожно вытягивающееся тело Анны.

Остается сказать: спите спокойно, Анна. И конец. Конец до завтра. Не окончательный конец. А только до завтра. Игра продолжается.

— Вы не спите, Виктор Викторович? — Тихий шопот, чтобы не разбудить его, если он уже спит, но всё-таки на-

стойчивый шопот. — Я совсем забыла... Шлейфер опять звонил.

Невозможно сонно дышать, невозможно притворяться спящим. Шлейфер?.. Дело с кофе лопнуло. Он надеялся нагреть лапы. Конечно, он в ярости. Никакого значения. Спокойной ночи.

Спать, спать! Не думать о ярости Шлейфера.

Вздох рядом. Вздох, требующий участия, вопроса.

— Что с вами, Анна? О чем вы?

Но он молчит. И снова вздох.

— Я должна вам сознаться...

Это он должен был ей сознаться. Но сознаться больше не в чем. И вообще никогда ни в чем не следует сознаваться.

— Спите, спите, Анна.

Но она не может спать. Она всхлипывает.

— Я знаю, что я навсегда гублю себя в ваших глазах. И всё-таки... Я подлая. Я низкая. У меня были такие мысли...

В голубоватой полутьме спальни он касается ее плеча сквозь сборчатую батистовую рубашку.

— Вздор, Анна. Ни у кого вообще никаких мыслей нет. Всё это пустые выдумки. Спите.

Но она всхлипыват сильнее.

- Не могу... Не могу... Я вас... Я думала, что вы отдали ей деньги и мои серьги... Этой вашей... Ведь я знаю, вдруг громко, во весь голос зарыдала она. Я давно знаю, и я думала, что вы ей... И сегодня, когда Соню и Маю... Остальное потонуло в слезах и раскаянии.
- Успокойтесь, Анна. Я вчера очень волновался. Ведь если бы этот новый оказался неподкупным... Он погладил ее по волосам.
- Довольно, довольно. Я не сержусь на вас. Но всётаки... Значит вы меня считали чудовищем? Апокалиптическим, а?.. Апокалиптическим чудовищем, с удовольствием раздельно повторил он, гладя ее волосы. Но теперь до-

вольно, Анна. Забудем об этом. Навсегда забудьте. Чтобы и я мог забыть.

Она понемногу затихала, всё еще слабо всхлипывая.

- Я недостойна вас. Но я не могла не сознаться вам... И вдруг ему захотелось тоже сознаться, сказать правду. Хоть часть правды, чтобы осчастливить Анну.
- Эта... эта женщина уехала сегодня вечером в Ниццу. Между нами всё кончено. Я даже не простился с ней. Странно, что вы, такая чуткая, не почувствовали. А теперь спите. Ни слова больше. Иначе я действительно рассержусь.

Анна восторженно засопела и смолкла. И наконец настала тишина. Настоящая ночная успокоительная тишина. Всё снова было хорошо. Преступление? Никакого преступления нет. Раз нет преступления, не может быть и наказания. Гле-то там по ночным рельсам поезд с головокружительной быстротой уносил Ксану из его жизни, из его памяти. И вот уже воспоминания о ней превратились в длинную белую полосу паровозного дыма в пустом ночном небе.

А Шлейфер? вдруг с ужасом спросил он себя. Но нет. Он ошибся. Опять ошибся — ужаса он не чувствовал. Руки не похолодели, и сердце продолжало ровно биться. Шлейфер будет молчать. Слишком много мне про него известно. Если только пикнуть посмеет... Да и не посмеет никогда. Будет молчать.

Сердце забилось быстрее. Но не от трусости. От чувства борьбы и победы. Он лег на спину, скрестил руки на груди по-наполеоновски. Victor. V comme Victoire.

Ирина Одоевцева

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ БЫЛО ВСЕ РАВНО

1

Не знаю, вычислил ли кто-нибудь быстроту, с которой иной раз взрываются в нашей памяти воспоминания, складываясь в цепочку, стремительную, как кинофильм? Вычислил ли, как вычисляют разные прочие скорости? Не знаю, но вот, например, финал этой моей повести вспомнился мне буквально в какие-то осколки секунд, когда пастор, похожий на Державина, но приехавший хоронить на мотоцикле, стряхивал с длинной черной лопаточки в яму первый комок земли. Он был липкий, жирный, этот комок, похожий на шоколадную пасху, и никак не хотел отрываться, — пастору пришлось понукнуть его, рывком, как понукают возжами лошадь. Тогда он отлип и скатился вниз с едва внятным мокрым чмоком, слышным только в той почти мистической тишине, когда, затаив дыхание, окружающие ждут этого первого глухого шлепка о крышку гроба. Да и вся эта история, которую теперь записываю (вот уже второй месяц записываю!), возникла у меня в памяти всего в несколько взрывных минут — от выезда нашей скудной процессии с гробом за черепичную околицу и — покуда забрасывали могилу.

Околица была в ветре и листе — звонком, желтом, широколопастном — с каштанов, и мелкоузорчатом — от какойто повители по стенам, похожей цветом на пенки с вишневого варенья. Всё это крутилось, шуршало, взлетало, поддуваемое с поля, за которым холодел лес, и по плывучему облачку чертила невидимую линию белая, как мелок, островерхая колокольня.

Два неменких битюга, с крупами, емкими, как цистерна, словно бы с недоумением тащили широкий, как тротуар, грузовой полог, на котором узенький (ничтожно узенький, если смотреть сзади) гроб казался почти анекдотической случайностью. Лениво вскидывались назад волосатые, в тяжелых подковищах копыта, похожие с изнанки на скальпы. Кремнистая дорога под ними похрустывала, скрипела и брызгала искрами.

Осеннее — везде одинаково. И трудно было мне не вспомнить другую осень, подмосковную, ту самую, когда в первый раз встретился я с героем этой повести, Батулиным. Говоря «подмосковная», имею я в виду один недалекий дачный пригород по Брянской. По живописности это не столь уж и взрачные места: много глины по обрывам, рябиновая кое-где рябы и мелкие на опушках осинки. Но кто бывал и бродил там осенью, тот помнит до смерти, где бы ни жил, какое сквозит между этими осинками небо и какой от них вокруг шелест и горьковатый воздух, словно бы с наркотиками, и как от всего этого хочется вдруг самому себе в чем-то исповедаться, или написать нового «Мцыри», или просто заплакать.

Помню, приехал я туда в такое же осеннее листокружение, в ветреный красный закат. За фиолетовыми перелесками вдали бледно золотел купол Храма Христа Спасителя (вот как давно это было!). Подле полустанка, между тощими аллейками и мелкими желтыми прудами торчало несколько утлых, как спичечные коробки, дачек — летний лагерь одного из многочисленных тогда, в первый период послеоктябрьской беспризорности, детдомов. Заведующая этим детдомом, давняя приятельница нашей семьи, и пригласила меня на свои пруды. «Приезжайте в субботу. У нас пионерский праздник. Будут Дима и Шура, а главное — Рыжик поставил вашу пьесу, и все хотят познакомиться с автором». Дима был ее племянник, актер средней известности, а Шура — сын, тогда писавший еще только эпиграммы, а позже сделавшийся одним из крупнейших наших драматургов. Но меня, конечно, тянуло прежде всего увидеть на сцене собственное творение. Пьеса была моя первая, от которой и посейчас краснею, вдобавок революционная, в стихах, с «ура — пора!» и тому подобное. Но — первая, и этим сказано всё.

Всех троих я застал на скрипучей терраске, за чаем. Узнал, что праздник перенесли на воскресенье, потому что в воскресенье должна была прибыть сюда сестра Ильича. А потом шмыгоносая воспитанница из «адъютанток» (дом был девичий) провела меня к Батулину — «Рыжику». Кстати, был он вовсе не рыжий, а скорее желтый, как вода в пруде, около которого я его нашел. Он стоял спиной ко мне, длинный и волосатый (без рубахи), на небольшой площадке вроде крокетной. С дюжину девочек в майках и трусиках шароварчиками, расставленные в шахматном порядке, выделывали под его счет пластические движения. Очевидно, репетировали один из завтрашних номеров. Строго говоря, было это не так уж красиво, и помню, что некоторые из гимнасток показались мне чересчур коренастыми, и уж больно трудились, кажется, даже и потом доносило от них, несмотря на вольный воздух. Но в общем эти дружные взлеты рук-ног на фоне притемнившегося уже неба и еще раз неба — в янтарном пруду — были довольно эффектны.

— И раз, и — два, и три — и... четыре... — считал Батулин, распевно и сочно, и иногда, не останавливая счета, поправлял крепким обжимом пальцев чью-нибудь ошибшуюся смуглую ногу или плечо. Этот голос, густой и мягкий, с гибкими, как бы актерскими интонациями, был моим первым «сквозным» впечатлением от нового знакомства и, помнится, поразил меня странным несоответствием обстановке: такой осанки голос — и в детском приюте! Здесь обычно командовали кружками какая-нибудь визгливая «тетя Катя», воспитательница, или «затейница» из пионервожатых, выкрикивающая звонко вместе с ладошами и подпрыгивающими на лбу вихрами: «Два притопа, два прихлопа! Начали!»...

Постояв рядом с минуту, я заметил, что добрая половина этих физкультурных девочек были весьма даже великовозрастны, некоторые притом вовсе не так уж неуклюжи, как показалось мне по первопутку. Еще заметил я (или уж это теперь

мне кажется, что заметил, после более поздних объяснений и очевидностей), что иные из них, когда он до них дотрагивался, вспыхивали и замирали, словно захлебнувшись собственным дыханием. Помню, мне сделалось почему-то неловко стоять так и глазеть, да и кусались комары (физкультурницы в пароварчиках тоже звонко ошлепывались в паузах). Несколько пар глаз поочередно чиркнули по мне, потом стали уж задерживаться откровенно и с любопытством. Тогда Батулин сказал в последний раз «...и — четыре», руки-ноги мелькнули книзу, и он обернулся.

Ему было за тридцать, т. е. лет на десять больше моего, что мне тогда, помню, очень импонировало. Лицо, пожалуй, тоже несколько актерское и с чрезвычайно подвижными бровями, выражавшими самым незначительным движением заинтересованность, безразличие или насмешку. Они словно подменяли собою игру глаз, которые у него не смеялись, были как-то особенно холодны в уголках, словно кто-то там стерег и тушил каждое их возможное оживление. Брови были моим вторым «сквозным» впечатлением от Батулина. «Всё!» -- сказал он, подняв вверх руку, и окружившая его было живописная пирамидка, с перехватом в середке и загорелым живым ажуром по краям, разлиплась. Мы познакомились. Не помню, расспрашивал ли я его о чем-нибудь, или он сам говорил, угадывая мои вопросы. — «Да, это самые крупнокалиберные здесь», -- кивнул он на разбегающиеся майки. - «Дом, собственно говоря, для переростков, кое-кому уже по шестнадцати, хотя точно трудно установить — не помнят сами-то. Что? Физкультурник? Нет, я здесь на амплуа так называемого клубного работника. Кружки веду — хоровой, драматизации, гимнастический вот. Не только в этом зверинце, но и во всём лагере — здесь ведь собрано с полдюжины детдомов. Так вот и хожу по дворам, как перепатетики»... — Он ухмыльнулся бровями: улыбка как бы застревала у него где-то в углах губ, не пошевелив их. Мне очень хотелось узнать, как попал он сюда, на эту работу, по тогдашним моим представлениям — не мужскую и не солидную. Но что-то мешало спросить. «А живу я здесь, — показал он на одну из фанерных дач. — И ночуете вы у меня, уже велел для вас койку втиснуть. Прошу! Или вы сначала — к начальству?»...

Так я и не спросил у него ничего. А спросил у начальства, немного спустя, за чаем, на жидкой терраске, где над керосиновой лампой самосожигались ночные мохнатые мотыльки, попадая потом, опаленные, в черносмородиновое варенье. Дима и Шура в ответ на мой вопрос как-то многозначительно произнесли «гм»!, а хозяйка сдержанно сказала что-то про обстоятельства, которые, мол, заставляют иных в наше время выбирать такие незаметные даже и для «вооруженного глаза» занятия.

;

Ночевал я в дачке Батулина, где помещалось, кроме него, с десяток шмыгоносых девчушек, «эмбрионов» -- как сказал он мне, раздеваясь и потягиваясь. Говорил он в тот вечер довольно много, гудя полушопотом, — говорил со смаком и с такой ловкой чеканкой мысли, что я не переставал удивляться: как и зачем он здесь? Говорил о чем-то отвлеченном, в том числе, между прочим, о каких-то будто бы сходных чертах у Ницше и, кажется, Лермонтова, — не помню сейчас. Когда лежали уже в кроватях, в какую-то разговорную паузу коптилка на столе качнула пламенный фитилек, и в дверь, точнее в расселину между косяком и простыней, которая дверь заменяла, просунулась девичья фигурка в халатике; кажется, это была одна из двенадцати там, на площадке, очень стройненькая, как оказалось теперь, и глазастая, настоящая Сандрильона! Не берусь описывать ее лицо, очень, помнится, миловидное, со вскинутой кверху губкой, но вот выражение этого лица, когда она к нам заглянула, запомнил надолго — потому, должно быть, что было это выражение пе для меня и что такого же для себя мне, кажется, так и не случилось в жизни встретить. Это выражение, когда глаза ее встретились с моими и сладчайший свет в них потух, сменилось сразу студеным испугом; у Батулина же — я посмотрел на него сбоку — сломилась вдруг и поползла кверху

одна бровь, распространяя по комнате такое вопросительноледяное недоумение, что фигурка мгновенно растаяла в занавеске.

— Тоня. Дежурная, — сказал Батулин, опуская бровь на место.

Вот и следующий день, точнее вечер, запомнился мне, главным образом, зрительно, хотя в разговорах недостатка и не было. Праздник устроили при плошках и факелах в одном из бывших имений, неподалеку от наших дач и полустанка. Тоже с прудами. От барского дома остались, правда, только внушительные развалины, несколько прудов вытекло, но один, небольшой, в очень старом, настоящем парке, ущелел. Перед ним, на лужке, поставили скамы и соорудили эстраду. Приехала сестра Ильича и какой-то еще высший свет. Ребячьих же голов в темноте, сзади меня, бездыханных или, напротив, сопевших от восхищения, набралось до полутысячи. Мы — Дима, Шура и я — сидели во втором почетном ряду и единогласно поставили пятерку Батулину, который это зрелище организовал: было всё очень, даже до нереальности, красиво, особенно — плошки, плескавшие оранжево-красные вихры пламени на еловые лапы, так что откуда-то уже сладко, как от костра, тянуло запахом жженой хвои. И за эстралой, где-то глубоко в лабиринте стволов, полыхая сизым дымком, горели плошки, а если закинуть голову вверх — спокойно глядели на всю эту феерию и вам в лицо частые осенние звезды и стекал лесной холодок.

Батулин удостоился похвал не только за декорацию, — он, как трансформатор, выступал то суфлером и выпускающим (это в моей пьесе), то физкультурным постановщиком (это в уже знакомых мне пластических упражнениях), то дирижером хора или очень тогда излюбленной «коллективной декламации». Последняя удалась. «Туда, где над площадью нож гильотины» (это «Мятеж» Верхарна, весьма модный в то время) прочли превосходно, тоже и «Зеленый шум», хоть был и не по сезону. В заключение читали еще какую-то «ураораторию», из которой до сих пор запомнил слова:

«За камнем камень, снова, снова Крепим и строим наш маяк, И в нем восстанья мирового Храним непобедимый стяг»

— запомнил, потому, что, как выяснилось, автором этой оратории был сам Батулин. В качестве героя дня позвали его к высоким гостям, а через минуту потребовали и меня, и сестра Ильича, морщась от начадившей на сцене плошки, сказала мне что-то любезное по поводу пьески, в несколько старомодных, помнится, выражениях.

Возвращались мы к дачкам очень громко. В сотни ног разбегался по лесу хруст, взлетали песни, по нескольку сразу, перебивая друг друга, отдалялись и глохли, утекая в ночь. Я должен был снова ночевать у Батулина, и уже чувствовал под собой колко-душистый сенник, специально для меня набитый вчера, но всё кончилось иным нежданным, но хорошо подытожившим мое знакомство с этим человеком многоточием. С кемто заговорившись, пришел я в спичечную дачку позже хозяев. Плотная тень Батулина с чуть срезанной притолокою макушкой стояла на дверной простыне-занавеске, розово освещенной изнутри коптилкой. И еще бродили по ней расплывчатые какието пятна, и шуршало сено: кто-то, вероятно, готовил мне на ночь постель. Я остановился в коридорчике, чтобы не мешать. А потом невнятные пятна подплыли поближе и сгустились в знакомый уже щупленький силуэт вчерашней девочки с задорной губкой, теперь особенно задорной — на экране. Силуэт метнулся было к выходу, но рука, отделившаяся от большой серой тени, тронула его за плечо, притянула к себе и скользнула вниз, уродливо оттопырив острую маленькую пазушку. Я повернулся, стараясь не скрипнуть половицей, еще раньше, чем тени разъединились, и вышел на улицу. Кажется, были за мной чьи-то поспешные шаги, но тотчас же я перестал слышать что-нибудь, кроме шороха листьев под ногами. Вскоре откуда-то, будто из-под низких звезд, зарокотал, подкатываясь, глухой, с попутным лесным эхо, шум: последний пригородный поезд на Москву — и я заспешил к полустанку.

Шорох под ногами и наплывающий грохот поезда слышал я и сейчас, оторвавшись от воспоминаний: наша жидкая процессия подползла к железнодорожному переезду. На подступах к нему, по обе стороны, стояли каштаны, уже стряхнувшие под ноги всё свое листвяное богатство, — оно грудилось в кюветах сугробами, тузырящимися на ветру, как желтая пена. За железнодоржной будкой, совсем уже недалеко, синела кромка леса и перед ней — белый палец колокольни в краснобурой браслетке кладбищенской изгороди. Шлагбаум был опущен, у подъемной его рукоятки разглядывал нас сторож-баварец с трубкой во рту и двойным розовым зобом на сторону. Над шлагбаумом, вдоль и через рельсы, со свистом носились стрижи. Битюги, отчаянно качнув гроб, остановались рывком у самой полосатой поперечины, хлябнув подковами. Слева подгрохатывал поезд...

2.

Моя вторая встреча с Батулиным произошла лет восемнадцать спустя, в феврале, кажется, 43-го года. Немцы выпустили меня из военнопленного лагеря под Смоленском читать педагогические лекции наспех собранным в одном захолустье учителям. Путь в это захолустье был неблизкий, морозный, в полуоткрытом грузовике я совсем закоченел, и мы вытряхнулись на ночлег в небольшом овражном городишке. «Здесь живут ваши земляки, устройтесь у них!» -- сказал провожатый ефрейтор и отворил передо мною заиндевелую чыо-то дверь. Дверь с изнанки была теплая, как щека, и таким за нею полыхнуло сладким печным духом, что я от счастья зажмурился. А когда открыл глаза, увидел на кровати длинного человека в полунемецкой-полурусской солдатской одежде, а на подушке — густые подвижные брови; брови эти, как показалось мне, поползли вверх по серой наволочке — и я уже знал, кого встретил.

— Узнал! Сразу узнал! — сказал Батулин, спуская ноги на пол. — Трам-пополам! А ведь сколько это прошло лет? Пятнадцать? Нет, семнадцать, пожалуй, если не больше. Сем-

надцать лет, трам-пополам! — продолжал он (свои реплики я выбрасываю). — Не удивляйтесь, что у меня этим «трам-пополам» весь разговор завшивлен, — нарочно придумал, чтобы не крыть по-площадному на каждом повороте. Разоблачайтесь немедленно, а я сейчас слетаю за согревательным.

«Раздушистый самогон» был одним из видов спиртной утехи, которой я не терпел. Но когда Батулин, воротившись почти мгновенно, вытащил из пивной, с пузырчатым тавром, бутылки кляклую бумажную пробку и в воздухе поплыл сладковато-пригорелый душок, — меня вдруг даже и потянуло выпить. Всё тут было: и первое после двух лет незапроволочное тепло, на котором так приятно было оттаивать спину, и ноющее за лопатками нездоровье, и предвкушение этого иногда несравненного удовольствия — слушать.

— Думал кончить с ней на сегодня, — басил Батулин, разливая самогонку в два стаканчика для бритья. — Но вот явились вы — и не выпить было бы уродством, уродств же у нас и без того невпроворот. Итак, со свиданьицем.

Он сильно постарел, брови были всё такие же акробатические, и, должно быть поэтому, на лоб нагнало морщин. Волосы посветлели, стали теперь не желтого, а бледнопалевого цвета, а на висках беспветными совсем. Еще появились над губой усики-кавычки, под Гитлера...

— Закусывать, увы, можно только вот этой дрянью, — сказал Батулин, вывертывая из бумаги что-то гутаперчевозеленое, истекающее произительным запахом, — из гостеприимства только не говорю, на что этот сыр похож. Впрочем, есть вот хлеб. А не пить нельзя! — усмехнулся он бровями, наливая по второму. — Я не алкоголик, нет. Но обстановочка у нас... — я тут по зрелишной части, при местном Управлении, — обстановочка такова, что если пребывать в трезвости и давать волю всяким там условным рефлексам, так, пожалуй, заскочишь и в партизаны. А поскольку я в защиту гнусного режима, трам его пополам, пальцем пошевелить не хочу, то рюмка пока что — единственная отдушина. А вы передергиваете! Да, отдушина! Отдушины, как знаете, наш рок: все

нормальные народы и поколения дышат свободной грудью, а наш дых — только в отдушины. Пейте же...

Скоро он перестал следить за моим стаканчиком, допил бутылку сам и всё продолжал говорить, перескакивая с одной темы на соседнюю.

— Да, насчет режима. Презираю, конечно, хотя... Не знаю, приходило вам когда-нибудь в голову, что собственно режим этот — мы? Не приходило? Ну да, вы, я вижу, даже и недоумеваете... А логика простая, ничуть не головоломная. Что, вообще, говоря, они изобрели гениального? Одну только планетарной подлости мысль, что для того, чтобы загнать в щель миллионы, нужно повыветрить, а то и вовсе отменить совесть. И тогда официальных подручных, застрельщиков раболепства, достаточно всего одного на тысячу. Потому что тотчас же объявятся добровольцы. Легион. Одни из рабьей трусости. Другие — в погоне за боярской шапкой. Добровольцы эти — мы. Ну, скажем: в числе их и мы... Если не в качестве самых ярых любителей ползать на брюхе (хотя ведь и ползанье на брюхе можно как-то перетолковать), то в качестве кланяющихся. Да... Я лично за боярской шапкой не погнался. Не из благородства, а больше из отвращения к пошлости. Но кланяться начал уже давно. Помните это мое, тогда, на дачках, на празднике:

«За камнем камень, снова, снова Крепим и строим наш маяк И в нем восстанья мирового Храним непобедимый стяг»

и так далее... Ну, восстанье не состоялось, а маяк, боюсь, выдюжает. Так о чем бишь я? Да, о себе... Писал я раньше и даже печатал. Одна книжонка моя «Панегирики телу» прошла не без аплодисментов, не читали, верно?.. (Как раз читал! еще гимназистом, из-под полы; но автор, помнится, назывался иначе). — Да, под псевдонимом, — кивнул он, прочтя на моем лице то, что я поместил тут в скобках. — Так вот, после катастрофы, писать, конечно, не мог. То есть писать, выражая себя. Но стал писать, кланяясь. Добровольцем пера. Дрянь, разумеется, писал, профсоюзные разные вирши, а чаще — эстраднос, водевильчики, мелкие пьески. Не для перестраховки только или денег, это само собой, но больше для девок, особая была цель, о чем после... — Он нагнулся подшвырнуть в печку чурок и выпрямился не сразу, качнувшись. — Разобрало меня, и это очень хорошо, язык развязывает... И знаете; мне нравится, как вы слушаете и что не задаете вопросов. Из деликатности, верно? Я эту вашу деликатность еще с первой встречи запомнил. Ведь как вам тогда хотелось расспросить, откуда и почему попал я в тот детский зверинец, к тетям-мотям в подмастерья. Ведь хотелось? А?

Я кивнул.

— Трам-пополам! не мог же я тогда выложить вам, что за год до этого один из моих бывших друзей, принявших боярскую шапку, но совесть полностью не утерявший еще, посоветовал мне исчезнуть на годик-другой с московского столичного полигона. Я ведь побывал у Врангеля. Так-то!.. Трудно было исчезнуть. Подумывал уже, не исчезнуть ли начисто. И вдруг — дачки эти, кружки разные, девки...

На слове на этом «девки» мигнул и вытек из электрической лампочки с дрожащей спиралькой свет.

— Как угадал погаснуть! — сказал Батулин, открывая печную дверку, и в плеснувшем оттуда оранжевом отблеске видно было, как поползла у него кверху бровь. — Знает, что вам в потемках внимать этой теме удобнее. Так о чем я? Да, девки. То есть любвями живал я и до этого. Донжуанский мой список длиннее, пожалуй, чем у Пушкина. Кстати, какое это чудо — пушкинские дневники и письма! какой бриллиант — по языку, по страстной своей и простой человечности. Особенно — письма. Но как лирик был он слабее Лермонтова. И как философ слабее, особенно если принять во внимание разницу возрастов. «Демон», например. Ведь это сверхгениально! Это поистине самосознание человечества! Но простите, я сделал зигзаг... Мы ведь — про девок. Да, так вот открыл я их впервые в таком изобилии в том самом инкуба-

торе, где с вами встретились. Какое это было идиотство сгребать в такие кучи великовозрастных девиц! Ну конечно же они в меня повлюблялись. До неприличия. Когда бывало трогал их, ну, знаете, на этих физкультурных гимнастиках, талию там или бедро, они... Но оставляю натурализм. А то как бы не спугнуть вас, золотого слушателя. Помню ведь, как вы тогда, на даче — поворот от ворот. Я ведь слыхал, как скрипели шаги. Побежал было за вами я и обласканная мною Тоня, Тоня nepean — по списку, помните ее? — со вздернутой такой губкой, похожа была на ангелочка под Сикстинской мадонной, левого — правый у Рафаэля какой-то перестарок. Да, так вот и задышалось мне внезапно привольно в этом девичьем питомнике. Не подумайте, что в очень уж подлом каком смысле. Нет, дело не в том, что легко было соблазнить, обмануть, не з истреблении невинностей, а в окружении, когда отовсюду на тебя — этакие инфра-пронзительные лучи от мелькающих вокруг тел, крутых и нежненьких. И сам всегда в накале, на который они — как мотыльки на свечку. И были ведь красавицы.. Тоня, например, или, как вы ее, кажется, назвали тогда, — Сандрильона. Я не знал тела более нежного. Эх, да разве теперь расскажешь! Попробуйте рассказать радугу или запах цветка. Помните верхнюю ее губку? Задор какой-то особенно трогательный и чистоту? Вот и у обнаженной у нее во всём теле, в каждой выпуклости, в каждой... ах ты, Боже мой, а «впуклости» сказать нельзя?.. в каждой складочке такой же сиял задор и чистота. Каждая линия была гармонией. А кожа... Я, помню, был как запойный. Я не мог уже на на секунду быть с ней наедине, чтобы не видеть... не трогать ее руками. Как тогда, за занавесью, когда вы смылись... Я ненавидел гнусные тряпки, которые скрывали ее от меня. Знаете ли вы у Ренуара «Габриэлла с расстегнутой блузкой» — эскиз с любимой его натурщицы в кофточке с голой щелью от самого горла до живота. Как понятен мне этот порыв художника распахнуть, выдать как чудо это теплое, лепное, смуглое, раскрыть непременно на ширине сосков, в карминной их матовой сочности, от которой у зрителя сами собой начинают шевелиться губы. Но, между прочим, эта, ренуаровская, перед моей Тоней — обыкновенный мопс. Ее, Тоню, тоже тянуло ко мне, как кошку на валерьянку. Но было редко осуществимо. Чаще она приходила ко мне с Веркой, подругой, годом помладше, кажется, и тоже прекрасной конструкции. Так обеих и пускал под одеяло. Вы знаете, что голенькие они пахнут сотами...

Делаю здесь купюру в своей записи из сдержанности перед читателем, хотя и не уверен, что так действительно нужно: уж очень был Батулин в этом монологе — не без пластической силы — сам для себя типичен. К тому же не появлялось у него никаких таких карамазовских причмокиваний и восторгов, — рассказывалось всё прехладнокровно, даже сухо, и, помнится, именно эта суховатость рассказа вызывала во мне отталкивание. Он, видимо, почувствовал это, и в голосе его зазвучала, всё усиливаясь, какая-то полемическая, даже раздраженная нотка.

— Разумеется, ханжи и холуи духа понять этого не в состоянии. Но подлинно высокая, до непостижимости, красота — она, конечно, нерукотворна, она не в музеях, а рядом, в жизни, и прежде всего — в гармонически изваянном теле... Всё это знал я, конечно, и раньше, но открыл, как открывают прииски, только там, на этих дачках. И воспользовался открытием в меру тогдашнего своего озлобления и тоски и рекомендованного эпохой отказа от некоторых «прэнсипов»... Вы всё молчите? — заметил он вдруг, после небольшой паузы, весьма недружелюбно. — Голову дам на отрез, что, как и тогда, 17 лет назад, держите за пазухой вопросики. Давайте, чего же... теперь бояться друг друга нечего!

Почему-то, когда я оттаял у печки, стало меня вдруг знобить. Говорить не хотелось, и я ничего ему не ответил.

— Хотите, я сам назову вам эти ваши вопросы? Первый, вполне практический: как это удавалось мне там развлекаться безнаказанно? — Ну как, очень просто — был сдержан и имел подход. Девок нужно знать. Это ведь вздор, будто чуть что — и разболтают подругам. Иную на части режь, не рас-

скажет ни слова, такие есть характеры. Но, между прочим, скандальчик вышел, хоть и без всякой прямой моей вины. Была в моем физкультурном гареме одна великовозрастная, полудурок. Лицом бы и ничего, но коротконогая, приземистая, как шифоньерка, и вся проросла в бюст. За что, сам не знаю, но органически ее не терпел и даже пальцем никогда не прикоснулся. Она же, представьте, от чувственности съехала с глузду и сама себе примыслила разные прикосновения и прочее с моей стороны. Сначала это было тихое, так сказать, помешательство: заметит, либо только предположит меня в радиусе видимости, — сейчас же, как мне рассказывали, сама не своя, волнуется, пудрится, переживает... Потом начинает напевать — песню сложила, мне передавали, — совершенно идиотские слова и мотив, что-то вроде:

Это ты, мой мильтон, Это рыцарь, мой друг, Приходи, я шаги твои знаю...

Интересовало меня тогда, какого «мильтона» эта кретинка имела в виду, — писателя, или у нас ведь вы знаете, милиционеров так называют... Ну вот, а потом всё перешло в буйную стадию. Делались припадки какие-то, и в припадках стала выкликать, что я-де пылко ее люблю, тогда-то и то-то с ней проделывал, — подробности, представьте, бегатейшей сексуальной фантазии, — да, проделывал, мол, но — интриги мешают нам объединиться навеки. Конфуз вышел громкий, назначили даже комиссию. Ну, я был чист, вся моя шароварная гвардия стала за меня горой, эту бедную дефективную чуть что не линчевали, а моя педагогическая репутация вышла без сучка без задоринки... Но из ведомства этого, немного погодя, я всё-таки ушел... — Он поднял с полу бутылку, поболтал у уха и, убедившись, что пуста, швырнул на кровать. — Так. Это был первый вопрос. Начинать ли второй? А? — спросил он с совершенно уже пьяными интонациями. — Потому что второй вопрос, как я понимаю, будет у нас «мирового масштаба», насчет добро-

вольных поклонов и отказа от «прэнсипов» вообще. Хотел проиллюстрировать, с какой неизбежностью и для себя даже самих незаметно отказываются от этих «прэнсипов» иные весьма бла-ародные их носители. Кстати, припоминаю, что ваша тогдашняя отроческая, так сказать, пьеска там, прудиках, была тоже не без реверансов. Тоже кланялись, а? Или, может, отложим дискуссию на следующий раз? уже поздно. Как вы думаете?.. Ба! да вас колотит! Что это с вами? Малярия? Чахотка? (как ведь угадал! сам я об этой своей болезни узнал уже много позднее). — Тогда немедленно же укладываемся. Сейчас я притащу сенник... Увы, придется на полу, если вы не боитесь крыс — они тут у нас ходят «вольно», ибо рядом цейхауз. Впрочем, что ж это я! Ведь — хозяин! На полу устроюсь я сам, а вы на моей кровати. Пожалуйста. Диспута по этому вопросу открывать не станем...

**

Эта вторая «экспозиция» Батулина, припомнившаяся мне, покуда ждали у шлагбаума, и от нетерпеливо прядавших битюжьих голов вздрагивал на пологе гроб, — эта вторая «экспозиция» имела еще два довольно красочных продолжения.

В середине августа я, как говорят зощенковские герои, «обратно» выбрался в овражный городок и «обратно» же заночевал у Батулина. Он был снова вполпьяна и мрачно сидел за какими-то газетными вырезками, весь в окурках, в рубахе, расхлестнутой на шерстистой груди. Впрочем, он тут же надел куртку, застегнув до крючка на воротнике. — «Это не для вас, не испытывайте, пожалуйста, раскаяния, — шевельнул он бровью, — а потому что всё равно придется лезть в убежище. Взялись каждый вечер бомбить, трампополам! Кидают целую ночь — и всё в овраг да огороды, без всяких последствий, но бывают и жертвы — свои, понятно, у немцев убежища и дисциплина бетонные. Значит, какой уж здесь, в хате, разговор, когда начнется...».

Началось, в самом деле, тотчас же, и мы пошли в бункер, про который Батулин уверял, что сделал его собственноручно. Там была одна широкая лавка, вроде нар, с матрацем, узкий проходик и нишка для коптилки. Сверху — накат из огрызков рельс и каких-то чугунных балок, торчащих наружу из-за засыпи. Под нарами оказалась всё та же, видно, дежурная, бутылка с самогоном и те же бритвенные стаканчики.

- Вот и хлопнем под зенитки, тут недавно фугаску одну прямо у нужника нашего воткнули. Пейте, покуда девки не пришли, чтобы им не давать. Не люблю: ненатурально пьют и сразу дуреют...
 - Девки? И тут тоже?
- Рядом живут. Не всех же повывезли. Остались некоторые, хотя, как правило, второй сорт. Увидите у них убежище в затылок нашему, на огороде, сидеть скучно, вот и заходят. Одна довольно импозантная, фламандской школы. И еще одна... Вы пейте. И третья придет, моя. Спасительница... Что? Да мне тут, знаете, в середине лета, так подперло, сам не знаю, почему. Просто стало невмоготу, хоть в петлю! Голодно, жарища проклятая. Я бы вообще лето и зиму отменил, одни демисезоны оставил. Но дело, конечно, не в жаре, а как-то всё обрыдло. Клял и презенс, и будущее, и вообще всё кругом... И вдруг влюбился! Да пейте же!.. Она славная и как фарфоровая. Вот увидите. Тоня вторая. Пока, то-есть, еще не совсем вторая, но я надеюсь... Мать у нее дошлая, всюду с ней таскается в качестве этакого радикального средства по предупреждению беременности...

Всё это общество — три девушки и полустарушка с очень недоверчивыми глазами и вострым носиком — действительно, втиснулось к нам в одну из бомбежных пауз, и как только разместились! Было впрочем довольно весело. Батулин ожил и сыпал рассказами, не помню о чем, но не без занимательности. Девицы же, вдохновляющие его, были преобыденные на вид — и флегматичная «фламандка», работавшая где-то переводчицей (год спустя узнал, что была партизан-

кой-подпольщицей, бурной активности), и другая постарше, иссиня черная, и, наконец, «Тоня вторая», у которой в самом деле было фарфоровое, кукольной свежести личико, и на нем большие, слегка на выкате глуповатые глаза. Отбой дали неожиданно скоро, и гости, подождав четверть часа для верности, законфузились вдруг и ушли, Батулин же огорчился и, допивая бутылку, стал огрызаться на мои реплики, как хорек. «Как? не одобряете? Ну, вы не разобрали в потемках... Что? Эта, постарше, лучше? Терпеть не могу брюнеток, так и кажется, что должны пачкаться. И потом — она такая же девушка, как я — бабушка. А? Да, моей только семнадцать лет. Что ж, поэтому и «табу»? Не понимаю! Я не людоед, я этих невинных созданий никогда злостно не обманывал и не оскорблял. Но ведь я не могу ставить этакую козу на одну с собой доску. Им ведь только кажется, что они нивесть с какого обрыва прыгают. А что они теряют на самом-то деле? А мне — отдушина...

Снаружи, над накатом, снова вдруг взмыла в ночь сирена, и тотчас же поплыл над головой грозно-унылый рокот. Где-то рванула бомба.

— Проклятие! Опять начали... Придется, видно, здесь и заночевать. Тут еще есть немного в бутылке, хотите? Напрасно, полезно, если озноб. Тогда долью сам... Про что мы? Да, про девок и про отдушины. Ими и жил, обогащался, они же меня и опустошали... Что ж, свободу отняли, но оставили красоту, ее близнеца... Обладая ими, я чувствовал себя иной раз свободнее любого восточного деспота. И для этого обладания, каюсь, точнее — имею мужество признаться, поступился многими кое-какими «прэнсипами» смежности... И чем, спрашивается, можно было дышать еще? Мне было нечем. Преподавал я литературу, и вот, представьте себе, среди жмурых разных гляделок, на вас уставленных с парт, вдруг — глаза, которые одни вы только и начинаете видеть в конце концов. И сила в вас от них течет, и вдохновение, и даже вирши Лебедева-Кумача, если вы их этим глазам читаете, звучат как бы и на самом деле поэзия... Этим

и жил. Они, знаете, чутьем каким-то угадывали во мне знатока. И льнули. Я не злоупотреблял... Старался даже сделать что-нибудь из каждой. Из одной, например, вышла актриса, теперь даже и заслуженная. Я развил, разре... развернул... — Он сильно опьянел и начинал уже иной раз спотыкаться на слове. — Эка бомбят! Главное, чтобы не угодили в хату, не люблю перебираться, да и полок себе там наделал для книг... Да, развернул. Не вижу, но угадываю, как у вас лезет угол губы кверху. Породисто этак, как у таксы... Что ж, щинизм нам задан самой «великой» эпохой, провинциальной, конечно, и временной, но из нее не выпрыгнешь же. Судьбу решает всего один вопрос: согласен или не согласен ты пресмыкаться. «Нет» — говорят только единицы, герои какие-нибудь отчаянные или висельники. Остальные отвечают «да» и значит уже в какой-то мере, хотя бы и самой ничтожной, проституируют. Я тоже сказал «да», хоть и клял вымогателей на чем свет стоит «маленьким языком». За это мне позволили закончить вуз и загнали в полесское тартарары, в комары и болота. Я хотел видеть весь мир, вобрать в себя, так сказать, Рафаэля и Монмартр, а от меня требовали процентов успеваемости, этих идиотских процентов, которые целое поколение сделали неграмотным. Мечтал творить, размышлять над роковыми проблемами, изречь свое, «новое», — а должен был воевать с клопами, проклятыми коммунальными клопами, неистребимыми, как пропаганда. Бр-р! до сих пор помню гнуснейшую вонь этого клопомора, которым их поливал, и вообще всю эту пытку пошлостью, когда живешь не как человек, а как мышь под веником, когда пропадают все большие мысли, остаются тольке самые мелкие, ничтожные, радиусом из одной комнаты в другую, и становится постепенно всё равно... Да, всё равно. Ухватиться же не за что. Да и надо ли? ведь если добровольно-принудительно отказался от одной ценности, самой, может, значительной, к чему цепляться за другие? Если от одной — почему бы не от всех? «Всё равно» выходит вроде как бы логичнее. И даже дирижирует...

Всё летают, сукины дети! — прервал он сам себя, прислушиваясь. — Слышите: бомба сорвалась, летит... а-а-а-ах! одна!.. А-а-а-ах! — другая! Занимательно, не правда ли, говорить под такой акомпанимент — начнешь «Отче наш...», а «иже еси» и далее уж и не поспеешь договорить. Ну а мне хочется непременно рассказать про «всё равно» и как это захватывает... Вот вам эпизодик, автобиографический из тридцатых годов. Была у меня одна десятиклассница. Гм... не хочу называть имени — красивое имя одной красивой реки, и сама красавица — с силой красота, с характером, один постав головы чего стоил, посмотрели бы вы... Знал, что любопытна ко мне, даже неравнодушна, но горда и в школе, бывало, ни-ни... Да и покуда я оборачивал в свою пользу учительский свой авторитет, она уж успела и кончить. Главное то, что был знаком с ее родителями, бывал в доме, то-есть в комнатушке, в которой жили они все втроем. Чудесная была семья — дружная, воспитанная. Из аристократов, чуть ли не королевской какой-то крови, он в прошлом — лейб-гвардии полковник, а жена давала уроки музыки... Я сказал: был знаком: нет, даже приятельские были отношения, домашние, привязанность питал и к матери и к отцу, хотя, помню, в последнее время и злило втайне, что моего чувства к дочке не замечают, или, как я догадывался, не хотят замечать... Разговоры мы вели, убедившись предварительно, что не подслушивают, самые преоткровенные. Ну, как и следовало ожидать, взяли всё-таки его. И — без следа, без никаких справок, хоть я избегался весь. Уж потом, лет пять спустя, дошло до меня, будто использовали его при похищении какого-то генерала из эмиграции, а потом пустили в расход. Да... За драматические эти дни, после ареста, еще ближе я стал к этим двум бедняжкам, оставшимся. Не в любовном каком смысле, разумеется, — девочка была вся в горе, а так, утешал... А потом вдруг повесткой, через двор-• вызвали и меня. Следователь — уж в сединах, холеный, шипром, как сейчас помню, продушен весь, сам, видно, из «бывших» и первоклассной психологической выучки. Альтернатива: «Подпишите, говорит, вот документик насчет этой контр-революционной семейки, что видели, что слышали, общаясь... Или...» Заглянул я в «документик» — трам-пополам! чего только там не было наворочено — вплоть до вооруженного заговора, и явно — к расстрелу всех...

— Ну, а если не подпишу? — спрашиваю. — Что тогда? — Меньше пяти лет, говорит, вам не обещаю. Подпишете — можете снова гулять. И заметьте, говорит, что отказом никого не спасете: обеих женщин всё равно сегодня же заберем. Посидите, говорит, посоображайте на досуге пока... — и встал. — Нет, отвечаю, простите, соображаю я довольно быстро, а лучше мы сразу договорим до конца. Он снова уселся и ждет, а я перед ним — как на кол посаженный. Представляю себе, что вот отнимут у меня ее, и значит ни сегодня, ни завтра, никогда больше не увижу, — и пот по лбу бисером. Именно эта одна мысль и корчит, одна из всех обуявших...

— А девочку, спрашиваю, не можете оставить?

Тут он в свой черед замолчал, и молчал минут десять. Что десять! — часы, как мне тогда показалось. Посмотрит на мой лоб и потом — на свои ногти. Опять на меня и — на ногти. И так несть конца. Сердце у меня будто чечетку выколачивает, даже рукой прихватил. Что скажет? Предаю, конечно, стариков, но ведь не из корысти какой или низости, ведь всё равно не поможешь, а хоть бы ее спасти, хоть бы ее одну! При этом «одну» сообразил, помню, — нет не сообразил, а ощутил, понимаете ли, живо, как щекотку, что ведь, если пощадят, останусь единственным ее утешителем, — сердце вдруг, как на шарнире, загребало в сторону, а потом — медленно так и сладко — назад, и в глазах темно, смотрю на следователя, но ничего не вижу. Как в бреду, жду, что ответит, что насчет ее ответит, а до всего прочего во всей ситуации стало мне совершенно всё равно...

[—] Хорошо, — сказал он, и поднялся. — Оставим девочку. Подписывайте!

И я подписал... Вы слушаете? — спросил он после паузы, почти раздраженно. — Темно, не различаю вас, не спите ли? Вопросами на этот раз не интересуюсь, но — чтобы не напрасно рассказывал.

- Нет, я слушаю, сказал я. А эпилог?
- Это к делу уж и не относится, но можно досказать. Они мне ее оставили. Три месяца, которые я с ней прожил, были, как я полагаю теперь, самыми сладостными в моей жизни. Сошелся, конечно, сразу же — бедняжка была совсем сломлена после ареста матери, и всё произошло само собой... А через три месяца взяли всё-таки ее. Даже в загс не успел с нею, не мог — был связан. Впрочем, не помогло бы и это. Когда взяли — чуть не спятил с ума. Но ничего, ничего не удалось предпринять... Узнал, что сослали в один из полярных лагерей. Еще узнал, это уже позже, что взял ее себе один из лагерных вельмож и потом заразил сифилисом. Это, если хотите, эпилог... Да... А резюме из всего сделайте сами. Главное — отметьте типичность. «Всё равно» — это многих славных путь. Что? — Ладно, пусть не «славных», но путь... А чтобы сопротивляться ему, нужен воздух! Не всякий может... И непротивление не в крови ли русского человека? «Всё равно», «однова живем», «ничего». Это наше знаменитое «ничего» — оно ведь только одной ногой в пресловутом российском добродушии, а другой, пожалуй, в цинизме. Не за то ли и мучимся? А? — Башка трещит! сказал он, зевнув, и опустил на сенник голову. — В общем, швыряйте в меня каменьями, если без греха, — мне всё равно... Я, кажется, засну... Влепят в сонного бомбу — тоже всё равно. Вы ведь, я знаю, пописываете часом... Можете вывести меня в повестушке или в очерке. Так и озаглавьте: «Человек, которому было всё равно»...

Он и заснул. А я, под его храп и грохот снаружи, долго еще сидел в бункере, дожидаясь отбоя. Трясся в ознобе и думал о разном. Об одном только, разумеется, подумать не мог: что лет тринадцать спустя действительно запишу это всё о нем, и даже заголовок возьму, им придуманный...

_

И последняя из наших «военных» встреч с Батулиным: сентябрьский дымный вечер, почти ночь. Разбитый вокзал, нелепые в этих развалинах высокие хребты платформ с черными руслами путей внизу. Длинный-длинный, мистически мрачный, хвостом и началом в потемках, товарный состав. Вдоль него суетливое шарканье ног отъезжающих и реже солдатский кованый топ. В воздухе — тяжелая кирпичная пыль взрываемых зданий, стрекот пропеллеров и мало кого уж пугающий немецкий гортанный окрик. От всего хотелось — как можно скорее в вагон, зарыться в какой-нибудь угол, в солому. Мы с Наташей, моей женой, уже вкарабкались в одну из теплушек, но вынесла всё-таки какая-то тяга разлуки назад, на перрон: не найдем ли знакомых? И тут же наткнулись на Батулина. Он первый меня разглядел, я б его не узнал: шел он, согнувшись вверху, как газовый фонарь, с огромным узлом на загорбке, и рядом с ним, замотанная в платок, семенила совсем лилипутная фигурка, похожая тоже на узел, только с ногами. — «Перекочевываем в классный!» — сказал Батулин, сплавляя одной рукой на землю узел, а другой вытирая лоб. — «Хотите с нами? У жандармского фельдфебеля получил одобрение занимать. Вагон для немцев, но они боятся партизан и предпочитают товарные, ну а нам... Двух смертей не бывать. По крайней мере поедем не посвински...».

«Двух смертей не бывать», верно. Перебрались и мы. Это был третьеклассный многостворчатый немецкий вагон с одной общей подножкой и особой дверью в каждое отделение. Мы заняли целое вчетвером, мы с женой — на единственной узкой скамейке (другая мебель была выломана), а Батулин с внезапной готовностью — на полу. «Ни черта! какнибудь. Расстелем одеяло». Вообще, судя по голосу (ничего ведь не видно), был он весьма оживлен, даже суетлив непривычно. Что ж удивительного в этой горячке и горечи бегства своих от своих. Я, признаться, и не обратил сначала внимания на его как бы вдохновенные интонации, но вот,

когда сели и пока еще не склеился общий разговор, интонации эти, где-то в углу, превратились прямо в воркующие. Раздалась, наконец, и ответная речь, совсем глухо сперва, а потом всё яснее: живой узел, повидимому, разматывался. Каюсь, симулировав какие-то поиски, я засветил фонарик, — узел, распеленываясь, как кокон, тощал на глазах, и, когда отмоталась последняя складка, я увидел большие, выпуклые, чуть бараньи глаза на фарфорово-розовом фоне: Тоня вторая!

«Тоня!» — сказал Батулин, проследив за моей иллюминацией. «Встречались с ней в бункере, помните? Насилу вот уломал. Ну куда ж оставаться чудачке. Служила в рабочем бюро у немцев, и значит — немедленно вздернут или сошлют, предварительно изнасиловав. А упиралась! Правда, своих пришлось вот оставить, братишку и мать. Переживает, бедняжка»... Большие глаза и впрямь при этих словах влажно блеснули в углах, и я выключил батарейку. — «И представьте, меня даже подозревает, будто это я так схлопотал, что маму не взяли... Глупенькая! Маме — что? — продолжал Батулин, сперва так же громко, а потом всё потише, переходя понемногу в пианиссимо для двоих, - маме нет никакого расчета покидать насиженное гнездышко, если, конечно, не сожгут, — она с немцами не зналась, к ней не придраться. А мы...» — Дальше стало уже не разобрать, и я встал, подошел к окошку. Теперь были понятны именинные интонации Батулина и безразличие ко всему, что происходило за вагонной стеной. Что происходило? — На перроне было уже совсем черно и тихо — погрузка, верно, закончилась. Вдали, над рваными контурами каких-то зданий и выше, разливался красноватооранжевый свет: город горел. И вдруг совсем почти незаметно, впору экспрессу, вагон наш тронулся. Под первый еще разминающийся стук колес, похожий на перебои сердца, поплыли мимо замазанные синькой зрачки стрелок, кувыркаясь одна за другой в темноту. Лбом прижимаясь к стеклу, старался я уследить за ними, до последнего мелькания, будто это не стрелочные чужие фонарики, а что-то мое, близкое,

убегало от меня кувырком, растворяясь во мраке, густейшем и тяжком, — мраке родной земли, которую оставляешь навсегда...

Потом начался обычный тряский грохот, попытки уснуть в жестком углу, разнообразя всяческие несонные позы, какие-то всё-таки удавшиеся паузы сна, шумные остановки, когда кто-то ломился в двери (мы замотали их веревками), стуча прикладами и чертыхаясь по-немецки, и остановки тихие, когда чернота снаружи была молчалива, как склеп, и только из противоположного угла, с одеяла долетал иногда шорох и два шопота — один гулкий, ровный, другой — почти беззвучный и придыхательный. В одну из таких остановок, под утро уже, разбудила меня наташина взволнованная рука, теребя мои пальцы, — разбудила и тут же словно приказывала молчать, только слушать. Я прислушался. В затихшем теперь, без шороха уже, противоположном углу Тоня вторая тоненько, едва разобрать, плакала...

3.

Прострочил мимо, уже не в воспоминаниях, а на самом деле, ухая пустышками платформ, длинный товарный порожняк. Битюги, взболтнув бляшками, выгнули шеи, и окантованный жестью край полога с узкой трапецийкой гроба поплыл вперед. А когда перевалили переезд — с белой колокольни у леса сорвался и притек жалостный медный удар. И другой, и третий... Нас встречали. Ох, этот звон. Есть ли на свете другое, более властное над человеком «мементо мори», чем этот звон среди такой вот просторной тишины поля, дальнего леса, чуть слышно поддуваемого желтого листа и стрижей — поперек!

Навстречу ему, этому звону, припомнились мне и последние эпизоды моего знакомства с Батулиным — послевоенные. Наташа привела его в лазаретный парк, где я висел целыми днями в гамаке, зацепленном за два шелушистых сосновых ствола, привела, кажется, в июне. К сожалению, чувствую, нужно сделать одно биографическое отступление. В начале

этого, 1945-го, года моя биография вообще едва не кончилась: привезли меня в лазарет в чахотке, которая кинулась уж и на горло, так что не мог говорить. Как узнал потом, даже и поместили в одиночку для умирающих, и сестра-монашка в белоснежном чепце удивительной пластической конструкции приносила мне на обед фрукты, что также положено только смертникам в услаждение последних часов земного бытия или для чего уж — не знаю. Но «суждено было иное», и к июню, к встрече с Батулиным, в моем «активе» были Наташа, чудом разыскавшая меня здесь, кило прибавленного веса и весьма дерзкие надежды, а к осени стали доступны и вылазки, вроде вот этой, на похороны.

Помню, только что свалил зной и в каленый смолистый воздух проникли вместе с тенями влажные, мшистые запахи. Солнце сползло на стволы, и всё вокруг сквозило розоватой сепией, когда я рассматривал его, Батулина, лицо. — Оно показалось мне чуть помягчевшим, брови, что ли, двигались не так уверенно, и словно опал рот, — нельзя было проверить, потому что он, как и прежде, не улыбался, но мне показалось, что зубов под верхней губой не было, не было и усов-кавычек. Я выкарабкался из гамака, и мы перешли в аллею, на скамью. Не передаю здесь рассказа его о себе, потому что для литературного повествования то, что случилось с ним, очень уж неправдоподобно, а для документального — очень уж похоже на десятки других, столь же невероятных одиссей, пережитых многими в страшное время конца войны. — «Где же вы будете жить? — спросил я его в заключение, узнав, что он собирается остаться в здешнем предместье. — «Девушки пустили! — сказал он (опять-таки без былой самоуверенности, — прежде, например, он непременно сказал бы «девки», а не «девушки»). — К себе, в лесную домушку, знаете? Буду у них вроде кухонного мужика»...

И опять должен я сделать отступление и объяснить и про девушек, и про дом в лесу, чтобы снова вывести мой рассказ на дорогу за гробом, навстречу жалобному колоколу, где собственно и пришли ко мне воспоминания, здесь запи-

санные. Итак: девушки были Тамарка и Ася, которых мы с Батулиным знали еще в годы окупации. Обе собой недурны, хотя и совсем разные: Тамарка — всегда в движении, как ртуть на ладони, в веснушках и темпераменте, растрачиваемом денно и нощно, несть конца; Ася же вся в себе, в комочке, как ежик. Я знал, что она была сирота, что пела с красивыми низами («прежде; теперь силой нотки не выколотишь!» — жаловалась Тамарка), что многие вокруг нее околачивались до отчаяния, она же оставалась равнодушна. Что еще — про неё? — На смуглом мелком лице ярче всего были глаза, потом — губы, довольно крупные, чуть с вывертом, как бы и капризные, которые, когда она улыбалась, складывались удивительно рисунчато и хорошо. Но улыбалась она редко, и в задумчивости губы поджимались и блекли, делая ее похожей на монашенку. Встретил я обеих весной победного года при весьма необычных обстоятельствах: к нам в лазарет в поисках душ, уклонявшихся от возвращения на родину, приехали на джипе два советских лейтенанта. Помню, Наташа, прыгающими пальцами держась за подоконник, заглядывала сбоку в окно, на подъездной фасад, и вдруг заметила внизу, на газоне, за стрижеными купами какого-то кустарника, две девичьи фигурки на корточках, прятавшихся, как в «палочку-выручалочку» (мы узнали потом, что за ними как раз и приезжали). Это и были Тамара с Асей, которые, оказывается, работали судомойками на нашей лазаретной кухне, а жили в «домушке» — бывшем охотничьем доме за парком, в лесу, не больше четверти часа от нас ходу (я потом расскажу)...

**

Поселившись у девушек, Батулин целыми днями пропадал в городе. Возвращался к сумеркам и, если видел, бредя вдоль парка, что я еще в гамаке, пролезал ко мне через дырку в ограде. Часто были с ним, кроме консервных банок, и какие-то претолстые книги, но почему-то никогда не показывал. Говорил же охотно и много. Про город, про встречи... «Провинциальная, конечно, но всё же столица. Хоть и иска-

рёжили, но чувствуется этакая королевская величественность, не лотошный стиль. Хотя, знаете, сам я как-то не понимаю и не люблю старины. Противно думать, что вещи тебя переживают. Этакая дурь старинная, баба какая-нибудь на дельфине верхом. И еще пятьсот лет проскачет, а из тебя уже и черви выползут... Что? Видел ли эмигрантов? Видел, но разочаровался. Может, в двадцатых годах они и представительствовали на Западе русскую культуру, а теперь... Покрупнее кого почти что и нету, а так, пустоцвет... Разумеется, считают нас, новых, ненастоящими. Настоящие, мол, после первой мировой выехали, и что же без них могло остаться на родине настоящего! Перелистывал их теперешние писания. Много кудреватых слов и как бы трехсмысленно. Ссылки, цитаты какие-то заклинательные. Фамилии — Самбо, Турамбо, - которых ни один чорт не знает, термины, которых не сыщешь ни в одном словаре, а если соскоблить со всего этого чистую, так сказать, словесность, так ведь ничего не останется, ни одной здравой мыслишки. И везде, конечно, «Мы! да когда мы!.. да если б мы... да у нас!.. «Как хороши, как свежи были розы» и тому подобное. Газетки их кое-какие смотрел — со второй же страницы идут панихиды. Панихидная эмиграция!

Помнится, я заметил ему насчет этих его суждений, что, вероятно, несправедливы и через край.

— Ах, полноте! Вот как-нибудь увидите сами... Представили меня одному из них, повиднее. Барственный такой, с животом обтекаемой формы и брадатый. Разговорились с ним о житье-бытье, а как только перешли к идеологии, сразу же повернул он на «Протоколы сионских мудрецов» и прочее юдофобское. — Простите, говорю, не сочувствую. Я не жидоед. — «Не может быть!» — Верно, говорю. Стыдно русскому бояться жида. Единственный, мол, мой упрек Достоевскому. В основе жидоедства, говорю, чаще всего комплекс неполноценности, паралич воли. Лежит Богом одаренный русак на печи, а еврей — как белка в колесе: способности растит, связи... В день на копейку, в год — на три рубля. А потом

— сценарий напишет или в концерте выступит — и звезда. А у русака уже пролежни на спине и мировая тоска. Размочит ее в рюмочке и кричит, что жиды задавили... Вскипел старик. «Это, говорит, у вас оттого, что мы здесь двадцать лет с коммунизмом боролись, а вы там к нему приспосабливались». А сам только всего минуту назад рассказывал, что все свои эмигрантские годы на птицеферме провел. Ну, я не упустил спросить осторожненько, с каких это пор щупанье кур означает политическую борьбу. — Разобиделся старик вдребезги и ушел. И кстати — в кофе мне наплевал, в чашку, через стол, когда объяснялся, — так и не пришлось отхлебнуть, хоть и хотелось...

В этом месте воспоминаний, по дороге к кладбищу, помню, поймал я у себя улыбку, с которой шел уже несколько шагов. Прогнав улыбку, еще несколько шагов смотрел на узкую спинку гроба, полированную под дуб, — в нижнем углу ее, около четырехгранной ножки, плывуче темнел овал спиленного сука (сосновое, верно, было дерево). Краешек овала повыщербился, и к щелке прильнули две крупные свинцовые мухи. Саркастические цитаты из Батулина тотчас же сменились другими. Впрочем, должен сказать, что в эти последние встречи их, саркастических, почти у него и не было. Я вообще замечал (правда, это уже много позже, после долгих зарубежных впечатлений), что многие из земляков «оттуда», пересаженные на вольную почву, совсем новые пускают иногда ростки, даже новое обретают цветение. Так вот и Батулин: я уже упоминал, что он как бы помягчал весь — злое, самоуверенное сменилось беспокойством каким-то, словно бы поисками и надрывом. Даже прежнее «трам-пополам» исчезло...

Надрыв особенно стал заметен, когда, как мы выяснили, Батулин воспылал к Асе страстью самою неистовою. Выяснили мы это не сразу: ничего особенного не было по нем видно, да и не стремился я наблюдать, занятый собственным «быть — не быть» и «не потерял ли в весе». Выболтала всё Тамарка перед своим отъездом за океан, куда умыкал ее какой-то

американский сержант. Выболтала взахлёб, во всю силу своего темперамента и долго сдерживаемой тайны. «И что ж это будет, ребятки? Ведь может получиться цельная др-рама, ей-Богу... И хоть она малочувственная, как холодильник, но... как же они теперь вдвоем... Пускай съезжает!»...

После этого разоблачения мы, так сказать, уже вооруженным глазом увидели, что Батулин в самом деле не свой. Угрозу «пусть съезжает» он, должно быть, переживал отчаянно. И совсем перестал заходить ко мне. Я иной раз видел из своего гамака, как мелькали за дрекольным забором вдоль парка его длинные ноги, а над забором — светлопалевая седина волос — нарочно отворачивался, должно быть, чтобы не заметить, — спешил домой!

- Ну а как Ася? допрашивал я Наташу: они часто встречались вечером и ели в каком-то трактирчике тоскливый капустно-картофельный «штамм».
- Никак... Всё задумывается, теперь даже чаще прежнего. А когда о нем заговоришь подожмет губы (Наташа показала как) и такой монашкой так и просидит до конца, ни одной улыбки не выцарапаешь. И знаешь: они с Батулиным каждое воскресенье в церковь вместе ездят. В город...

Про Асю я знал, что очень религиозна, а у Батулина это была новая черта. Теперь, как раз вот при виде присосавшихся к гробу свинцовых мух, вспомнился мне следующий эпизод, случившийся вскоре после тамаркиного отбытия. Батулин (он так и не съехал из домика) пришел ко мне в парк в мертвый час, после обеда. Наташи не было, и хорошо, что не было, потому что она непременно увела бы меня в палату: шел дождь, редкий, теплый, и я перетащился из гамака под подол здоровенной елки, в этакую натуральную нишу с общипанными белкой шишками у корней, живыми бисеринками муравьев и смолой, за что ни схватишься. Сюда же ко мне, на корни, пролез и Батулин, и долго отдышивался.

— Какое это проклятие, старость! — сказал он, смахивая дождевые капли с лица и волос. — Непереносима эта постоянная утрата простейших возможностей и умений, одного

за другим, — то вот бегать уже не можешь, то мускулы, глядишь, раздрябли, то другое что... «Он смертным дал забвенье смерти»... Не дал. Нам, русским, не дал, мне кажется, в особенности. У нас это неизменное «помни» — всюду. В песне, в буйстве, в мечтательности... Ну а когда уж за плечами околеванец, так совсем тяжело. И, казалось бы: смирись, для чего пыжиться? Зачем? Пусть... Вчера на эту тему, о смерти и бессмертии, с одной замечательной личностью разговаривал. До ночи, чуть поезд не прозевал. Чудесный человечек. Архимандрит один. Глаза ласковые такие, и умница. Я вот крыл вам как-то старых эмигрантов и перехватил, думаю. Тоесть, конечно, в отношении ихних разных политиков, оно и верно — почти все одержимые, у каждого своя навязчивая идея, заполняет всё чердачное помещение, без никаких сквозняков, и им кажется от этого, что они мудрецы. В этом смысле и наши, позднейшие, нисколько не лучше. Разве что полукавее — этакий, знаете, рязанский ум, который уверен, что всех раз на всю жизнь перехитрил... Да. Но попадаются у них, у старых, и такие вот, вроде этого монаха, из ученых, кажется, в прошлом. Этим, может быть, и есть что сказать. Что ж, в конце концев у нас с вами там не было ни времени, ни обстановки, чтобы думать. А эти ведь думали... В церкви с ним познакомился — добавил он не без заминки и, помнится, искоса посмотрел на меня.

- А вы разве верите? спросил я (то есть вышепнул: голоса у меня тогда не было. Поэтому иные, разговаривая со мной, тоже начинали шептать не знаю, от неожиданности ли или от психологического какого-то шока. Случилось это в тот раз и с Батулиным. Вполголоса, гудящим шопотом про-изнес он почти весь свой последующий монолог. Может быть, по необычайности этого шопота под хвойной крышей, в шорохе сыпкого летнего дождя, и врезался он мне так в память).
- Верите? переспросил Батулин и помотал головой. Пуд соли надобно съесть, чтобы на этот вопрос ответить. «Како веруеши?» вот вопрос правильнее. Нет, по-церковному, бездумному и наверно по самому душеспасительному,

не верю, конечно, нет. Тут было у меня даже какое-то отталкивание до последнего времени. Может быть, и по привычке: я ведь в «воинствующих безбожниках» состоял, Демьяна Бедного инсценировал. Весной вот только в первый раз, это после четвертьвекового, должно быть, перерыва, забрел в церковь. Сразу как бы даже и умилился: бутафорское такое сооружение, в бараке. Лубочно, но трогательно. И удивило, помню, что не какие-нибудь одни стоптанные старушки, нет, тоже и цветущий возраст. Наших, из пленных или остовцев, много было. Ну, эти, видать, привыкали еще только, робели проявлять усердие. Помню одного: тугой такой парень, крестится всё больше петитом подмышкой и на соседей косится. Я зачастил. Пошел даже к исповеди, но батюшка не понравился — в крахмальном воротничке (он у них князь не то граф) и липкий какой-то. Пристал: в загробную жизнь веруете? ну и прочее... Не знаю, по мне православный поп уж лучше бы — в смазных сапогах, волосы чтобы в деревянном масле, и табаком чтоб от него, и медком... А тут как бы дисгармония. В общем про что я? — Да, загробная жизнь, бессмертие души, Царствие небесное... Не могу ведь верить! Ну зачем иному Сидорову душа? Как можно примыслить ему душу, да еще бессмертную? Представляете вы себе бессмертие этих вот шишек? — Он пнул круглоносым ботинком с раздрябшими от дождя сыромятными шнурками одну хрусткую шишку, другую, и черные бисеринки муравьев испуганно заметались под ногами. — Вот они, вызрели, просыпались для потомства, накормили белок и — сопреют. Где, в каком тлене станете вы искать их загробную душу? Какому Абсолюту, в нарушение всякой гармонии, могла бы понадобиться для шишек вторая жизнь? Сравнение, конечно, крайнее, но разве не ясно, что мы выдумали себе потустороннее бессмертие из гордыни и страха? А я не хочу — из страха... Я верю в бессмертие, так сказать, практическое — то, которое сам человек соорудит на земле. Не глядите на меня так: вовсе не так уж банально, как кажется... Оно и будет, будет непременно это самоутверждение бессмертия на земле. К этому идет —

возьмите хотя бы статистику преодоления болезней, от которых прежде мерли тучами. Но всё это лобочно пока, в наш кризисный и антигуманистический век. Побочно и бездуховно. Эта так называемая цивилизация, машины, политика подменяют дух вещностью, мешают людям чувствовать, что действительно прекрасно, желать, что действительно хорошо и спасительно, или — как это говорил Платон... Великая задача победить смерть разменивается на грошевые победы над избирательной урной и усовершенствованной моделью холодильника, а человек продолжает умирать в сорок пять лет от рака или разрыва сердца. Но это только пока. Необходимо и неизбежно произойдет новое Возрождение, и все силы духа сосредоточатся на одном. В том числе и те, грандиозные, как тяга земная, которые тратил человек здесь, на земле, на пустышку загробного своего существования. Земное бессмертие станет искомой и найденной Истиной, Откровением, которое всё поставит на место, всё осмыслит... Прошлое, настоящее... Ведь если я знаю, что мой пра-пра... в энной степени, словом, что какой-то отдаленнейший мой отпрыск действительно будет бессмертен здесь, на земле, так ведь это и для меня самого действительное бессмертие. А?

Он закурил, пыхнул, и дым повис над нашими головами этаким свернутым парусом, зацепившись за хвою, пыхнул еще раз — и в нашей раковине стало сизо. Я заметил ему что-то о материалистичности этой теории и потом, помню, сильно закашлялся. Тогда он раздавил папироску подошвой — запахло костром — и стал нетерпеливыми рывками выгонять накуренное на дождик.

— Нет, совсем не материалистично и не безблагодатно! — продолжал он резко, справившись с дымом и одышкой. — Совсем не материалистично, и в этом-то и есть новое. Проблема бессмертия будет решена с Высшего благоволения. Человек победит старость, а потом и смерть, без никаких воскресений из мертвых, но — по Высшей воле, не по своему, но по Божьему замыслу. Совершенно ощущаю, что воля Господня отнюдь не в том, чтобы я на земле, прекрасной

земле, только дрожал и молился, готовя себя к Страшному суду. Бог — любовь, а не возмездие, и дал человеку свободную волю для бесстрашия, а не для поклонов, и совсем малую толику чудес. Последнее знаменательно! Крестный Христа был тоже отрицанием чуда, как и при искушениях. И указанием нам самостоятельного пути... Нет, победа человека над смертью будет победой Божественного замысла такой гармонии не мог же желать дьявол. Только тогда и осуществится подлинное возвеличение Бога. А главное всё станет на свое место, всё будет оправдано. Эта, как она называется по-богословски, проблема теодицеи, что ли, исчезнет, потому что всё осмысленно — все жертвы, гекатомбы трупов, водометы слез и крови, всё искуплено, понимаете, всё, если будет побеждена смерть. И заметьте, каждая отдельная жизнь осмыслена, каждое дыхание, каждая маленькая польза. Ведь и до сих пор человек только потому и не отчаивался, что где-то в подсознании верил, что победит смерть. И не на этом ли вообще строится инерция веры в прогресс? Да, жизнь, человеческая жизнь, станет священная, ибо смерти не будет. Любовь станет органична, как дыханье, и органична свобода: живи, как хочешь, но лучше, если будешь любить... Тогда совершится и возрождение Церкви, и пастыри ее из капралов благочиния превратятся в бережных опекунов человеческого духа, во что-нибудь вроде наших старцев — лучшее, что дало православие... Всё это мое... вся эта сегодняшняя моя вера, заметьте, совершенно совпадает с Евангелием, начиная с «Царство Божие внутри нас» и...

Тут пришла Наташа — разыскала нас по батулинскому голосу из-под елки: последнюю часть монолога он уже давно не шептал, а, стараясь почему-то говорить тише, как-то гудел. — Пришла Наташа, и, кажется, в первый раз я пожалел, что она не позже пришла — хотелось, чтобы он выложил эту свою теперешнюю фазу до конца. Мы условились, что перенесем разговор на завтра. Но он не пришел на следующий день, ни после: надвигалась кульминация этой невеселой истории, и ему было не до того...

,

Мы подошли к кладбищу, и над головами застыли последние судорожно-жалобные удары. Кто-то встречал нас с черными ручными дрожками. Во много рук с подрагивающего от лошадиных всхрапов полога перетянули на них гроб. Повезли вдоль гранитно-цветочного фронта мотил по белой дорожке из дробных камешков. Эти камешки, ювелирного блеску и чистоты, с хрустом раздавались под острым колесом и потом, как по команде, кувыркались на место, будто стремясь как можно скорее заровнять колею, — так что и в самом деле оставалась после только совсем невнятная матовая вмятина. Помню, не в первый уже раз, подумал я об этой разительной несхожести здешних кладбищ, где так бойко, резьбою и клумбами, как бы на вечность подрумянена смерть, — с нашими, в откровенно забвенной крапиве, тлене и ржавчине.

«Pfarrer ist noch nicht da!» — сказал чей-то голос, и все стали смотреть на дорогу, откуда, видно, ждали пастора. Я тоже взглянул на эту ярко-извилистую, по жнивью дорогу между железнодорожной насыпью и лесом. Вдалеке тушила ее наплывающая через насыпь длинная лесная тень. Ничего не видно было на этой дороге, только навстречу ей бежал по рельсам, сквозя колесами, будто игрушечный поезд, и стеклянная лента вагонных окошек то взблескивала зеркально, поймав низкое солнце, то гасла в синем языке тени. Пейзаж не оригинальный, но почему-то всегда тревожащий и въедливый...

**

Да, философский диалог о бессмертии так и остался без продолжения. Целую неделю спустя мы с Наташей не видали Батулина, но по некоторым мелочам и по особенному молчанию Аси догадывались, что в охотничьем домике зреет некий конфликт. Он и вызрел-таки. В один непрекрасный день Наташа не пришла ко мне после обеда, а — уж почти перед самым ужином, прямо в палату, и в необычайно взволнован-

ном виде. — «Ты не мог бы сейчас... Или, может, это тебе повредит? — начала она, сбивчиво и хмурясь (признак чрезвычайной важности разговора), — не могли бы мы пойти сейчас вместе туда, в домик, к Асе с Батулиным? То есть Ася, собственно, у меня, но она хотела... то есть это я хотела, чтобы ты с ним поговорил. В общем, пусть он съезжает или пусть ведет себя... в общем...».

«В общем» я уже понял приблизительно из этого вступления, в чем дело. Чтобы не терять времени и не волновать бдительности сестер-монашек, — так и вышел, не переодеваясь, из лазарета в полосатом сине-белом костюме, за который здешних больных звали «зебрами». Мы вылезли через прогал в заборе на дорогу вдоль парка, и тут Наташа, забегая на шаг вперед и толкая меня плечом, изложила подробности происшествия, пополам с самыми ожесточенными комментариями.

Комментировать, собственно, было почти что и нечего: происшествие состояло в том, что Батулни этой ночью, под утро, проник на своей кухоньки («у него там тюфяк такой, прямо на полу, ну, соломенный...») в асину комнатушку и Асю, спящую, поцеловал («куда-то в тело, она, верно, раскрылась во сне»...) — в ногу, видимо, судя по наташиному пальцу, скользнувшему к коленке. А потом начал какие-то матримониальные объяснения. — «Она, конечно, вытурила его, и он мигом смылся, но всё-таки... На что это похоже! Ты должен воздействовать на него, — я знаю, он тебя стесняется»... — Возмущений хватило ей до конца парка, а за ним началась вырубка, поросшая матово-зелеными, цепучими ползунами ежевики, и через вырубку мы пробирались уже молча: Наташа — всё еще прихмуриваясь и отводя глаза от ягод, так и кидавшихся под ноги, я — в не очень приятном раздумьи по поводу предстоящей миссии.

— Ах, да! — хватилась вдруг она за сумочку. — Тут у меня стихотворение, которое он написал ей вчера вечером. Мы читали вместе... Бред какой-то безумный. Посмотри-ка... — Я сел на попутный пенек, обрадовавшись втайне пере-

дышке, и развернул «бред безумного», четко написанный чернильным карандашом на синеклетчатой четвертушке бумаги. И прочел:

ACE

Есть с чего голове закружиться! Снова чаша вина полна. Снова кличет синяя птица И прильнуть, и допить до дна.

Чаша выточена из агата, И вино в ней — ярче, чем кровь. Безрассуден я, как когда-то, Опьянен, одурманен вновь...

Не допить до дна? отказаться? Отвернуться от света в ночь? Ах, любимая, не терзаться Только ты можешь мне помочь.

Дай к губам моим чашу ближе, Чтоб скрипсл о зубы агат. На агатовом дне увижу Мой не найденный в жизни клад.

Иль возьми чашу прочь! Пусть брызнет, Пусть прольется вино. И тогда Я уйду из недожитой жизни В невозвратное никуда.

Вот какие были стишки! Конечно, не высший сорт, но, если отвлечься от качества, то вовсе даже не «бред», а, напротив, очень целеустремленные. Мне еще больше захотелось вернуться, но — что поделаешь! — пошли по инерции дальше, через ветреное выпуклое жнивье, на другом краю которого начиналась опушка леса. Оттуда, из-за редких сосен, и засквозил уже издали этот самый охотничий домик, весьма, надо сказать, идиллической внешности, обшитый мелкими крашеными в тон стволов досками, с вьюнком над окошком, скамейкой и полузатоптанными клумбами около. Было, помню, странно тихо в лесу, когда подошли, — только над головой, по хвойным вершинам, с легким свистом перекатывался ветер,

и падали шишки. Ничего сперва не могли разглядеть, войдя в крохотную, без окна, кухню с каким-то вроде камина кирпичным очагом. Потом разглядели Батулина: он лежал у другой стенки, не на тюфяке, а вдоль, прямо на полу, с раскрытым ртом, похожий на длинного вытащенного на берег линя. Помню, нас испугал было этот открытый рот (не припадок ли какой?), но он тотчас же зашевелился, сомкнул рот и сел на полу, с коленями к самому подбородку. — «Она меня отвергла...» сказал он, глядя не на нас, а на прикрытую в смежную комнату дверь, — сказал так, будто мы с ним уже полчаса как беседовали. Потом поднялся, пошатываясь, и я заметил, что от него пахнет спиртным, хотя и не видно было в окрестностях бутылки, верной спутницы наших встреч. — «Я похожу тут около, в малиннике, — заторопилась Наташа. — А вы поговорите. Полчаса, не больше, нам нужно к ужину...»

— Вылезем на воздух из этой дыры, — проворчал Батулин и, когда мы уселись на скамейке, посмотрел на меня сбоку, подняв одну бровь. — Вы, как я понимаю, по стороннему наущению явились наорать на меня и наставить, так сказать, на путь истинный. Ну, не наорать, — поправился он, заметив мою усмешку, — орать сейчас не по вашим возможностям, и вообще не пойму, какого чорта вас, чахоточного, сюда притащили. Ладно, пусть... Но слово беру я сам. Коротко и без обиняков: этот нелепый инцидент, сегодняшнее ночное приключение, больше никогда не повторится. Понятно? Лично для себя я считаю его исчерпанным. Между прочим, уже смахал в лавченку, купил здоровенный дверной крюк и приделал, можете убедиться. Крюк, конечно, не для меня, я не слабоволен и сдержу... Но — пусть она запирается. Вот и всё — о том, что вас, вероятно, интересовало. И точка! — Он привстал было, но, даже и не выпрямившись еще, качнулся, сел опять и как-то словно обмяк. Я видел теперь, что он пьян, грузно пьян, этим, конечно, и объяснялся запал последующего его излияния и даже пафос, которого прежде у него не замечал...

— Да, вот сказал «инцидент»... Это для вас — инцидент, для меня же — рок. То есть всё это громадное, что вдруг навалилось и сплющило... У-у! — скрипнул он зубами, — даже при одной мысли душит меня бешенство, что кто-нибудь скажет: блажь, мол, очередное увлечение. Не увлечение, а это — у последней черты. Дальше или перерождение, немыслимая вторая жизнь, или — конец!.. Почему «немыслимая»? Почему Господь, пославший мне на закате лет это, настоящее, не захочет отдать его мне всё, всё... дать пронести до конца? Она меня жалеет и — только... Неужто не может, не сможет полюбить? Я молю... Я два часа сегодня утром на коленях перед нею стоял, чтобы улыбнулась... Да, я сам себя не узнаю, словно вывернули меня наизнанку и всё мое перемешали с чьим-то другим и, вероятно, лучшим. И всё кругом кажется мне теперь лучшим. Умилен... Как это:

Готов я с небом примириться, Готов любить, готов молиться, Готов я веровать добру...

Нет, стихи ни к чему, потому что не выражают... Тут свои слова надо, взрывного действия, чтобы швырнуть, как гранату, в разных скептических соглядатаев, вроде вот вас... Впрочем, простите. Да, я молюсь, молюсь. Все молитвы вспомнил и еще свои сочинил, особые, потому что больше не могу, не вынесу... И понимаете ли, всегда любил как гастроном, а теперь хочу любить без... чтобы быть самому покоренным, понимаете, не для себя, а...

Тут, кажется, он всхлипнул, или, может быть, свело ему горло спазмой. В паузу показалась на опушке Наташа, делая мне знаки: и правда, я рисковал неприятностями, пропустив ужин. Но разве можно было от него, такого, уйти. Было в нем всегда что-то притягательное, несмотря ни на что, хоть я и не мог никогда решить, что именно это было, — оно только угадывалось сквозь позу и парадоксы; но теперь звучало совсем почти без наигрыша, очень из души и подкупающе.

— Да, — продолжал Батулин, упершись в острые колени ладонями и глядя под ноги, — из-за нее я почти перестал ненавидеть. Земляков, например, в первую очередь... А может я их и прежде не презирал вовсе, как мне казалось, а любил? Русаков наших, этих талантливых иванушек-дурачков, богобоязненных разбойников, мечтательных циников, восторженных болтунов и фанатиков? Или вот вас, скажем... И занятно: всегда было мне с высокого дерева наплевать, какого обо мне все прочие мнения. А теперь нет. Теперь, чорт подери, мне почему-то не всё равно, что вот вы, например, обо мне сейчас думаете. А? Что думаете? Сейчас вот, сию минуту? Может, гоже считаете просто юбочником-сластолюбцем, который снова вот рассиропился при виде очередной жамки? Может, даже примысливаете какую-нибудь гнусную на меня пародию? Бывают ведь такие живые на нас пародии в жизни, из знакомого окружения. Были и у меня, и я люто их ненавидел. Помню одного такого, двухмерного бабника и пошляка... таскался ко мне часто и откровенничал, хотя я и презирал его бесконечно. Всю жизнь прогонял за юбками, и почему-то нравился, распоясывался во-всю... Ну а потом поседел, обрюзг, — постойте: сколько же это ему было перед войной? чорт возьми! сколько и мне, пятьдесят с гаком! Словом, перестал привлекать всякую, даже и неказистую добычу. Но не оставил. Стал действовать лукавством: где обманет, где поддарит «душкигребешки», по его же подлому выражению. Приходил ко мне и признавался сквозь слюни, что только, мол, тогда и дышит, когда пружинит у него под пальцами... ну и так далее. Похабнейшим образом переживал эту свою собачью старость. Всё примерял себя к разным литературным персонажам. По возрасту. «Дворянское гнездо» не любил, потому что там про Лаврецкого, которому нет и сорока, говорят: «он старик», и еще за эпилог, за то, что герой уступает молодежи. В эпилоге ведь, помните, в горелки играют, и Лаврецкий — в стороне. А этому прохвосту как бы удержаться! — «Тут, говорит, какая сама на тебя прямо грудью налетит, облапишь и извиняться не надо»... Никогда прежде не интересовался книгами или

жизнью великих, а тут, бывало, развернет у меня историю литературы и вычитывает: «Веневитинов помер двадцати двух лет... Сумароков... — скажи, пожалуйста! отчего же Сумароков так мало?.. Лермонтов? — этот почти мальчишкой. Ох и плохо же в русской литературе, я, выходит, всех пережил?» — и так дальше в таком же духе. И вот к такому, представьте, пришла нелепейшая удача. Полюбила одна... Чем прельстил, непонятно. Рассказывать мог только самую банальшину, и пакостно. Но прельстил. Разжег, а сам ничего или почти ничего не может. Она убежала ко мне... Впрочем, к чему я вам всё это рассказываю? Ах, да... Пример пародии. Так как же всё-таки... Что и как вы обо мне думаете? А?

Он приставал с пьяной настойчивостью. Не помню сейчас, что я ответил. Кажется, напомнил ему кое-что о девушках в качестве «отдушин» — из его же рассказов.

— Ах, мало ли что я... Не всякое лыко в строку. «Отдушины!» Слово, может быть, и узковато, хотя сколько величайших творческих свершений вдохновлены были как раз такими отдушинами. Нет, я любил полным и долгим дыханием. Именно девушек, женщин редко. Женщины — не то. Красота расцветает в них потом изумительная, тонкая и пышнейшая, даже инфернальная, но таинственного-то нет. Таинственного, которое, знаете, как фонарик изнутри, свет. Это — в девушках. Девушка — всегда неведомое. Она бредет, эта настоящая девушка, по жизни, как тайна искомая и, конечно, ищущая, и потому, если натуральна, не искажена ничем, — всегда прекрасна. И я это знал, и они чувствовали, что знаю, и потому, должно быть, и любили меня... «Девушка!» слово-то какое чудесное! Какой-то кретин, не помню, говорил или писал, будто банально. Ерунда! В нем что-то душистое, или — как, знаете, стоишь у водопада, скажем, и на лицо попадает тончайшая такая водяная пыль, а вокруг непременно чем-нибудь пахнет смолистым, или... Да! А сухарей этих, очерствевших душою, конечно, тьма, большинство. Любуются причесанными пейзажами, бездарными Шишкиными или Айвазовскими, мо-

заикой, заплесневелыми орнаментами и говорят: вот какая красота! А прекрасное прежде всего нерукотворно. И все необъятные и таинственные возможности чудотворицы-природы, всё воплотилось в девичьей гармонической наготе. И недаром подражатели на раскрытие этой гармонии убивают все силы духа и мысли, страстей, талантов и вдохновения, никогда не достигая совершенства. И вашу Венеру Милосскую нужно было бы, по совести, закутывать в простыню. Шедевры — в живой жизни. Рядом! И все это чувствуют, несмотря на искусственные уродства и искажения, — взять хотя бы эту модную теперь спекуляцию на каждом сантиметре голого женского тела. И она, эта спекуляция, — разве только на похоти? Если бы так, то торговцы репродукциями с разных там «купальщиц» имели бы в качестве клиентов только лысых импотентов и юнцовголовастиков. А тут все, глядя на девичье совершенное тело с непорочной кожей, чувствуют, как заходится у них в груди, стараются не прерывать дыхания, то-есть чувствуют эту красоту, обжигающую, как кипяток. Не без преступности, правда, чувствуют, потому что представляет каждый: так можно оголить на всеобщее общупывание глазами, слюни и похоть — его возлюбленную, его сестру, дочь... То есть чувствуют святотатство почти, потому что тайна и красота, то-есть святыня... Я, кажется, заговариваюсь? Вы не думаете сейчас, что я просто сладострастник, пережёвывающий перед своим концом все виденные когда-то девичьи ноги, груди, объятия, как корова жвачку?..

У него в самом деле получалось местами бессвязно, но он говорил, говорил. Прямо перед нами, за выпуклым жнивьем, садилось солнце, и он то и дело, спохватывался, словно бы невзначай, смотрел из-под руки в ту сторону — ждал, должно быть, Асю. Потом солнце село, а вместо Аси подошла Наташа, вся растревоженная прозеванным ужином, тем, что после захода солнца будто бы гибельно для здоровья, и чуть ли не за руку утащила меня домой...

4

С потемневшей дороги притекла глухая строчка выхлопов; окрепнув и уже рокоча, подкатилась к кладбищенским воротам, взорвалась и заглохла. — Приехал пастор, и мы пошли к могиле. Ее вырыли в задней, почти еще не заселенной части кладбища, рукой подать до мощной гряды леса, с кабанами и оленями, как говорили мне, начинавшегося почти сразу за низкой стеной. Вырыли очень удачно: под лиственницей, большой и сквозистой, в частом пунктире мелких шишек. И вся нетоптанная, в холодной росе трава вокруг усыпана была этими круглыми шишками, а на рыжей глине, вперемежку с булыжниками, выброшенной из ямы, тоже лежало уже дветри... Помню, за чуждой невнятицей молитв и всей этой незнакомой мне обрядностью следил я вполне бездумно. И только когда пастор черной лопаткой стал стряхивать вниз, на гроб, первый липкий комок земли, — пробежала у меня в памяти развязка этой истории.

Перед обедом (это было несколько дней спустя после моего путешествия к Батулину) принесла мне наша коридорная сестра-монашка, круглая и благодушная, похожая на просвирню незапамятных времен, записочку от Наташи: «Она согласилась!! Мы пошли сейчас вместе к портнихе, так что я приду к тебе только позже к ужину». Я повертел записку, надеясь найти продолжение, — знал, что Наташа начинала иногда свои письма прямо с постскриптума, но понял всё и без продолжения. Неужто Ася вправду решила выйти за Батулина замуж?

— Да, представь себе. Вправду! — подтвердила Наташа вечером. — Подумать только! И у них уже всё, оказывается, договорено со священником, так что завтра и венчанье. Мы бегали по портнихам — переделывать ей платье. И я тоже пойду завтра в церковь. Ух, устала, и болит немножко здесь, от без-очков... — она дотронулась кончиком пальца до переносицы. — И знаешь, что? Не сходим ли мы сейчас к ним? На этот раз чтобы нипочем не опоздать к ужину. Только на

минуточку... — поздравить! Мне кажется, они были бы рады. Особенно он, — он как будто немножко стесняется тебя, у меня такое впечатление, — не знает, как ты к этому относишься.

Относился я к этому без восторга, совсем даже без всякого восторга, если не сказать больше. Но от меня всё это никак не зависело, а тем, что моя первая дальняя вылазка прошла благополучно, и вот снова зовут, то есть, значит, не считают уже умирающим, — я был, помню, весьма горд. Мы отправились.

Теперь по дороге через вырубку Наташа уж не пренебрегала ежевикой — нагибалась, кололась, вскрикивала и то и дело подсовывала мне две-три вороненых ягоды на узкой ладони в лиловых кляксах и капельках.

Как и в прошлый раз, опушка и домик были в позднем оранжевом солнце. Мы нашли Батулина на скамеечке, и перед ним на ребре, загораживая его почти до плеч, стоял широченный пружинный матрац с распоротым посредине нутром. Сквозь прореху в мешковине виднелись серые кишечки пружин, видимо, только что подтянутых свежим желтоватым шпагатом. Сейчас он кончил уже работу, натягивая и загибая через край брезентовую обивку, пристукивая ее не без ловкости мелкими сизо-черными, как коринка, гвоздиками. Когда гвоздь впивался в складку до шляпки, из-под обушка топорика, которым Батулин действовал, взлетали в солнечный воздух легкие гейзерчики пыли.

- Вот оборудую свадебное ложе... поднял он на нас лицо, осветленное какой-то уютно-домашней торжественностью. Да, кажется, бродило на этом лице что-то вроде конфува, а может быть, это он просто щурился слегка от солнца. Садитесь. Ася там, в горенке, с тряпками, наводит парад.
- Нет, нет, мы только на секундочку буквально, и сейчас же назад! сказала Наташа и побежала в домик. А я протиснулся на скамеечку, сел, и мы промолчали минуты дветри, покуда Батулин свернул себе самокрутку и курил, промолчали, не глядя друг на друга, и тоже в какой-то натя-

нутой торжественности, словно в ожидании тоста или именинного пирога. Потом вышла Наташа, одна, без Аси («стесняется тебя, пойдем!»), и мы стали прощаться.

— Пока! — сказал Батулин, поднявшись и придерживая обеими руками качнувшийся матрац. — До завтра! — добавил он уже вдогонку нам, и что-то необычное послышалось мне в его голосе, так что я обернулся.

Он улыбался, широко, всем лицом, в первый раз за всё время нашего с ним знакомства. Смеялись и глаза с Бог весть откуда взявшимися вокруг них мелкими и подвижными на солнце морщинками. Он улыбался, и теперь было видно, что у него действительно нет нескольких передних зубов, и от этого в лице сквозит что-то наивное, детское. Но тронуло меня не это, а выражение какой-то обреченности, которого не удалось стереть этой счастливой улыбке, чего-то недоверчивого, бесконечно тоскливого и жалкого. Словом в ответ на его «до завтра» махнул я ему рукой и отвернулся вряд ли с сухими глазами. Пряча от Наташи эту свою неожиданную растроганность, вспомнил, что, пожалуй, только однажды в своей жизни видел другую такую же раздирающую улыбку. Не уверен, что удастся рассказать, но всё же попробую. Эта была девочка, беловолосая и голубоглазая, лет шести-семи, приемыш в избе одного хуторянина, к которому попал я случайно, проездом. Было это во времена давние, - позже таких хуторян изничтожали под псевдонимом кулаков, но я должен признаться, что этот, о котором речь, и в самом деле был вовсе непривлекательный. Мы ели за столом яишенку, не то драчены, а девочка эта в одной облезлой рубашонке притулилась у печки на полу, с бабками, которые она чрезвычайно робко и с оглядками на нас то укладывала ниц, то расставляла стоймя. Потом в избу вошел крупный хозяйский мальчишка в полушубке, звонко шлепнул ее по затылку (она не посмела всхлипнуть и только втянула голову в плечи) и отнял бабки. Хозяин, верно, заметил, что я всё на нее смотрю, и, когда мы выходили, остановился осанисто у печки. «Сирота! — сказал он, — терпим вот»... и, пригнувшись, провел рукой по белым ее волосам, —

совершенно уверен, что в первый и единственный раз. Тогда девочка подняла на нас грязное личико и улыбнулась. И было в этой улыбке, помню, что-то такое пронзительное, такой неописуемый диссонанс детской радости и совсем недетской тоскливо-покорной обреченности, что вот на долгие годы застряла у меня эта девочка в памяти. Очень похоже, с той же обреченностью, улыбнулся сейчас Батулин. Так и нес эту улыбку вместе с его «до завтра» до самого дома.

**

А ночью он умер.

Ася прибежала к Наташе чуть свет, с третьими петухами, сказала это: «он умер» и больше не говорила ни слова. Не отвечала она даже полицейским, впрочем — они от нее отстали, когда местный врач установил с несомненностью разрыв сердца. Наташа же ее не расспрашивала — не до того: бегала, хлопотала по похоронам и сама была в нервном трансе, особенно после «жуткого», как она говорила, посещения домика, где в сумеречной еще асиной комнатушке длинныйдлинный, под натянутой простыней, лежал Батулин, — лежал на том самом «свадебном» матраце, который чинил накануне. Как всё-таки он умер? Под эти такие звучные в безмолвии стуки и шорохи засыпаемой могилы я смотрел на асин маленький профиль с сжатыми губами и окаменевшим подбородком и понимал безнадежность да и немыслимость вопросов. Но больше, помнится, смотрел тогда вниз, как, заравниваясь, мельчала и вспухала вверх могильная яма, и видел четыре ножки в черных чулках на желтом комкастом засыпавшем траву грунте. Две — в черных же туфлях, наташины, — очень живые, у одной всё время беспокойно и словно бы вопросительно приподнимается каблучек. Другие две — в туфлях коричневых, новых (не к свадьбе ли купленых?), и словно впаяли их во влажную глину, не дрогнут, как изваяние...



Ася продолжала молчать — о самом главном — и после. Потом однажды поехала в город, почти что и не попрощав-

шись, не сказав, что насовсем. Оказалось — насовсем. Наташа сбилась с ног, наводя справки по лагерям, даже и в официальных учреждениях, — никакого следа! Наконец, уж много-много позже, выяснилось, что Ася уехала за океан по какому-то контракту, еще раньше заключенному, в одну из южноамериканских ананасных республик. Загадочное со смертью Батулина так и осталось непроясненным. Что эта была за смерть? Можно ли ее, эту смерть, эту предсвадебную (или свадебную?) ночь реконструировать в духе мистической романтики из любимого Батулиным «Демона» — герои при этом меняются ролями, и смертоносной победительницей оказывается чистота? Или всё было проще, совсем прозаически, могло бы обернуться и иначе, если бы не сердце? Могло ли? Могла в самом деле эта грустная девочка помочь этому старому человеку?

У самой у нее не спросишь: ни письма, ни адреса, — все сожгла за собою мосты. И откликнется ли когда-нибудь на нашу о ней память, даст ли весть о себе?

— Не знаю. Не думаю...

Л. Ржевский

**

Над голосом моей души — Есть голос духа и лучи, И даже огонек свечи, Потухший здесь — туда спешит. Там собран весь погасший свет... О нем и думать силы нет.

А. Величковский

**

Поэты это те, кто жил уже. Об этом я узнал, когда во сне По чуть заметной розовой меже, Меж тучами рожденной в тишине, Полоска света нежно розовела, И отходя ночная тишина О дорогом, о самом главном пела — И музыка была почти слышна. Желтеть бумага начинает И вместе с этой желтизной Правдивость прежнюю теряют Слова написанные мной. Опаздывает правда вечно. Но в том, что в слове правды нет, Мне кажется, мерцает свет, Ведущий душу в бесконечность.

**

При лунном сияньи — дымятся леса, Чудовищем кажется каждый пень. На светлой поляне копны овса, Под каждым снопом непроглядна тень. И теплые волны кругом идут, Деревья глядят в заколдованный пруд. Ты облаком стала, я облаком был При ненаглядной зеленой луне: Мне счастье и музыку лес дарил, Перстень тебе, в голубой тишине. Когда-нибудь рыбы твой перстень найдут И темные волны кругами пойдут.



На небольшом лотке у бабы Застыли в мертвых позах крабы. Нет солнца, моря, нет песка. Как видно крабы околели. Толпятся люди у форели, Замерзла баба у лотка. Но к счастью бабы — так бывает: Базарных толп торговый гам Приблизился, напоминая Шум волн бегущих к берегам. И полуоживая крабы Зашевелились на лотке И покупательница к бабе Подходит с сумочкой в руке.

А. Величковский

ШАГИ

Мост. Ночь. Фонаря свет. Шаги за спиной, Никого нет.

Тухнет фонарь. Мигнул. Потух. Тьма. Напрягаю слух.

Всматриваюсь. Не видать ни зги. Тот же мост. Те же шаги.

Подкрадываются. Шелестят. Замерли. Опять шуршат.

Глухо. Издалека. Без конца мост... Без конца река.

Не добежать. Нет берегов. Тьма. Мост. Шелест шагов. * * *

Я сам себя заколдовал. Блаженство? Выбирай любое. Пустого зеркала овал, В нем только небо голубое.

Но ты внимательно вглядись В его растущие просторы, Туда, в сияющую высь, Где тонут ангельские взоры.

И как парящего орла Из этой глубины лучистой, Неудержимая стрела Тебя пронзит с протяжным свистом.

И ты увидишь свой же лик, Но в восхищеньи совершенства. И будет этот краткий миг Блаженней вечного блаженства.

* * *

О, если б спать, не видя снов! Но мне всё время что-то снится. Душа, как пленница, томится, На волю рвется из оков.

Чужие лица, города, Несуществующие страны. Взвиваются аэропланы, Со свистом мчатся поезда.

А ныне страшное — опять: Москва... Сейчас меня узнают, Поймают, схватят, расстреляют. Конец...

О, родина! О, мать! Владимир Злобин

ГОЛУБИ

Я вспугнул голубей — Характерное хлопанье крыльев, Вкось летят с колокольни На фоне чешуйчатых крыш. Город слышен слабей, Влажный воздух свободен от пыли, Дух захватит невольно И зренье и слух обостришь. Голубиный простор С непросохшим бельем, с чердаками, Глубина перспективы, Широкий покой глубины. Как беспечен и скор Голубиный десант на кварталы, Сколько пар разместилось В проломе кирпичной стены. Голубь бросился вниз Расчленяя на четкие фазы, На неравные части, Свободный и чистый полет. Вот он сел на карниз, Осмотрелся скептическим глазом, Семенит по жестянке, И хлебные крошки клюет. Колокольная даль, Голубиная даль с поволокой, Пилотаж без расчета, Радушный прием наверху... Я бы дорого дал За такую же чистую легкость, За такую же четкость И ясную свежесть стиху.

ОСЕНЬ ЧЕРЕЗ БИНОКЛЬ

Мир слегка искажен В отшлифованных стеклах бинокля, В перламутровой дымке Смягчающей резкость лучей... Холод клёны обжег, Красноватые листья засохли, Золотые пластинки Заброшены в каждую щель. Золотисто шурша Осыпается хрусткий кустарник, Осыпаются вязы За триста шагов от меня. В каждой ветке — душа, В каждом хрусте и в каждом суставе Открывается глазу Работа осеннего дня. Чуть горчит на губах Острый привкус осеннего ветра — Передвинув бинокль Отдохнешь на мансардном горбе. Он сродни голубям Четко видным за полкилометра, Севшим на водосток И лепящимся к теплой трубе. Клёны мерзнут кряхтя, Водоемы по паркам застыли, Воздух чист как печать, По аллеям шуршание ног. Подкупает октябрь Золотистой классичностью стиля. Чем заменишь сейчас Заменяющий крылья бинокль? В доме пахнет дымком

От огня разгоревшейся печи И у окон во взгляде Жемчужная муть и покой. Вечер с книгой знаком И перу черновик обеспечен. Осень пишет в тетради Прохладной и легкой рукой.

**

Проходишь топким берегом реки, И дышишь ветром и живешь деталью: Бугристой веткой, цветом облаков И опереньем уток у плотины. Бугристой веткой дышет голый лес, Душа реки выплескивает рыбкой Из-под коряг и кряква бьет крылом. И ради этих веток и коряг Живешь и дышишь, все леса и реки В себе вмещая, ты идешь навстречу Шумливым уткам, топким берегам И перистому оперенью неба.

Олег Ильинский

**

Ты видишь, как я весело живу У горлинкой воркующего моря, Как весело!.. О будущем не споря, Я вижу сны чужие наяву, Посыпанные едкой солью горя Чужого, чуждого.

Чудовищно-чужбинны Эгоцентричные вращения турбины Пустых сердец, Узоры раковин, шуршанье тины, Лучистых облаков ликующий венец И горизонт с афишею рубинной: Закат. Конец!...

В сомнамбулической, подветренной тоске (Тоска? А может быть, вернее, скука?) Танцует босоножкой на песке Пеннорожденная разлучница-разлука И кораблекрушения волна Выносит заумь гибели со дна.

Беда — водоворот! Беда — победа! За мраморным плечом обломано крыло Чужого бреда.

Да, как на зло

Тебе не повезло. аки не нало плакать.

И всё-таки не надо плакать, Леда. О чем печалишься? О чем, о чем Под леопардовой расцееткой пледа?

Взгляни, звездой обманной у воды Блестит кусок слюды — Звезда песчанная, звезда воспоминаний. Семирамидины сады, Пласты слезосеребрянной руды Страданий.

Ложится время дуновеньем пыли На праздничные льды Приморской были.

Ну, кто же спорит? Жили-были То тускловато, то светло, На свадьбах пировали, ели-пили И по усам текло...

Но кончилось, прошло, прошло, Забвеньем процвело...

Все корабли отчалили, отплыли К пределам огнедышащим земли, На дно отчаянья, навеки, отошли

О, нежностью сводящая с ума Мимозострунная весна-зима! Со дна всплывает лунная ундина В соленый, хрупкий лед русалочьей любви. Не прикасайся к сердцу. Не зови Сомнений песней лебединой.

В самоубийственной крови Чужих страстей, чужого сна, Не слушая, не понимая Чужого маятника маянья, Я крепко сплю не достигая Глухого дна

Отчаянья.

Ирина Одоевцева

Луну волки съели
И не на что больше выть.
Поэты себя перепели,
Но как же с музою быть?
С божественной, беспрекословной,
С золотою арфой в руках,
Манящей и обещающей,
На кофейной гуще гадающей:
«Быть иль не быть»?
Нет, не на что больше выть.
Но есть страна, где солнце иное,
Разрезанное пополам.
В нем заложено счастье земное,
В нем дыры и слезы и тарра-рам.

Юрий Одарченко

МОИ ВЕЧЕРА

1.

Не о чем писать и не надо писать. Жизнь проста, совсем не странна. Покачивается кривой стол. Хмурится зеленая стена. Вечер. Яркий электрический свет. Горбится на вешалке пальто. Я забыла о чем хотела сказать ---- Это всё не то, не то.

2.

Съежилась папироса В мягкий комочек пепла. Ветер, мой друг несносный, Занавеску нещадно треплет. Чья-то шуршит машина По камням и песку. Ах, этот вечер длинный На любого нагонит тоску.

3.

Вечер. Высокие травы. Застывшие деревья. Телефонный столб. И главное — Белый дом вдали на горе. Этот вечер спокойный, Он снится мне? Или же наяву, Дерзостная, недостойная, Так легко дышу и живу?

Иранда Легкая

ИЗ СКАНДИНАВСКОГО БЛОКНОТА

Этот берег, вётлы эти, Кружевным зигзагом сети И фарфоровый песок, Ветер, ветер, ветер, и маяк наискосок.

Как всё серо! Грусть иль нежность, Чем, скажи, она полна — Эта мглистая безбрежность, Эта низкая волна?

Хоть бы парус! Хоть бы лебедь! Хоть бы в сером этом небе Полынью пробить веслом — Брызнуть солнцем в пенный гребень, Южным солнцем и теплом.

Аглая Шишкова

ШИЛЛЕР В РОССИИ

1

Несмотря на несомненно значительную связь русской духовной и поэтической культуры с французской, основные линии духовного развития России и в значительной мере русской поэзии 19-го, а отчасти уже и 18-го вв. гораздо сильнее связаны с немецкой поэзией и философией. Только середина 18 века (до Державина) и поэзия (не философия) русского символизма стоят под преимущественным влиянием французской поэзии.

Три имени в истории связей русской духовной жизни и поэзии играют при этом особую роль: Гегель, Шеллинг и Шиллер. Интересно, что о Канте и Гёте в России можно сказать только очень немного, почти ничего о Фихте: хотя можно, как это и делалось, написать о Канте и особенно о Гёте в России обширные работы с большим количеством русских имен, но «влияния» и Канта и Гёте были только поверхностны. Были их исключительные поклонники, их имена встречаем в произведениях и письмах Карамзина, Пушкина, Тургенева, Достоевского, Белого и Блока. Некоторые писатели (Тургенев, Белый) несомненно серьезно занимались и Кантом и Гёте. Но более глубокое содержание их произведений прошло как-то мимо сознания русских мыслителей и писателей. И русских кантианцев и гётеанцев надо искать наиболее значительными представителями мысли и поэзии, а между более второстепенными именами. При этом и Кант и Гёте касались русской духовной истории так сказать «рикошетом», отражаясь от других менее интересных мыслителей и поэтов: русские гётеанцы Кюхельбекер и Холодковский, отчасти Фет и В. Иванов, а не Пушкин, Лермонтов и Блок, русские кантианцы — не Вл. Соловьев или Бердяев, а Введенский и Лапшин... К Канту Белый пришел через эпигонов кантианства (Риккерт и Ласк), к Гёте — в значительной степени через Рудольфа Штейнера... И это типичный случай.

Между тем широкими волнами вливались в Россию гегелианство, шеллингианство и шиллерианство. Гегелианство охватило все русские 40-е годы, и западников и славянофилов (К. Аксаков и Ю. Самарин), и 60-е годы («идеалисты» Страхов, Чичерин и П. Бакунин, материалисты и радикалы — Лавров и Чернышевский), и сыграло огромную роль в возрождении философской мысли на рубеже 19-го и 20-го веков. Шеллингианство охватило и начатки оригинального русского естествознания, отозвалось, правда, также только «рикошетом» или только беглым увлечением, у людей 40-х годов (Станкевич, Белинский, М. Бакунин, конечно, Чаадаев и особенно Хомяков), и вернулось широкой волной через Владимира Соловьева в русскую религиозную философию начала 20-го века (Бердяев и особенно Булгаков).

Несколько иной характер имела история русского шиллерианства. Вряд ли какого-либо поэта переводили чаще чем Шиллера. Переводили поэты самых различных направлений и эпох. Уже в 1793 году появился перевод «Разбойников» (вышедших в 1781 г.) Н. Сандунова, а после этого «Разбойники» были переведены еще семь раз, между прочим членом кружка Герцена, Кетчером, и братом Достоевского Михаилом Михайловичем. Мы не будем останавливаться на многочисленных переводах произведений Шиллера до наших дней включительно, но отметим, что некоторые стихотворения и даже обширные пьесы переведены по десяти-пятнадцати раз. В 1794 году появляется перепев «К радости» Карамзина и с того времени переводы Шиллера проходят непрерывной цепью через русскую литературу. Шиллера читают, переводят, подражают ему Жуковский, Лермонтов, Гоголь, В. Печерин, Марлинский, Станкевич, Белинский, М. и П. Бакунины, Герцен, Огарев, Погодин, Хомяков, Тютчев, Полонский, Плещеев, Фет, Ап. Григорьев, Ив. Тургенев, Страхов, Достоевский, даже Некрасов, Чернышевский, Глеб Успенский и Михайловский, русские символисты, в особенности Белый и Блок... Я не хочу обращать свою статью в библиографический обзор. Напомню только несравненные, несмотря на некоторое искажение шиллеровских настроений и мотивов, переводы баллад и «Орлеанской Девы» сделанные Жуковским, благодаря которым Шиллер, как никто другой из нерусских поэтов, вошел в русскую школу и русскую жизнь.

Русских поэтов в Шиллере прежде всего привлекал ряд его мыслей, иногда даже для самого Шиллера и неважных,

но четко и блестяще им формулированных. И поэтому встречаем такие перепевы его стихотворений, как «Послание Андрею Н. Муравьеву» Тютчева (намеки на «Богов Греции» Шиллера), и у него же отзвук мыслей Шиллера (из его трактата «Vom Erhabenen») в стихотворении «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые», или формулировку эстетических задач поэта Некрасовым, заимствованную из совершенно случайного высказывания Шиллера: «чтобы словам было тесно, мыслям просторно». Шиллер воздействовал на русских писателей некоторыми сценами своих драм: встречи двух соперниц у Достоевского (вплоть до Катерины Ивановны и Грушеньки в «Братьях Карамазовых») построены по образцу встречи Елизаветы и Марии Стюарт в «Марии Стюарт» Шиллера, прощание Орлеанской Девы с деревней в переводе Жуковского находит отзвук во многих русских стихотворениях, нападки на лицемерие общества в «Разбойниках» или «Коварстве и любви» повторены в ряде рассказов Марлинского и т. п. Но особенно привлекали поэтов морализм и идеалы свободы, проповедуемые устами маркиза Позы и звучащие в «Заговоре Фиеско» и «Вильгельме Телле». Между тем у Шиллера тема свободы поставлена отнюдь не только политически (хотя издание «Разбойников» и носило эпиграф «In tyrannos» — «Против тиранов»), а в соединении с совершенно другими мотивами, о которых скажем Но так понимали Шиллера не только писатели, цензура; даже опера Россини «Вильгельм Телль» на сюжет одноименной пьесы Шиллера долго считалась в России «опасной» и ставилась с бессмысленно переделанным либретто под названием «Карл Смелый».

Я хочу остановиться на другом: на идейном влиянии Шиллера на русскую литературу и русскую мысль. Русскую литературу 19-го века (да и 11-17 веков) нельзя понять без философии, по крайней мере нельзя понять полностью. Поэтому мне придется сказать несколько слов о философских темах.

2

Но прежде всего — несколько слов о Шиллере. В России, как и в некоторых других странах, Шиллер, помимо воли и в противоречии с характером его творчества, оказался неожиданно в окружении поэтов и мыслителей, с которыми он имел мало общего. Шиллер, как отчасти и Гёте, считается роман-

тиком. Впрочем, его мнимый «романтизм» не помешал ему влиять в России и в те эпохи, когда настоящие романтики были забыты и даже покрыты покровом не только забъения, но и презрения... Против причисления Шиллера к романтикам возражали специалисты (напр. А. Кирпичников в прекрасной статье в собрании сочинений Шиллера в изд. Брокгауза-Эфрона, как и другие авторы в статьях того же издания). Это, впрочем, не помешало тому, что «communis opinio» только не «doctorum», а «dilettantorum» продолжало причислять Шиллера к западно-европейским романтикам. И даже один довольно известный профессор русской литературы в эмиграции напечатал статью, в которой, причисляя Шиллера к романтикам, цитировал для доказательства этого положения как стихи Шиллера — строки Беранже в переводе Курочкина.

Шиллер — не романтик! И в немецкой литературе он стоит рядом с Гёте, как представитель своеобразного «классицизма» на переломе двух столетий. От романтиков его отделяет очень многое и очень важное. Прежде всего его морализм, проявляющийся и в моральной проповеди во всех его произведениях, и в его взгляде на литературу (поэзию), как на средство воспитательного, морального воздействия, и в отсутствии у него романтической теории «двумирия», и в недооценке им звуковой стороны поэзии, и в методах изображения им действительности. Стилистика его драм классицистическая, несмотря на отказ его от трех единств классицизма. Влияние французской классической драмы на Шиллера прослежено в специальных работах. А его поэзия — одическая, элегическая и даже балладическая (романтический жанр) — ближе к Клопштоку или Попу, чем к Кольриджу и Китсу, «озерной школе» или русским романтикам; даже романтические элементы в поэзии Пушкина несравненно сильнее, чем у Шиллера. Его современники, немецкие романтики, искавшие сочувствия и поддержки у Гёте (часто без успеха), к Шиллеру относились совершенно отрицательно, с пренебрежением или откровенно враждебно. Огромное количество пародий на стихи Шиллера исходит не из кругов немецких «литературных староверов», а из кругов иенских романтиков, может быть самые ядовитые и во многом несправедливые принадлежат Августу Вильгельму Шлегелю — признанному вождю и теоретику европейского романтизма. Русские романтики этого не замечали или почти не замечали...

Не останавливаясь на библиографическом обзоре переводов и статей о Шиллере, на перечислении отдельных замечаний русских писателей и мыслителей, на обзоре интереснейших эпизодов из истории русского театра, отмечу только два важных факта. Первый: существование «русского шиллерианства», окруженного ироническими замечаниями современников (таковы анекдоты о К. Аксакове, будто бы проповедывавшем Шиллера берлинской продавщице цветов на улице, — анекдот этот с вариантами рассказывается и о других русских шиллерианцах), шиллерианства, отзывающегося даже в подпольной переписке революционеров 60-80 гг., — Шиллер ценился и в Шлиссельбурге. Второй: существование и в России врагов Шиллера: уже в начале 19-го века, например, русскому френологу Волкову отец его писал из России заграницу, что по слухам есть поэт Шиллер, который прямо пишет: «убей отца!»: так он понял содержание «Разбойников», а Николай I, при первых известиях о революции 48 года, застав однажды императрицу в небольшом кругу, которому ее библиотекарь читал «Фауста», просто объявил, что все современные «безобразия» — от этих «ваших Шиллеров и Гёте», и даже еще профессор математики Бугаев в 90-х годах возмущался «вредным влиянием» Шиллера на молодежь, — правда в этом случае речь шла о любительской постановке «Мессинской невесты», исключительно мрачной «трагедии судьбы», стоящей особняком в творчестве немецкого поэта¹.

3

Как мыслитель Шиллер чрезвычайно интересен. Познакомившись с философией Канта, он сделал из нее некоторые дальнейшие выводы и, интересно, что им высказаны впервые некоторые мысли, которые развиты одновременно или позже Фихте (с ним поэт состоял в интересной переписке), а осо-

¹ В 1816-17 гг. в «Духе журналов» появилось две статьи против Шиллера (заимствованные из французских источников). «Мария Стюарт» Шиллера — «варварская трагедия», «роман в разговорах». Романтики, к которым тут причисляют Шиллера — «раскольники литературы», они «предались душой и телом развратным музам романтического Парнасса». Все эти суждения о романтиках переносятся на Шиллера — и в России подобные суждения встретим до 30-х годов 19 века.

бенно Шеллингом и Гегелем. И у него есть даже критика современного общества, созвучная Ницше. Но не на этих мыслях я хочу здесь остановиться, а на том дополнении или исправлении системы мыслей Канта, которую Шиллер произвел в интереснейших «Письмах об эстетическом воспитании». Именно общие основные мысли этих «писем» посредственно и непосредственно оказали значительное влияние на русскую мысль.

Ум Канта, наряду с редкой аналитической способностью, обладал еще и способностью «распорядительной», как выразился Вл. Соловьев по отношению к гегельянцу Б. Чичерину. Это значит, что Кант был в высшей степени способен упорядочивать материал своих идей. Его система мыслей покоится на резком разграничении способности познания («Критика чистого разума») и способности практического (морального) действия («Критика практического разума», мы бы сказали «воли»). Это две стороны человеческого духа, подчиненные совершенно особым законам и действующие совершенно различно. Объединение их принадлежит третьей способности духа — «способности суждения» («Критика способности суждения» — «Kritik der Urteilskraft»), к которой принадлежат установление целесообразности и эстетическая оценка. Эта третья критика — с некоторыми ее неясностями — и стала тем исходным пунктом, на котором возникли позднейшие философские системы, прежде всего системы Фихте, Шеллинга и Гегеля.

Но нас интересует Шиллер. Шиллер подошел к системе Канта, как дилетант, однако с чрезвычайной проницательностью схвативший ее основные черты и попытавшийся построить на них свою собственную систему мыслей, с устремлением чисто практическим: изображение человеческого духа в целом и оценка его трех способностей... Мысли Шиллера можно изложить, конечно, в упрощенном виде, так:

Каждый человек обладает духовными способностями познания, морального действия и художественного творчества. Обычно они не находятся в равновесии и большинство людей — представители какой-либо односторонне развитой способности. Тип человека с перевесом, преобладанием способности познания, разума — тип односторонних, «сухих», принципиальных, «неумолимых» мыслителей. При подходе к жизни, они суживают ее, стремятся всюду внести «разумный» порядок. Односторонность их проявляется более всего там, где такой человек должен действовать: он ищет для своего морального действия общих правил, «принципов», которым он неумолимо подчиняет живую жизнь, иссущает, насилует ее, не хочет (и не может) видеть в ней разнообразия, движения, конкретных потребностей жизни. Это по Шиллеру «вандалы», — обозначение, может быть, не совсем удачное. На другой стороне стоят также односторонние представители волевого, действенного типа. Они действуют во что бы то ни стало, «с налету», без размышления, к которому они неспособны (не забудем, что речь идет об односторонних типах), не умея учитывать результатов своих действий. И точно так же, как у «вандалов», следствием является насилие над жизнью. В жизнь вторгаются их страсти, которые так же враждебны всей конкретности «живой жизни», как и сухой, односторонний разум. Этот тип — «варвары» или «дикари». Весьма вероятно — и на это встречаем намеки в «Письмах об эстетическом воспитании», - что Шиллеру при характеристике этих двух типов предносились образы его современности: французское рационалистическое просвещение 18 века, не понимавшее традиции, предания, сводившее всю жизнь чувства к эгоизму, отрицавшее моральное значение религии, да и вообще всего того, что нельзя «понять» и разумно обосновать, доказать. С другой стороны, источником для характеристики «дикарей», «варваров» послужили, вероятно, Шиллеру деятели французской революции: сама революция, по его мнению, была господством страстей, диких желаний и неразумных, но энергичных действий... Каков же выход? Какой тип человека нужно признать гармоническим, вущим и действующим в согласии с жизнью? Шиллер не останавливается на простом уравновешении сил разума и воли. Он ищет иного, нового, третьего принципа, способного быть основою адэкватного отношения к жизни. Этот третий принцип он видит (следуя неясным намекам Канта, который хотел вовсе не объединить, а разграничить сферы действия разума и воли) в «эстетике», в понимании жизни, как красоты. Эстетический тип человека и является типом гармоническим, эстетическое суждение о выводах разума смягчает сухость «вандала» и умеряет, упорядочивает безудержное буйство «варвара», дикаря. Эстетическое «благородство» выше морали. Красота является высшим принципом, на котором должен быть основан высший тип человека, соединяющий в себе положительные стороны всех человеческих типов, без недостатков. И поэтому Шиллер свое произведение, которое можно было бы назвать «Письма об идеальном человеке» называет «Письмами об эстетическом воспитании».

Эстетическое отношение к действительности, по мнению Шиллера, характеризуется примирительным духом, своеобразною легкостью, радостностью, весельем. Художественное творчество он себе представляет, как нечто родственное игре. Эта характеристика содержит в себе элементы утопии: мир, в котором господствовал бы эстетический тип человека, был бы миром «божественной идиллии» (по удачному выражению Куно Фишера).

Я, конечно, в своем изложении очень обеднил содержание этого замечательного произведения немецкой философии. В частности, надо еще отметить, что сфера красоты в понимании Шиллера приближается к религиозной. Прекрасное близко к святому и именно этот характер прекрасного в жизни, если его почувствует «вандал» (рационалист), откроет ему многостороннее богатство того, чего он не способен в жизни понять и оценить, а если почувствует это прекрасноесвященное в жизни варвар, дикарь, обуреваемый страстью, он отнесется к жизни с уважением и любовью, которые удержат его от безудержного служения своей страсти.

Именно этот мотив, звучащий и в поэтических произведениях Шиллера — отказ от чистого рационализма, отказ от чистого морализма (страсть, действие ведь относится к области «морального» в положительном или отрицательном смысле), именно этот мотив первенства, приоритета эстетики нашел многочисленные и иногда совершенно неожиданные отзвуки в русской литературе и мысли. Эти взгляды Шиллера принимали, с трудностями их боролись, их односторонность пытались дополнить, в частности более сильным подчеркиванием религиозных мотивов. И краткий обзор отзвуков этих идей Шиллера в России покажет нам всё значение Шиллера в истории русской мысли. Эти страницы духовной истории нашли себе отражение в особенности в русской литературе, которая вообще, а в 19 веке очень часто, является лучшим носителем и выразителем русской мысли.

4

Остановимся на влиянии эстетики Шиллера в России. Это влияние проявлялось в многообразном использовании в теоретических построениях или поэтических прозрениях русских мыслителей, писателей и поэтов — некоторых основных мыслей «Писем» Шиллера (отзвуки находили и другие трактаты и философские стихотворения Шиллера). Четыре основных мотива встречаются чаще всего:

- 1. Мысль о высшем призвании искусства, удовлетворяющего всем потребностям духа, служащего и познанию, и морали, и религии.
- 2. Идея синтеза, слияния идеалов добра, правды, святости в красоте; подчеркну: именно о слиянии этих сфер идет речь у шиллерианцев, в то время, как разные формы кантианства, позитивизма и других течений пытаются разграничить, четко разделить «сферы влияния» добра, правды, святости и красоты, при чем последней остается на долю по большей части весьма скромная по объему и значению «провинция духа».
- 3. Идея синтеза духовных сфер часто принимает форму требования «синтетической», иелостной культуры и «целостной личности» (в жизни которой не отсутствует эстетический элемент), как носителя культуры.
- 4. Представление о «смягчающей», примиряющей, успокаивающей роли красоты и художественного творчества. И больше: красота «спасает» или должна «спасти» человека, а то и весь мир².

Довольно наивное и частью соединенное с романтическими мотивами отражение эстетики Шиллера встретим уже у Жуковского, усиленно подчеркивающего высшее, в частности религиозное значение искусства, в особенности поэзии:

Поэзия єсть Бог в святых мечтах земли.... Поэзия — небесной религии сестра земная...

Но уже у Веневитинова — точная передача основной мысли «Писем» Шиллера:

Он дышет жаром красоты, в нем ум и сердце согласились.

Это именно характеристика «эстетического человека» по Шил-

² В русском шиллерианстве играло большую роль понятие «Die Schöne Seele», понятие в популярном шиллерианстве принявшее сентиментально-мечтательную окраску и подвергавшееся не раз резким нападкам (напр. в кружке Станкевича). Я оставлю это понятие здесь без внимания. — В этом параграфе я часто пользуюсь материалом из различных работ В. В. Зеньковского.

леру. Еще ближе подходит к Шиллеру и глубже его понимает кн. В. Ф. Одоевский, «spiritus movens» того кружка философствующих «архивных юношей», к которому принадлежал и Веневитинов. По мнению Одоевского «в эстетическом развитии человека символически и пророчески прообразуется будущая жизнь...». Одоевский имеет в виду не только «будущую жизнь» в небесах, но и идеальное будущее человеческого рода на земле. В этой будущей жизни человек достигнет «той цельности, которая была в Адаме до грехопадения». Это эстетическое возрождение человека или «восстановление» идеальной формы его бытия — формула «Писем» Шиллера. Это — «утопия» Одоевского: в искусстве он видит восстановление в человеке той духовной силы, которую человек «утратил благодаря развитию рассудочности»: «мы ищем причаститься в искусстве этой силе», «поэтическая стихия есть самая драгоценная сила души». Отзвуки этих же мыслей встретим и у Баратынского:

> Страстей порывы утихают, страстей нечистые мечты передо мной не затмевают законов вечной красоты...

И поэт желает дать миру ту гармонию, которую он познает в своем эстетическом восприятии:

И поэтического мира огромный очерк я узрел и жизни даровать, о лира! твое согласье захотел.

Или инпли словами:

Болящий дух врачует песнопенье, гармонии таинственная власть тяжелое искупит заблужденье и укротит бунтующую страсть.

Душа певца, согласно излитая, разрешена от всех своих скорбей; и чистоту поэзии, святая, и мир отдаст причастнице своей.

Но в кружке кн. Одоевского можем уже видеть одновременные отражения эстетики Шиллера и во многом созвучной с нею эстетики Шеллинга («Philosophie der Kunst» и System des transzendentalen Idealismus). И в первой поло-

вине 19 века мы не всегда можем решить к Шиллеру или к Шеллингу восходят отдельные мотивы русской мысли и поэзии.

Несомненно «шиллерианские» мотивы встречаем у Гоголя, в творчестве которого наряду с религиозными мотивами чрезвычайно сильны мотивы «эстетического утопизма» (В. Зеньковский). Ведь своими художественными произведениями он хочет возродить Россию: от постановки «Ревизора» он ожидает такого «возрождения». По временам он чувствует недостаточность эстетического принципа: трагедия «Невского проспекта» в конфликте красоты и зла, хотя красота как будто и должна «спасти мир» (позднейшая формула Достоевского), но красота (героиня рассказа) «брошена в бездну» какой-то «адской силой»... И еще в «Переписке» Гоголь видит и главную основу всей русской жизни и высшее ее проявление именно в русской поэзии. В «Переписке» — и его религиозно-эстетическая утопия с ее идеалом очень родственным шиллеровской «божественной идиллии». Именно искусству по мнению Гоголя «предстоят теперь другие дела», чем чистое художественное творчество, — искусство представляется Гоголю орудием борьбы за «царство Божие». И формулировка Гоголем своего идеала в этот период: «пропеть гимн верховной небесной Красоте» показывает, как глубоко эстетический мотив укоренился в его мировоззрении.

Шиллерианство К. Аксакова очень мало сказалось в его опубликованных произведениях. О нем мы знаем главным образом из его необширного стихотворного творчества и из переписки и воспоминаний о нем. Зато слияние «Правды» и «Красоты» (при чем «Правда» здесь и теоретическая и моральная, т. е. обе стороны шиллеровского противопоставления) очень ярко у остальных участников кружка Станкевича. Сам Станкевич писал в начале своего краткого философского пути: «искусство для меня делается Божеством», а в конце жизни: «искусство есть первая ступень познания Бога». Эстетический мотив проникает в оценку действительности даже у М. Бакунина (его протесты против «пошлости»), в общем типичного «вандала» по терминологии Шиллера. Но уже в чистом виде идеал слияния правды теоретической и практической в красоте встречаем у Грановского (в переписке), у Герцена (начиная с раннего периода до критики европейской культуры и эстетизма его поздних лет) и Огарева, а также в начальный период критической деятельности у Бе-

линского. Этот идеал не исчезает никогда из поля зрения Белинского, но только позже довольно непоследовательно соединяется с социальными мотивами и даже оттесняется ими на задний план.

И более поздний московский кружок Фета, Полонского и Аполлона Григорьева проходит через такое же увлечение идеями Шиллера. А. Григорьев не раз высказывал мысль о решающей роли художественного творчества в жизни человека и человечества: «Художество одно вносит в мир новое», оно — носитель «органического» (для Григорьева — положительного) начала в мире. Теоретическая правда сливается с прекрасным: «как скоро знание вызреет до жизненной полноты, оно стремится принять художественные формы». И религиозное переживание точно так же сливается у него с эстетическим.

Особый интерес представляет соединение идей Шиллера и Руссо в мировоззрении русских радикалов второй половины века. Вряд ли правы те, кто хочет видеть в эстетике Чернышевского мотивы эстетического утопизма. К так понимавшим Чернышевского принадлежат, впрочем, Вл. Соловьев и В. Зеньковский. Но фактом является преклонение Некрасова перед Шиллером, которого он знал, как кажется, поверхностно, в переводах. Мотивы шиллерианства яснее звучат у П. Лаврова в его идеале «целостной личности», и уже совершенно несомненны истоки некоторых основных идей Н. К. Михайловского в философии Шиллера. Шиллер, по мнению Михайловского «поставил вопрос величайшей важности» («Записки профана»), требуя «целостной правды», соединяющей истину, добро и красоту. Это, конечно, до некоторой степени произвольное истолкование мыслей «Писем» Шиллера. Но в сознании самого Михайловского именно эта поста-. новка вопроса приводит к идеалу «целостной личности», к требованию борьбы с «раздробленностью» личности в нашей современности. Положительное требование «полноты», «целостности и гармонии» связано с шиллерианством Михайловского. Идейно близкий Михайловскому Глеб Успенский нашел для оценки роли красоты в жизни человеческой личности парадоксальный образ русского учителя спасенного, «выпрямленного» эстетическим переживанием: при чем объектом эстетического созерцания была столь далекая от духовного мира русского интеллигента Венера Милосская! (рассказ «Выпрямила»).

Не менее значительна роль шиллерианских мотивов в мировоззрении стояших на другом полюсе мыслителей: представителей религиозной философии. Только с некоторой степенью вероятности можем говорить о влиянии Шиллера на К. Леонтьева. Но в статьях Вл. Соловьева по эстетике — несомненно восходящая к Шиллеру мысль о примате и религиозной роли эстетического в основной для Соловьева задаче «преобразования жизни». Это — вряд ли осознанное самим Соловьевым повторение представлений Одоевского о «будущей жизни». И нет ничего удивительного, что идеи эстетики Шиллера в различных преломлениях встречаются у позднейших мыслителей, так или иначе связанных с Соловьевым: у Н. Я. Грота, С. Л. Франка (страницы о красоте в «Непостижимом»), А. Ф. Лосева, В. В. Зеньковского. Отзвуки идей Шиллера — правда, часто в весьма произвольных и причудливых видоизменениях, и у вдохновленных Соловьевым поэтов: не только представители второго поколения символистов и в особенности близкий им Вячеслав Иванов с его видениями «божественных идиллий», но даже неразборчивый в подборе идеологических союзников Валерий Брюсов не раз обращались к эстетике Шиллера и заимствовали из нее то основные, то случайные мысли и мотивы.

Особенно интересным примером влияния Шиллера в России представляется однако творчество Ф. М. Достоевского.

5

Достоевский увлекся «Разбойниками» Шиллера в возрасте десяти лет, когда увидел пьесу Шиллера на московской сцене. Серьезное чтение Шиллера приходит в инженерной школе (1840). В переписке Достоевского с братом Михаилом главное место занимают имена Шиллера и Гофмана. Шиллера Достоевский, по собственному признанию, «вызубрил», «говорил его словами», имя Шиллера стало для него «волшебным звуком, вызывавшим столько мечтаний». Достоевский задумал издать «всего Шиллера» и, вероятно, на основе этих планов возникли переводы Мих. Мих. Достоевского («Разбойники», «Дон-Карлос», ряд стихотворений и трактат «О наивной и сентиментальной поэзии»). Вероятно и первые, несохранившиеся литературные опыты Достоевского связаны с Шиллером («Мария Стюарт», возможно что и «Борис Году-

нов» — ср. у Шиллера «Димитрия»)3. Как о «шиллерианце» о Достоевском вспоминают позже и его товарищи по школе. И позже он сам вспоминает об этой эпохе, как об эпохе шиллерианского «мечтательства». Даже в крепость брат передает ему для чтения «Историю тридцатилетней войны» Шиллера. Шиллерианцы-мечтатели мелькают в произведениях Достоевского позднейших лет («Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Подросток»). К ним Достоевский относится иронически. Но это отношение к шиллерианцам не распространяется на Шиллера самого! В 1861 г. Достоевский пишет в своем журнале «Время» примечание к статье Страхова, полемизировавшего против журнала «Век». «Век» писал, между прочим, «мы не очень ценим Шиллера». Страхов возражает против этой оценки, но Достоевского не удовлетворяют и возражения Страхова и он пишет: «Мы (т. е. русские) должны особенно ценить Шиллера, так как ему суждено было стать не только одним из великих немецких поэтов, но и одним из наших (русских) поэтов». И в том же году Достоевский пишет в одной из своих статей во «Времени»: «Да, Шиллер, действительно, вошел в кровь русского общества, особенно в прошедшем и запрошлом поколении», т. е. поколениях 50-х и 40-х годов. «Мы воспитывались на нем, он нам родной и во многом отразился на нашем развитии». Шиллер несколько раз упоминается Достоевским рядом с Шекспиром и Гёте. В «Дневнике Писателя» 1876 г. Достоевский снова возвращается к парадоксальной формуле «Шиллер — русский поэт». «Шиллер гораздо национальнее и гораздо роднее русским варварам, чем... во Франции... У нас он... в душу русскую всосался, клеймо на ней оставил, почти период в истории нашего развития обозначил». И еще за несколько месяцев до смерти в Пушкинской речи Достоевский говорит о «Шекспире-Сервантесе-Шиллере», как равных по величине писателях.

Несомненный отпечаток Шиллер наложил на «Братьев Карамазовых», последний и наиболее тщательно обработанный роман Достоевского. Достоевский перечитывал Шиллера, после выхода издания Гербеля (1857 и след. г.). Здесь он, вероятно, впервые прочел и философские произведения Шиллера, содержание которых ему, впрочем, должно было быть и ранее известно из вторых рук. К сожалению нет сведений

⁸ На это указал М. П. Алексеев.

о заметках Достоевского на сохранившемся экземпляре сочинений Шиллера из его библиотеки... Но это для анализа «Братьев Карамазовых» и не нужно.

«Братья Карамазовы» — дидактический роман: жанр давний в славянских литературах, начиная с переводов «Стефанита и Ихнилата», «Премудрого Акира» и «Варлаама и Иосафата» (11-13 вв.). В роман вкраплены бесчисленные теоретические рассуждения (ср. особенно главы о беседах старца Зосимы), «Легенда о великом инквизиторе» («великий инквизитор» — образ из «Дон Карлоса» Шиллера!). Затем в них — огромное количество литературных реминисценций: по именам названы (или приведены из них цитаты, известные каждому образованному русскому читателю) такие русские авторы: Тургенев, Языков, Некрасов, Тютчев, Лермонтов, Карамзин, А. Майков, Пушкин, Щедрин, Гоголь, Батюшков, Л. Толстой, Грибоедов, Державин, Белинский, Герцен, Огарев, Страхов и даже артист-рассказчик Горбунов; названы и иностранные писатели: Мицкевич, Вольтер, Шекспир, Гюго, Данте, Пирон, Буало, Гёте, Гейне и, конечно — Шиллер! Но если Пушкин упомянут шесть раз, Шекспир — пять, то Шиллер — тридцать два раза, не считая таких мест, в которых мы можем найти намеки на мысли Шиллера (таких мест, по моему подсчету, около десяти).

Упоминания имен у Достоевского не случайны: он вообще часто применяет «оркестральный» метод обработки той или другой темы в своих произведениях; это значит: важная для него тема (или имя) повторяется в речах отдельных героев и в замечаниях самого автора. С этой точки зрения можно рассмотреть большинство поздних произведений Достоевского, в частности отделить его мысли от мыслей его героев. К «оркестрованным» таким образом темам принадлежит и тема «Шиллер». Все Карамазовы так или иначе упоминают о Шиллере (кроме, конечно, Смердякова). Тема Шиллера связана с другой — темой высшего человека (и в суждениях Смердякова о «высшем человеке» есть кое-что от Шиллера!). Эта тема дана прежде всего в обозначении Алеши Карамазова «ангелом» или «херувимом»: два раза называет его ангелом и херувимом Федор Павлович - Алеши как херувима ничто не коснется... Это же подтверждает Иван: «ты земной ангел», Дмитрий: «ты мой херувим». И Дмитрий считает: «если Иван высший человек, то ты мой херувим»... «Может быть ты то и есть высший человек, а не Иван». Грушенька (сцена с «луковкой») называет Алешу «херувимом» (два раза). И г-жа Хохлакова восклицает «Вы поступили как ангел» (два раза), — чтобы это замечание не прошло незамеченным, Достоевский заставляет Лизу Хохлакову спросить Алешу: «За что это вы в ангелы попали?» и у матери: «как это он поступил как ангел?..»

Точно так же «оркестрована» и тема незаслуженных страданий в частности детей, о которой говорят Иван, Алеша, Дмитрий, «мальчики», Лиза и т. д.

Так же инструментована и тема «Шиллера»: начинается это с первой же книги романа. Федор Павлович при посещении старца Зосимы. представляет старцу своих детей: «это мой сын, плоть от плоти моея, любимейшая плоть моя! Это мой почтительнейший, так сказать, Карл Мор, а вот этот... Дмитрий Федорович, и против которого у вас управы ищу, — это уже непочтительнейший Франц Мор, — оба из «Разбойников» Шиллера, а я, я сам, в таком случае уже Regierender Graf von Moor». Это сравнение Федор Павлович снова повторяет при отъезде из монастыря: «Иван Федорович, мой почтительнейший Карл фон Мор» и цитирует: «поцелуй в губы и кинжал в серане как в 'Разбойниках' Шиллера»... Известны строфы Шиллера, вырывающиеся из уст возбужденного Дмитрия Федоровича: «Элевзинский праздник» и «К радости»... Строфы эти касаются существенных тем Шиллера: они касаются и философии истории (дикарь и культура), и проблемы красоты, и отношения к ней разных типов людей... Что эти цитаты из Шиллера не случайно употреблены Достоевским, это показывает сцена суда: прокурор отмечает, что Дмитрий, и даже все Карамазовы, «поклонники поэзии и Шиллера», а защитник возражает: «я бы не стал над этим смеяться», и пользуется шиллернанством Дмитрия Федоровича для его психологической характеристики говоря о его преклонении перед «прекрасным и высоким» («das Schöne und Erhabene»), это основная тема эстетики Шиллера в представлении русских писателей (ее встречаем напр. несколько раз у Лескова), хотя она и восходит к Канту. — И Иван не может обойтись без цитаты из Шиллера (из баллады «Перчатка»); ее «случайный» характер показывает, что для Достоевского здесь важна только «инструментация» темы «Шиллера» (цитируются слова без особого значения). Достоевский подчеркивает: и Иван «показал, что может читать Шиллера до заучиванья наизусть, чему Алеша раньше никак бы не поверил». Снова об этой

цитате из Шиллера напоминает г-жа Хохлакова: читатель не должен этого забывать! И позже, в начале «Легенды о великом инквизиторе» Иван начинает с цитаты из Шиллера — непосредственно связанной с содержанием «Легенды»:

Верь тому, что сердце скажет, Нет залогов от небес. Du musst glauben, du musst wagen, denn die Götter leihen kein Pfand...

(Цитата в немецких переводах «Братьев Карамазовых» обычно передается обратным переводом с русского).

И Алеша также читатель и почитатель Шиллера: в разговоре с мальчиками он развивает теорию искусства, как игры, — теорию Шиллера (позже у Спенсера), — конечно только для полноты картины «шиллерианской семьи».

Своеобразное сочетание «шиллерианства» и «русского характера» Карамазовых проходит, таким образом, через весь роман.

Важнее, конечно, те места, в которых цитаты или реминисценции из Шиллера теснее связаны с содержанием романа.

Это прежде всего речь защитника, в каком-то смысле представляющего тип просвещенца. В ней использованы и судебные речи Спасовича, и «Разбойники» Шиллера. Это рассуждение о значении слова «отец»; в рассуждение это вставлено и упоминание о Шиллере. Фетюкович построил свою речь на сомнении во всех обстоятельствах убийства, как будто бы ясных: не было денег, не было трабежа, да и «убийства не было» (так формулирует Достоевский в заглавии одной из глав мысль Фетюковича), а кроме того, Федора Павловича нельзя назвать «отиом». «Вид отца недостойного, особенно сравнительно с отцами другими, достойными... подсказывает юноше вопросы мучительные. Ему по казенному отвечают на эти вопросы: Он родил тебя и ты кровь его, а потому ты и должен любить его' Юноша невольно задумывается: 'Да разве он любил меня, когда рождал, спрашивает он,... разве для меня он родил меня: он не знал ни меня, ни даже пола моего в ту минуту, в жинуту страсти, может быть разпоряченной винон'...» — «Решим вопрос так, как предписывает разим и человеколюбие, а не так, как предписывают мистические понятия... Пусть сын станет перед отцом своим и осжыслению спросит его самого: Отец, скажи мне: для чего я должен любить тебя? Отец, докажи мне, что я должен любить тебя?'...». — «Если не докажет отец — конец тотчас же

этой семье: он не отец ему, а сын получает свободу и право впредь считать отца своего за чужого себе и даже врагом своим». — «Нет, убийство такого отца не может быть названо отцеубийством» (подчеркивания мои. Д. Ч.).

Достоевский особенно подчеркивает в словах Фетюковича противопоставление «мистических», священных прав отца и «разумную», «осмысленную» точку зрения, на которой стоит этот «прелюбодей мысли». «Настоящая... семья, не на предрассудке лишь мистическом утверждающаяся, а на основаниях разумных, самоотчетных и строго гуманных». Фетюкович — рационалист и «просвещенец», типичный представитель русского просвещенства, традиции «60-х годов». И как источник для этого места речи Фетюковича Достоевский взял очень сходные рассуждения у... Шиллера.

Конечно, это не мысли Шиллера самого, а одного из героев «Разбойников» — «просвещенца» 18-го века Франца фон Мора, оправдывавшего свое бессердечное отношение к отцу, запертому им в подземную темницу и оставшемуся в живых только благодаря одному из слуг, приносившему за-ключенному пищу. Франц (как и Дмитрий) потенциальный отцеубийца! У Шиллера Франц фон Мор в первом и четвертом действиях «Разбойников» рассуждает так: «Мне... прожужжали уши о так называемой 'кровной любви' — 'он твой отец, он дал тебе жизнь, ты его плоть и кровь и потому да будет он для тебя священен!'... Хотелось бы мне знать, зачем он меня произвел на свет? Ведь не из любви же ко мне... Знал ли он меня до того, как произвел меня на свет? Или задумал сотворить меня таким, каков я стал?... Где... тут священное? Разве в самом акте, через который я получил бытие? Как будто это было что-нибудь особенное, а не скотский процесс удовлетворения скотской похоти?...» (I, 1), и «На отца, который, может быть, за ужином выпил лишний бокал вина... нападает похоть — и из этого происходит человек... А человек был уж наверное последней вещью, о которой думали в продолжение этой геркулесовой работы... (и т. д.)». (IV, 2).

6

Рассуждение защитника приводит нас к вопросу о построении романа Достоевского и драмы Шиллера. У Шиллера оба героя, Карл и Франц фон Мор — два противоположных полюса идеологии 18-го века. Идеальный разбойник Карл повторяет мысли Руссо об идеальной природе естественного че-

ловека... Им владеют благородные чувства, но действительность, в которую он вступает, собрав свою шайку, ведет к тому, что и он сам и особенно его шайка руководятся только страстями, оказывающимися позорными, постыдными и совершенно отличными от благородных чувств «атамана». Собственно говоря, вся шайка как будто повторяет историю Дмитрия Карамазова — с «благородством» в глубине души и «неистовством» поступков... Франц — наоборот — представитель просвещенного интеллектуализма 18-го века: недаром в его уста вложено немало рассуждений Вольтера, в том числе из главы «О любви» из «Философского словаря», к этой главе восходят рассуждения Франца об «отце», которые мы цитировали выше. Иван — представитель просвещенства 19 века. Конечно, он не вольтерьянец (вольтеровские цитаты вложены в уста Федора Павловича, Миусова и даже Смердякова!)... Он — изобретенный Достоевским гениальный просвещенец, стоящий головою выше примитивных публицистов 60-х годов — Ткачевых и Зайцевых... Оба героя и у Шиллера и у Достоевского — дети одного и того же отца. И это не случайно. У Шиллера мы встречаем мысль о том, что всё существо человека «укреплено, может быть, в конце концов на чувственном стремлении». Оба типа людей, которых Шиллер гораздо ярче, чем в «Разбойниках», охарактеризовал в «Письмах об эстетическом воспитании» выросли, исходят из того же корня! А воплощением «чувственного стремления» в романе и является Федор Павлович Карамазов⁴.

Шиллер написал «Письма» позже «Разбойников», после прилежного изучения философии Канта. В них встречается, как мы видели, противопоставление двух людских типов, соответствующих Францу и Карлу фон Мор. На одной стороне люди с перевесом разума, интеллекта. Это «вандалы» без внимания проходящие мимо красоты, приносящие в жертву «принципам» интересы и устремления сердца. На другой стороне «варвары» или «дикари», в которых в беспорядке борются между собою страсти. Этим двум типам Иван и Дмитрий еще гораздо ближе, чем Францу и Карлу. Ум, интеллект при отсутствии «непосредственного» чувства у Ивана подчеркнут Достоевским десятки раз. И уже совершенно в стиле «варваров»

⁴ В контексте «Писем» совершенно ясно, что Шиллер под «чувственным стремлением» («Sinnlicher Trieb») разумеет прежде всего сексуальную сферу.

Шиллера изображен Дмитрий. Конечно у Достоевского было достаточно русских образцов перед глазами... Но он всё же заставляет Дмитрия восклицать шиллеровскими словами: «Дикари, дикари» (наброски), «порядка нет во мне, высшего порядка» (наброски). И обе цитаты из Шиллера, вплетенные в самопризнания Дмитрия, именно и подчеркивают такую характеристику и противоположность типов обоих братьев.

В «Письмах об эстетическом воспитании» Шиллера высшим типом человека является эстетический тип. В красоте примиряются противоположности «вандализма» и «варварства», вернее — уничтожаются их крайности. Достоевский ставит в «Братьях Карамазовых» проблему высшего человека: об этом говорится не раз прямыми словами (кое-что я уже цитировал). Но, конечно, для Достоевского высшим человеком является не «homo aestheticus», а «homo religiosus», т. е. Алеша. Не раз подчеркнуто понимание им тех бездн, в которые срываются Иван с одной, Дмитрий с другой стороны. Эти «бездны» ему не чужды, но преодолеваются в его религиозно-моральном сознании. Об этом прямо говорится почти во всех тех местах, где Алеша называется «ангелом», «херувимом»... И цитатой из Шиллера («К радости») раскрывает противопоставление «homo naturalis» (варвар) — «homo religiosus» Дмитрий:

Насекомым (у Шиллера — червь) сладострастье, ангел (у Шиллера — херувим) Богу предстоит.

Конечно, «homo religiosus» — и Зосима. В «Братьях Карамазовых» в ряде случаев встречаем несколько представителей одного и того же типа; так представители «просвещенства»: Иван, Смердяков, защитник Фетюкович, отчасти Ракитин и Миусов. Такой же параллелизм, как между этими «просвещенцами» и между двумя представителями типа «высшего человека»: Алешей и Зосимой.

7

Кроме темы высшего человека через всю сложную сюжетную ткань «Братьев Карамазовых» проходит еще ряд тем. Достоевский в окончательной обработке даже выбросил несколько тем намеченных в набросках, в том числе шиллеровские темы. Я коснусь только трех тем: проблемы «теодицеи»,

проблемы любви к ближнему и «философии природы» (исчезнувшей из текста окончательной обработки).

Проблема теодицеи, объяснение возможности зла в созданном Богом мире, сконцентрирована в рассуждениях Ивана и в его «Легенде о великом инквизиторе», начало которой украшено цитатой из Шиллера. Иван «бунтует» против Бога. «Гармония» за счет незаслуженных страданий людей, в частности страданий детей, «неотмщенных» страданий, заставляет Ивана отказаться от соучастия в купленной этой ценой «гармонии»: я спешу возвратить свой билет на вход — говорит он...: «Не Бога я не принимаю,... Я только билет... Ему почтительнейше возвращаю» — это почти цитата из стихотворения «Резигнация» («Отречение») Шиллера (тема «Якова Пасынкова» Тургенева! это же стихотворение считал одним из высших достижений Шиллера Л. Толстой):

И грамоту на вход к земному раю тебе нераспечатав возвращаю...

Тема теодицеи, которой затем и посвящена «Легенда о великом инквизиторе», одна из очень важных для Шиллера тем... Теодицея — «оправдание Бога», включившего в свой мир зло, была излюбленной темой боровшегося за и против веры 18 века, века просвещения. И никогда не было столько написано на эту тему, как именно в 18-м веке. Ответ Шиллера. может быть и не новый, был тот же, который стал в наши дни одной из излюбленных тем Бердяева: зло в мире возникает потому, что было две возможности, — человек мог быть создан свободным, но отсюда возникает возможность грехопадения, конфликтов человеческих моральных решений, возможность свободного выбора человеком пути против добра и следовательно возникновение зла. Мог быть создан человек и несвободным: мир оказался бы без человеческой свободы, был бы машиной, механической организацией — без зла, т. е. «фабрикой всеобщего счастья», но без свободы выбора и решения для отдельного человека. Без зла, но и без свободы! Это мир «великого инквизитора», — машина индивидуальной безответственности и всеобщего счастья. И эта тема: тема «Легенды о великом инквизиторе» была разработана Шиллером. Это тема «Дон Карлоса» Шиллера, произведения, которое так любили и русские политики, заметившие в нем только политику и не заметившие философии («Дон Карлос» был переведен на русский язык четырнадцать раз!): всё десятое явление четвертого действия: разговор маркиза Позы с королем Филиппом развивает тему «великого инквизитора»! Только на месте великого инквизитора (который тоже имеется как действущее лицо в этой драме Шиллера) стоит самодержавный король-католик. Вероятно, именно желая избежать политического истолкования своей «Легенды», Достоевский заменяет светского властителя духовным (образ которого, как сказано, уже намечен у Шиллера) и даже предостерегает устами Алеши, несомненно высказавшего мысли самого Достоевского, от смешения «идеологии» великого инквизитора с реальным католицизмом; Достоевский обвинял католицизм во многом, но не в этом!.. Весь этот длиннейший и на сцене обычно теряющийся диалог между маркизом Позой и королем Филиппом посвящен проблеме теодицеи. И центр мыслей Шиллера в словах маркиза Позы, аппелирующего от политики ко вселенной в целом:

...Окиньте взором эту чудесную природу! На свободе она основана — и как богата она в свободе. Он, великий Зодчий, червя в росинке терпит; Он дает и в самых мертвых капищах истленья великую свободу произволу. Вы же?.. как бедно, тесно дело ваших рук!.. ...Он из нежеланья повредить свободы усладительным явленьям, Он дозволяет лучше бушевать всем легионам страшных, горьких зол во всей вселенной — так что в ней Его, Художника, и не приметишь...

Через «Легенду о великом инквизиторе» эта шиллеровская, впрочем не Шиллером впервые высказанная, «теодицея» вошла в русскую мысль, — и читая Бердяева, мы и не думаем о том, что здесь мы слышим Шиллера, в современную русскую мысль принесенного Достоевским... Эта теодицея — не только у Бердяева, но и у Лосского, Розанова, С. Франка — да, пожалуй, у всех русских религиозных философов.

В «Братьях Карамазовых» Достоевский повторяет еще одну мысль, очень для него дорогую и очень важную и для Шиллера, именно в этом пункте отошедшего от своего путеводителя в философии — Канта. Этика Канта — этика долга. Моральную оценку, по мнению Канта, могут получить только

те поступки человека, которые основаны на сознательном преодолении человеком своих «склонностей». Эта мысль — моральные поступки всегда исходят из борьбы человека с самим собою — кажется на первый взгляд совершенно естественной. Но из нее Кант делает логически вытекающий из нее, но поражающий странностью вывод, что поступки, основанные на любви к ближним, не могут быть высоко оцениваемы с моральной точки зрения: ведь любовь к людям только «склонность», и человек действует из любви без сознания долга, просто потому, что склонность делать добро ближним принадлежит его «природе». Что моральные поступки всегда — преодоление природы человека, это русский читатель мог прочесть уже в «Изборнике» 1076 года, где требование милостыни. помощи бедным сопровождается требованием «преодолеть свою природу»! Но в этом пункте Шиллер не шел за Кантом — Шиллеру принадлежит ядовитая эпиграмма (переведенная между прочим Вл. Соловьевым) на это мнение Канта:

Моральное сомнение

Ближним охотно служу, но — увы! — имею к ним склонность, Вот и гложет вопрос, вправду ли нравственен я?

Ответ

Нет тут другого пути: старайся питать к ним презренье, И с отвращеньем в душе делай, что требует долг.

Эта мысль повторена в «Братьях Карамазовых» много раз. Начиная, уже в первой книге романа, со старца Зосимы все герои повторяют ее. Повторяет ее и Достоевский в «Дневнике писателя», тут это — упрек русским радикалам: их отношение к человеку — пренебрежение и презрение, но в сознании долга они полны «любви к человечеству», к человеку вообще, но не к «ближнему», не к конкретному человеку. Для (может быть и мнимого) «блаженства» человечества они готовы требовать голов сотен и тысяч отдельных людей (как предугадал Достоевский сущность большевистского террора!). Достоевский иронизирует над Некрасовым, которым движет «любовь к бурлаку вообще», при полном отсутствии любви к отдельным людям, конкретным «бурлакам». В «Братьях Карамазовых» Зосима передает слова одного «доктора», т. е. русского интеллигента; «он говорил... чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в частности, то-есть порознь, как отдельных лиц». «Чем более я ненавилел людей в частности, тем пламеннее становилась моя любовь к

человечеству вообще». Но ведь это проблема Карла Мора: благородный разбойник хочет улучшить моральный мир в целом, но его деятельность при отсутствии любви к отдельным людям только ухудшает положение этих отдельных людей, сеет горе и несчастье... В «Разбойниках» Шиллер еще не намекает на Канта; да и главные этические произведения Канта, «Критика практического разума» и «Основоположения к метафизике нравов», еще не были опубликованы в 1781 г. Спорит он против Канта в «Письмах об эстетическом воспитании». И Достоевский, очень возможно, свою полемику развил именно под влиянием знакомства с этим произведением...

Третья тема, несомненно связанная с Шиллером, — тема философии природы. Достоевский большинство своих мыслей на эту тему не включил в печатную редакцию «Братьев Карамазовых». Но мы знаем их из его сохранившихся набросков (так наз. «Urgestalt»). Комарович, издавший эти наброски, сближает мысли Достоевского с идеями московского библиотекаря-философа Н. Ф. Федорова. Сближения мало убедительны Между тем наброски Достоевского гораздо ближе к «философии природы» Шиллера: о ней Достоевский знал и из стихотворений Шиллера и из его «Философских писем», трактата, написанного в форме переписки двух друзей. «Философские письма» в русском переводе были напечатаны в издании Гербеля, которым пользовался Достоевский.

Человечество — единый организм, все люди — братья — повторяется в набросках Достоевского: это тема шиллеровского гимна «К радости», — слова хора в заключительной части 9-й симфонии Бетховена. Гимн этот был переведен уже

⁵ Иначе обстоит дело только с другой идеей Федорова — идеей «воскрешения мертвых». В набросках Достоевского есть несомненные намеки на знакомство с этими мыслями, но нет никакого материала для решения вопроса о том, сочувствовал ли Достоевский идеям Федорова или только хотел их использовать в устах кого-то из своих героев. А еще одна идея Федорова — план «всемирной выставки» — вызывала у Достоевского скорее инстинктивное отвращение, связанное с образами «муравейника», «вавилонской башни», «хрустального дворца» (в котором помещалась часть Лондонской всемирной выставки, которую посетил Достоевский). «Хрустальный дворец», «муравейник» и т. д. стали у Достоевского символами «социализма» и организации «всеобщего счастья» без свободы!

Карамзиным в 1794 г., а затем еще одиннадцать раз (в числе переводчиков Тютчев, К. Аксаков, Бенедиктов). Но характерно: Достоевский в набросках расширяет эту тему до «всеобщего братства *природы*»: жизнь — рай, человек окружен тайной божественной гармонии, всё соприкасается, связано друг с другом. А главное: «мы видим что-то общее в притяжении планет... И не только планеты нас притягивают», «От отдельного организма ко всеобщему организму» (наброски); и ряд таких же, несколько неясных замечаний, — что Достоевский, хотя бы отчасти, считал их своими мыслями, показывает, что и им дан некоторый отзвук в печатном издании: в речах Зосимы и в «оркестрально» разработанной теме «клейкие листочки» (природа), повторяющейся в речах отдельных героев «Братьев Карамазовых». Между тем — эти мысли, для которых нет конкретных соответствий у Федорова, повторяются в ряде трактатов и стихотворений Шиллера («Теософия» его «Философских писем»): род человеческий — организм, в котором отдельные люди плавают, как «капельки крови»... И особенно характерно сближение братства людей с миром планет, объединяемых силою тяготения: об этом говорит шиллеровская «Фантазия Лауре» (переведена шесть раз, впервые уже Н. Маркевичем в 1827 году, затем анонимом в «Московском Вестнике» 1831 г.; конечно вошла и в изд. Гербеля); здесь читаем:

Хором неизменным мировых планет управляет та же вековая сила (любовь) и как будто дети матери во след, так в орбите солнца движутся светила.

И лучей полдневных золотой поток с жадностью впивает каждая планета, пьет она из кубка пламени и света, как из мозга члены — животворный сок.

Солнечная искра ищет единенья с солнечною искрой, и со всех сторон, сферы гармонично приводя в движенье, на любви основан мировой закон.

Изгони ее из творчества природы и миры погибнут в тот же самый миг...

В мире бездыханном, там, где на свободе вихрятся пылинки, — всё приносит дань, всё любви подвластно, как в живой природе...

И в другом стихотворении («Дружба»):

Одно лишь колесо в движенье планетный мир, и мир мышленья, приводить должно собой.

Наконец, в гимне «К радости»:

Радость, первенец творенья, дщерь великая Отца... ... душа тобой согрета, пьет в лучах твоих любовь...

…У груди благой природы всё, что дышит, радость пьет! Все созданья, все народы за собой она влечет...

Травку выманила к свету, в солнцы хаос развила и в пространствах звездочету неподвластных разлила... (перевод Тютчева)

Как светил небесных строен в небе неизменный хор (перевод К. Аксакова)

(по немецки яснее: Sphären rollt sie in den Räumen).

Это только отдельные примеры!.. Шиллер повторяет эти мысли неоднократно. Стихотворение «К Лауре» Достоевский между прочим упоминает в «Дневнике писателя» 1873 г. противопоставляя его «полезной», «утилитарной» поэзии, как поэзию возвышающую и совершенствующую человека...

* * *

Так в тесном соприкосновении с идеями Шиллера («христианского писателя» по мнению Достоевского) развиваются мысли Достоевского в последнем, заключительном его произведении. Мне кажется, беглый взгляд на этот отдельный случай соприкосновения мира идей Шиллера с творчеством вели-

кого русского писателя лучше всего подтверждает парадоксальные утверждения Достоевского, что «Шиллер вошел в кровь русского общества», что он «почти обозначил» «период», «эпоху» русского духовного развития. Достоевский думал при этом о 40-х годах, о «шиллерианстве» своем и таких своих современников как Станкевич, К. Аксаков, Герцен, Огарев... Но и «Братья Карамазовы» — эпоха в русской литературе и русской мысли. И воздействие Достоевского на европейский Запад является отчасти возвращением Западу того идейного богатства, которое русское искусство слова и русская мысль получили от Запада. Воздействие Достоевского на европейскую литературу и мысль — отчасти и воздействие Шиллера.

Дм. Чижевский

**

Ни солнца розовый восход, Ни счастье, ни землетрясенье — Меня ничто не развлечет В минуты скуки и смиренья. Так минеральная вода Сама собой течет из рытвин — Я слышу сам в себе тогда Начало сладостной молитвы. К чему и для чего она? Я никогда не понимаю, И сладостного полусна Пустым вопросом не смущаю.

А. Величковский

ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ О ГОГОЛЕ

В то время как отношение к Пушкину по Писареву теперь уже совершенно немыслимо и может вызвать лишь чувство неловкости и недоумения, отношение к Гоголю по Белинскому — далеко еще не редкость и заграницей и, в особенности, в СССР, где Белинский объявлен «одним из величайших корифеев мировой науки», опередившим «эстетическую мысль Западной Европы его времени»¹.

Такое отношение к Гоголю кажется нам главной причиной неполного и одностороннего представления о его личности и творчестве, представления неверного и несправедливого. В частности, большинство читателей Гоголя совершенно игнорирует тот подход к нему, который нашел себе выражение в критических отзывах русских символистов в эпоху краткого

русского ренессанса «на рубеже двух столетий».

Целью моей работы о Гоголе в истолковании русских символистов², отрывок из которой приводится ниже, было исследовать одну из перестановок в русском Пантеоне, характерную для эпохи. Выбор пал на Гоголя, как наиболее загадочного и таинственного русского писателя и при жизни, и после смерти окруженного «вихрем недоразумений» (выражение самого Гоголя).

С истолкованием Гоголя символистами можно не соглашаться. Можно и даже нужно относиться к нему критически, принимая во внимание характерные черты этой литературной школы и черты эпохи, которой они были выразителями. Но, вдумываясь во всё то, что сказали символисты о Гоголе, трудно не признать, что они разглядели в нем многое, оставшееся чуждым и непонятным прежним поколениям, и внесли в изучение и оценку Гоголя значительный вклад. Этот вклад не только

¹ «Белинский и современность», передовая статья, *Новый Мир*, VI (1948), 6.

² Zoya Yurieff, "Gogol as Interpreted by the Russian Symbolists" (unpublished PH.D. dissertation, Dept. of Slavic Languages and Literatures, Radcliffe College, 1955) pp. iv + 336.

вызвал многочисленные отклики в научных работах о Гоголе последующих десятилетий и в новом духовном толковании его личности и творчества, но он может послужить и дальнейшей ступенью в познании Гоголя, которое еще далеко неисчерпано и, вероятно, неисчерпаемо.

* * *

Новое появление Гоголя в России произошло в начале нашего века, на гребне одной из тех волн, ритм которых определяет постоянную смену стилей в литературе и искусстве. Согласно т. н. «теории волн»⁸, романтизм, с которым связан Гоголь, и символизм, которому мы обязаны его новым появлением, близки друг другу по духу, мироощущению и целому ряду черт, характеризующих их как литературный стиль одного и того же типа.

Сродство символизма и романтизма было рано замечено современниками. Эпоху символизма называли иногда неоромантизмом (чаще на Западе, чем в России); Г. П. Федотов считал даже символизм «новым, более глубоким и в России даже первым изданием романтизма»⁴. И символизм, и романтизм начались с оппозиции «просвещенству», с «метафизической жажды» и «религиозного голода» (выражение Г. Флоровского), с желания найти утраченную целостность в восприятии жизни. И символизм, и романтизм хотели быть не только литературной или эстетической школой, но новой школой жизни, «жизненно-творческим методом» (выражение В. Ф. Ходасевича), который привел бы к разрешению всех противоречий, всех «проклятых вопросов». Мир воспринимался и символистами, и романтиками лишь как отражение другого, высшего бытия, действительность ценилась ими лишь постольку, поскольку она указывала на бесконечное или преломлялась в сознании поэта. И для романтиков, и для символистов «художественное изображение мира... было одновременно его пре-

³ Эта теория была развита швейцарским историком искусства Генрихом Вельффлином для стилей изобразительных искусств и применена к истории литературы швейцарским романистом Т. Шперри. В истории славянских литератур у нее есть такие серьєзные приверженцы как Ю. Кржижановский и Д. Чижевский.

⁴ Г. П. Федотов, «Борьба за искусство», Новый Град, Х (1935), 39.

ображением и богопознанием» 5. «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis» — великого вдохновителя немецких романтиков Гёте — было излюбленной формулой и цитатой и для русских символистов. Возможно, что у романтиков было больше веры в этот иной, божественный мир, чем у символистов, и что символизм вырождался порой в «тайнопись без тайн», по выражению Д. И. Чижевского. Но и среди символистов, как и среди романтиков, несомненно были настоящие «посвященные», кто не только верил, но и имел доступ в другие сферы бытия. «Ночная сторона души и мира», открытая немецкими романтиками, очень влекла к себе русских символистов. Недаром Тютчев, «поэт темного корня жизни» (выражение Владимира Соловьева) был вполне прочитан и оценен лишь в эпоху русского символизма и считается одним из его родоначальников.

Другим таким родоначальником стал для символистов Гоголь. Русские символисты впервые ощутили призрачность созданного Гоголем мира, населенного глазами и носами, мертвыми ведьмами и утопленницами, бурыми свиньями и лошадьми с розовой шерстью... Они почувствовали и оценили всё своеобразие его удивительного видения мира, его проникновение в иные миры. Они узнали в Гоголе своего предшественника, который не хуже, а подчас, может быть, и лучше их умел разлагать на мельчайшие части так называемую реальную действительность и смешивать их по закону-произволу всесильного тудожника. Тончайший узор гоголевской словесной ткани со всеми ее украшениями и хитросплетениями впервые предстал во всем совершенстве глазам этих мастеров и художников слова, поражая их невиданными замыслами и ослепительной расцветкой. Мало того: эта ткань превратилась в музыкальную симфонию для того, кто первый посмел применить к языку правила гармонии и контрапункта⁸.

К сожалению, я лишена возможности привести здесь разбор работ Андрея Белого, посвященных Гоголю. В частности, его замечательное исследование, «Мастерство Гоголя», появилось в СССР посмертно, в 1934 г., и не получило там надлежащего распространения, а за рубежом стало известно лишь специалистам и является библиографической редкостью. Я не коснусь здесь также статей о Гоголе В. Брюсова, Эллиса (Ко-

⁵ Г. П. Федотов, «Борьба за искусство», стр. 39.

⁶ В. Пяст, «Андрей Белый», *Книга о русских поэтах последнего десятилетия*, ред. М. Гофмана (СПБ-Москва, 1909), стр. 144.

былинского) и Б. Садовского. Не буду анализировать работ В. В. Розанова и Д. С. Мережковского, которые легли в основу кардинальной переоценки духовного и творческого облика Гоголя русскими символистами. Здесь я возьму только один отклик на творчество Гоголя — отклик Иннокентия Анненского, как очень интересную иллюстрацию суждений ∢писателей о писателях», создавших ценную традицию в истории русской литературной критики именно со времен символизма.

Анненский менее известен как критик, более — как поэт и переводчик Эврипида. Это вряд ли справедливо, так как критик он исключительно тонкий, проницательный и очень своеобразный, а потому с трудом поддающийся изложению. В критическом творчестве Анненского легко различить все черты, характерные для литературной критики символистов: субъективизм, т. е. вторжение личных тем в критические замечания о писателе (достигший крайнего выражения в писаниях В. В. Розанова), блестящее и тонкое словесное мастерство, заменившее «журнальный волапюк» (выражение Анненского) традиционной русской критики, «отраженность» чужого литературного творчества в собственных глубинах, живой и «творческий комментарий», то диалог, то монолог... Этот диалог и монолог сопровождается у Анненского присущей только ему одному поэтической дикцией. Эту дикцию Анненского учишься ценить лишь постепенно, стараясь следовать тому методу «симпатического» чтения, который так убедительно защищает автор в предисловии к своей «Книге отражений», где помещены его этюды о Гоголе.

Надо сказать, что этот метод дает у Анненского в применении к Гоголю прекрасные результаты, помогая ему создать ценные критические замечания на полях гоголевских произведений. Без всякой погони за эффектом, но и не без элементов игры, которую он ценил как художник, Анненский стремится проникнуть в сокровенную суть двух гоголевских произведений и в глубину творческих замыслов автора «Носа» и «Портрета».

Гоголевская новелла «Нос», вызвавшая столько толков при ее появлении и впоследствии, предстает в новом свете благодаря тому, что Анненский переносит наше внимание с майора Ковалева на Нос, считая его законным героем повести. Вся повесть представляется Анненскому историей мести Носа, обиженного грубым обращением с ним, своим обидчикам — цирюльнику Ивану Яковлевичу и потворствовавшему грубости

цирюльника майору Ковалеву. Месть Носа и восстановление им своей «законнейшей неприкосновенности» происходит путем ряда превращений, которые кажутся Анненскому очень поучительными.

Первое превращение можно было бы назвать «грубо-материалистическим» (хотя Анненский этого не делает). Это появление Носа в запеченном хлебе не только для того, чтобы уничтожить цирюльника в глазах его свирепой супруги, но и подвести его под действие закона для заслуженного (с точки зрения Носа...) наказания. Второе превращение Носа — самозванство с премедитацией. Он становится статским советником для того, чтобы терзать и без того больное самолюбие майора Ковалева, который напрасно старается доказать, что имеет какое-нибудь отношение к высшему чиновнику в шляпе с плюмажем. Во время третьего превращения, которое Анненский называет «мистическим», Нос является в то же время и носом, и чиновником — в зависимости от того, вооруженным или невооруженным очками глазом смотрит на него квартальный надзиратель. Блюститель порядка хочет не только выслужиться своей «гибкостью» перед начальством, но, по возможности, получить взятку от истца. Последнее превращение Носа — «литературное». Сенсация, которую вызвало исчезновение носа майора Ковалева в Петербурге, скоро теряет свою новизну. Свежесть сюжета грозит превратиться в штамп. Метаморфозы Носа закончены его полной победой над обидчиками. Конец этюда о «Носе» так характерен для стиля Анненского, что хочется его привести: «Если только представить себе этих двух людей, т. е. майора и цирюльника, которые, оглядываясь на пропасть, чуть было не поглотившую их существований, продолжают итти рука об руку. Куда? Зачем?.. Да и помимо этого, господа. Неужто правда прекрасна только, когда она возвращает Лиру его Корделию, и Корделии ее Лира?.. Разве, напротив, она не бесспорно прекраснее, когда она восстанавливает неприкосновенность, законнейшую неприкосновенность обиженному, независимо от его литературного ранга, пусть это будет существо самое ничтожное, самое мизерное, даже и не существо, а только нос майора Ковалева».

Самое характерное здесь для Анненского — это внезапный переход от литературно-критического синтеза к вопросам вечным — «куда? зачем?»... Субъективный стиль символистов позволял такие отступления. Этюд Анненского «Нос» едва ли не больше говорит нам о самом Анненском, чем о Гоголе... Он

— такое же художественное произведение как повесть Гоголя, произведение, написанное по всем правилам литературного искусства и проникнутое тончайшим юмором, который приближается к тому «высшему, но для нас уже недоступному «юмору творения» (курсив Анн.), о котором догадывается Анненский, как о возможном объяснении загадок бытия...

Юмор Анненского в какой-то мере созвучен юмору Гоголя. Интерпретация гоголевского «Носа» Анненским сообщает загадочной повести Гоголя новую прелесть. Это своего рода пример «остраннения» в литературной критике — совершенно новый взгляд на якобы давно известное и очевидное. Анненский не сразу придумал «Носу» такое объяснение. В своей ранней статье, посвященной этой же повести, которая мне, к сожалению, недоступна, он, по собственному признанию, «наговорил... весьма много различных слов о пошлости и юморе и разных других препоучительных и прелюбопытных литературных предметах». В «Книге отражений», на канве гоголевской повести, Анненский создал собственного литературного героя, наделил его чертами, которых нет в гоголевском оригинале, и даже миссией — защищать оскорбленное достоинство. Конечно, такая интерпретация отнюдь не может считаться обязательной. Она — очень интересный пример символистской критики, которая старалась вскрыть новые глубины в литературном произведении и заново осветить их.

Проблеме гоголевского юмора, которая, вероятно, особенно занимала Анненского, посвящен и второй этюд «Книги отражений» — «Портрет». Эта повесть представляется Анненскому очень значительной для понимания Гоголя, который очень полно себя в ней выразил. Ключом к повести кажется Анненскому то ощущение, которое вызывают глаза, изображенные на старинных портретах, приобщающие нас к забытому, таинственному миру. Глазам ростовщика Петромихали, написанным с большим мастерством недоставало того света, который отличает истинно-художественные произведения искусства и заставляет созерцающего их «участвовать в торжестве художника», в «победе духа над миром и я (курсив Анн.) над пе-я» (курс. Анн.).

Гоголь объяснял ужас, который вызывали глаза ростовщика, отвращением художника к своему сюжету. Он различал два рода подражания природе: рабское, слепое, без внутренней склонности к сюжету и — творческое, проникнутое любовью к сюжету и потому одухотворенное. Анненский полемизирует

с Гоголем. Он согласен различать лишь между более или менее искусным подражанием природе, поскольку живописец не располагает теми же средствами, которыми располагает природа, и должен воспроизводить то, что видит, путем ряда сложных претворений. Чувство, которое он при этом испытывает, всегда — любовь, так как «для живописца смотреть и значит любить, как для музыканта любить значит слушать». Гений не боится изображать всё, что бы ни представилось его художественному зрению. Если гоголевский иконописец, привыкший изображать светлых духов как безусловных победителей над духами тьмы, не мог совладать с силой выражения глаз натурщика для образа дьявола, грозившей затмить «наивно-торжествующие улыбки» ангелов, то это значит, что он не сумел разрешить эстетически задачу, которая ему предстояла.

Написав портрет ростовщика-Антихриста, иконописец спасается бегством в монастырь и там замаливает свой грех и очищается строгим подвижничеством. Только под конец жизни он создает свою «Мадонну Звезды».

Анненский не останавливается на том, что написал Гоголь. Он ищет разъяснения более глубокого смысла повести в жизни самого Гоголя, и в смерти его. Параллель между концом создателя проклятого портрета и смертью создателя «Мертвых Душ» проведена довольно убедительно. И Гоголь, как несчастный иконописец, убежал в аскетизм, не дописав картины, на которой неожиданно для создателя темные духи вышли живее и ярче духов света. Однако, Гоголю пришлось отказаться от создания своей «Мадонны Звезды» на земле, если он не оставил ее «и здесь, только в лазурных красках невозможного, которое не перестанет быть желанным и святым для всякого, кто научился, благодаря сробевшему и побежденному живописцу, смело смотреть на намалеванного им дьявола».

Не побоялся, а оседлал чорта и герой более раннего произведения Гоголя кузнец-живописец Вакула, в изображении которого чорт вызывал скорее отвращение, чем ужас. «Малевание» Вакулы было скоро забыто, а портрет азиата-Антихриста никак не мог быть уничтожен, несмотря на завещание художника. В «Портрете» Гоголь как бы напророчил свое собственное будущее, свой безрадостный конец, омраченный лицемерием и страхом. Гоголь испугался значительности своих созданий, понял, что никуда от них не уйдет, так как они часть его самого. «Эта пошлость своею возведенностью в перл созданья точно иссушила его душу, выпив из нее живительные соки», как говорит Анненский. Пошлостью в «Портрете» пользуется дьявол для того, чтобы уничтожить художника. Сцена между Чартковым, домохозяином и квартальным в «Портрете» кажется Анненскому верхом запечатленной пошлости. Только «сила художественного юмора», которой был одарен Гоголь, делала эту пошлость и пошлых героев, Плюшкиных, Хлестаковых и Маниловых привлекательными для читателя, как просветленные создания гения. Однако, отрицательные типы особенно дорого обходились Гоголю, так как заставляли его разочаровываться в самом себе и болезненно усложняли и без того мучительный процесс самопознания.

Так «Портрет» дает Анненскому повод высказать свои мысли об искусстве и творчестве, иногда полемизируя с Гоголем, иногда оригинально отражая его образы и мысли. В частности образ художника, нарисованный Гоголем в «Портрете» довольно существенно отличается от отображения его у Анненского. У Гоголя сказано, что «это был художник, каких мало, — одно из тех чуд, которых извергает из непочатого лона своего только одна Русь» — «...И внутреннее чувство, и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого». А у Анненского этот художник всего лишь «богомаз», в котором только во время работы над портретом ростовщика просыпается настоящий талант. Об этом переломе ничего не сказано у Гоголя. Наоборот, там художник под конец жизни осуждает роковой портрет следующими словами: «Это не было созданье искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства, не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем».

Анненский — «поэт всегда и во всем» том пишут не для зеркал и не для стоячих вод» в. Он сам ценил, а поэтому и отобразил в своих литературно-критических этюдах то сотворчество читателя с поэтом, о котором так мечтали и романтики, и символисты. Как критик-импрессионист он не претендовал на объективизм или на знание всех фактов, которое необходимо, например, историку литературы. Чуткость и тонкость восприятия Анненского, который улавливал каждое биение творческой мысли и старался проникнуть в сокровен-

⁷ В. Иванов, *Борозды и межи*, с. 296.

⁸ И. Анненский, Книга отражений I, с. 111.

ный смысл литературного произведения, вознаграждают за недостаток объективизма. Его этюды всегда возбуждают мысль и направляют ее на иные, неистоптанные пути. Простенькая, казалось бы, «повестушка» или «шутка» неожиданно приобретает новое измерение. В творческих комментариях к литературным произведениям, в эстетической полемике с их автором Анненский старается не только выявить самую глубокую их сущность, но попутно и подойти к решению того «постылого ребуса бытия» (выражение Анненского), который всю жизнь занимал его. Так, противопоставляя повесть «Нос», посвященную эмблеме телесности, повести «Портрет», посвященной глазам — эмблеме духовности — Анненский указывает на несообразность нашего человеческого духовно-телесного существа, в создании которого, быть может, заметен высший «юмор творения», недоступный нашему теперешнему пониманию.

В творческом комментарии к готолевскому «Носу» Анненского — пример синтетического подхода к литературному произведению, в критическом этюде, посвященном «Портрету» — дан анализ. И то, и другое очень хорошо, но при сравнении синтез кажется удачнее анализа. Однако, анализ дает больше для проникновения в глубины гоголевского произведения, а синтез больше говорит об Анненском, как художнике, чем о Гоголе.

Кроме двух этюдов в «Книге отражений» Анненский посвятил Гоголю еще одну статью, которая была напечатана посмертно в журнале «Аполлон» 9. В этой статье, тоже синтетической, Анненский старается проследить гоголевскую линию в русской литературе, считая исходной точкой этой линии поэму «Мертвые Души». Возникновение «Мертвых Душ» Анненский возводит к «восторгу дорожных созерцаний» Гоголя, которые обусловили также импрессионистическую манеру его письма. Для Анненского, как и для многих других русских писателей, начиная с Пушкина, «Мертвые Души» — тяжелая книга. В ней Гоголь низвел человека до «ранга вещи», наделив своих героев поразительной телесностью за счет их индивидуальности и духовности. Гоголевские герои разростаются бакенбардами (как Ноздрев), превращаются в одни брови (как прокурор) или в запах (как Петрушка), отражаются (как Собакевич) в избах и стульях, в еде и одежде. К ним трудно

⁹ Анненский, «Эстетика 'Мертвых Душ' и ее наследие», *Аполлон*, VIII (1911), с. 50-59.

предъявлять моральные требования, так как за их карикатурностью трудно разглядеть человеческую личность. За эту-то личность, за «сумеречную, неделимую, несообщаемую сущность каждого из нас» и вступается Анненский, который всегда жалеет человека. Анненскому жаль и Чичикова, который валяется в ногах у губернатора в своем новом фраке, жаль и «дубинноголовую» Коробочку, которую, быть может, «какойто страстный инстинкт тысячелетней веры возносит... из ее мотков и талек на такую чистую, такую заоблачную высь, что туда не посмеет заглянуть, пожалуй, и иной философ...» Жалость, сострадание — один из основных мотивов в творчестве Анненского, который, благодаря субъективному стилю, находит себе путь и в его критические опыты. Вячеслав Иванов считает жалость даже «стихией всей лирики и всего жизнечувствия» Анненского, которая делает его «глубоко русским поэтом».

Уже в анализе «Портрета» Анненский отметил особый талант Гоголя наделять пошлость привлекательностью и даже очарованием. Гоголь умел «творить бытие», «открывать жизнь, достойную божественного смеха, там, где другой глаз не увидел бы ничего кроме плесени...» 10 Может быть, объяснение этой замечательной способности лежит хотя бы частично, — в той «экстатической любви к бытию», которую отмечает Анненский у Гоголя. Секрет Гоголя и в его языке, которому он первый в русской литературе придал плоть и кровь.

«Что было бы с нашей литературой, если бы он один за всех нас (курсив Анненского) не окунул в бездоиную телесность (курсив Анненского) нашего столь еще робкого, то рассудительного, то жеманного, пусть даже осиянно воздушного Пушкинского слова».

Гоголевский гений глубоко запечатлелся в русской литературе. Особенно «Мертвые души» стали основной ценностью в наследии Гоголя. Оно перешло к Чехову и Достоевскому, к Островскому и Гончарову, к Толстому и Салтыкову-Щедрину. У Чехова мир Гоголя — «волшебно-чарующе-слитный... мир — имя: мир-Коробочка или мир-Собакевич» распался на детали, потерял свою целостность. Чехов уже не мог как Гоголь «творить бытие» (курсив Анненского), а мог лишь «делать литературу» (курсив Анненского). В творчестве Чехова отразился дух 80-х годов с их искусственностью и литературно-

¹⁰ Анненский, «Эстетика 'Мертвых Душ...'», стр. 57.

стью. И всё-таки к Чехову перешла часть наследия Гоголя, и Анненский называет его «писателем гоголевской школы».

Достоевский во многом опередил Гоголя. В противоположность Гоголю он заботился не только о человекоподобии (вместо «вещеподобия» как у Гоголя), но о богоподобии человека, подчеркивал это богоподобие, заставлял им умиляться.

Островский научился у Гоголя слушать язык Замоскворечья и вводить его в диалоги своих драм. Но смех его отличен от смеха Гоголя, так как он старается рассмешить зрителей, сам сохраняя серьезность.

И Гончаров утратил спонтанность и гениальность гоголевской выдумки. Его Обломов «жил века, он рос, он культивировался незаметными приращениями куста или дерева, для самого Гончарова даже Обломов долго прояснялся, пока не нашел его тот на диване, на Гороховой и опять с ячменем на правом глазу...»¹¹

Очень удачно противопоставление Гоголя и Толстого. «Жизнь у Гоголя не боится сверкать бессмыслицей анекдота. У Толстого же самое нелепое стечение обстоятельств выходит необходимым и исполненным природою по заказу Яснополянского мастера». Анненский определяет Толстого как «Гоголевскую эссенцию», как Гоголя без романтизма, окруженного не стихией юмора, а стихией иронии. Это включение Толстого в гоголевскую линию довольно неожиданно, так как Толстой считается «пушкинцем», особенно по языку, из которого прежде всего исходит новая критика. Анненский также имеет в виду прежде всего языковую сторону гоголевского наследия, когда говорит о Салтыкове-Щедрине, что у него «...обращалась в тряпицу... ткань гоголевского ковра»...

Наследником Гоголя Анненский считает и Писемского, несмотря на то, что он не сумел совладать со страстной эстетической его впечатлительностью и довел ее до «жуткой оголтелости». В творчестве современного Анненскому Арцыбашева он отмечает лишь тип Санина, как созвучный гоголевским героям по своей карикатурности и метафизичности. Подробнее останавливается Анненский на творчестве Сологуба, которого считает восприемником гоголевского чорта, особенно в «Мелком бесе». Сологуб усовершенствовал и отшлифовал гоголевских героев, которые родились «первым рождением» уже в

¹¹ Анненский, «Эстєтика 'Мертвых Душ...'», стр. 55.

«Мертвых Душах». И герои Куприна порой напоминают Анненскому создания Гоголя своей выпуклостью и тварностью и присутствием нечистой силы.

Странно, что Анненский не упоминает ни А. Белого, ни А. Ремизова, этих самых законных наследников гоголевской эстетики. В то время, когда Анненский писал свою статью они были оба начинающими писателями, но уже появились рассказы Ремизова, симфонии Белого и даже его роман «Серебряный Голубь». Возможно, что Анненский предполагал сказать о Белом и Ремизове в дальнейшей части этой своей незаконченной статьи. Последняя ее часть посвящена влиянию Гоголя на поэтов. Это влияние кажется Анненскому менее значительным, чем влияние Гоголя на прозаиков. Только Некрасов в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо» приблизился к Гоголю безмерностью своего эпоса и дал нам представление о том, какой необъятный мир «когда-то дерзко задумал воплотить, то есть ограничить собою (курсив Анненского) Гоголь». Однако, Анненский тут же отмечает разницу между приемами Гоголя и Некрасова и в экспрессии, и в композиции и объясняет ее даже различным происхождением обоих художников. О влиянии, какое оказал Гоголь на Маяковского, — быть может, самый разительный пример влияния прозы на поэзию — Анненский не мог, конечно, написать, ибо Маяковский был в то время еще неизвестен, но влияние это очевидно.

Несмотря на незаконченный характер статьи, Анневский дал в ней ряд блестящих формулировок. Вся она особенно полна того утонченного понимания и бесконечно усложненного восприятия малейшего оттенка мысли и эмоции, которые так характерны для Анненского как художника и как критика. Анненский устраивает Гоголю в своей статье настоящий «последний праздник золотого перебирания странии, жизни» (курсив Анненского), стараясь стереть образ «трагического Гоголя», сжегшего свои рукописи перед смертью.

Анненский вполне отдает себе отчет в многосторонности, многопланности и многоликости Гоголя. Он не решается поэтому охарактеризовать его или его творчество одним какимнибудь словом или причислить его к определенной литературной школе или группировке. Для него в Гоголе слились и «Гоголь-фантаст, и Гоголь-реалист, и Гоголь раздумья, и Гоголь смеха, и Гоголь-ястреб, и сантиментальный Гоголь». Анненскому дороже всего Гоголь, который любил и умел создавать

свои собственные миры, ограниченные лишь его гением, населять их «божественными карикатурами», рожденными его воображением, и наделять их неумирающей жизнью в ярком, звучном и полноценном слове. Анненский любил Гоголя, «безлюбого поэта» (выражение Вяч. Иванова) и хотя порою отталкивался от него, чаще влекся к нему, завороженный магической силой его гения.

Зоя Юрьева

Когда я вижу утренний восток, Всю медленность и торжество рассвета, За каплей капля, за глотком глоток, Моя душа огнем тоски согрета. Но не тоска! Пространство душу пьет. И жизнь моя мне кажется случайной, И ранит, как тяжелое копье, Существованья пустота и тайна.

А. Величковский

ДАВНО МИНУВШЕЕ*

САРАТОВСКАЯ МАРИИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ

Из гимназической жизни до 4-го класса как-то нечего даже вспомнить. Ходили, учили уроки, шалили. Стоит, пожалуй, отметить полное невнимание тогдашних педагогов к нашему физическому развитию. Когда я много позже наблюдала гимназии московские и петербургские — какая разница! Мы не только не имели в Саратове никакого понятия об экскурсиях, о гимнастике, но даже на обширный двор в большую перемену нас выпускали вовсе не за тем, чтобы мы размялись после душных классов. Напротив, следили больше за чинностью девичьего поведения. Так, нам очень хотелось сделать гору, чтобы кататься на салазках. Нельзя! «Вы не уличные мальчики». Может быть, теперешние короткие юбки на девушках и женщинах слишком коротки. Может быть, движения этих женщин нового времени иногда слишком размашисты и, действительно, напоминают мальчишеские ухватки. Но как всё это свободно, грациозно и, главное, укрепляет тело! А у нас уже с 4-го класса многие девушки носили корсеты, затягивались до дурноты и не смели на дворе гимназии показать детскую ловкость движений. Саратов того времени вовсе уж не был такой глушью, куда не доходили новые веяния. Веяний этих не было тогда и на верхах.

Не помню также, чтобы происходило какое-нибудь воспитание в области духовной. Обучение — да. Мы в гимназии всё-таки многому научились, а в старших классах — благодаря случайному подбору учителей — были разбужены даже и серьезные духовные интересы. Но о воспитании, патриотическом, религиозном или эстетическом, — никто тогда и не думал и никто никаких концепций нам не внушал. Когда я потом слышала, что школа твердо вбивает в души учеников три понятия — самодержавие, православие и народность, — я очень удивлялась: никто нам таких понятий не вбивал. Для вбивания каких бы то ни было элементов миросозерцания необходимо,

^{*}См. книги 43 и 44 «Нов. Журн.».

чтобы это миросозерцание было у самих педагогов, чтобы для проведения его в души учеников был самоотверженный пафос или просто искреннее желание сообщить, заразить чувством или идеей. Сколько помню, с нами таких миросозерцательных операций никто не производил. Когда я затем лично познакомилась с некоторыми учителями, — убедилась, что у них даже и в помине не было этой преданности самодержавию или православию. А когда какое-либо вредное «миросозерцание» влетало со стороны, гимназия была совершенно бессильна бороться с ним или же противопоставить ему что-нибудь свое. Впоследствии моему сыну пришлось учиться в швейцарской школе и в бельгийском колледже. Какая глубокая разница! Эти школы всеми корнями своими были тесно связаны, сплетены с национальными особенностями народа. Эти особенности они умышленно прививали, всячески охраняли, и каждый швейцарец или бельгиец с самого раннего детства знал, что он именно ивейцарец, бельгиец. Мы же росли без этого счастья живой связи с своей родной страной: всё сухо, формально, казенно, vчение ради учения, без воспитания души.

Таких вопросов, как связь с семьей, родительские комитеты, организация учащихся, — тогда не существовало вовсе. Родители вызывались в канцелярию или к «начальнице», где и получали сообщения или выговоры за своих детей. И только. Не помню также, чтобы сами родители особенно стремились соединиться со школой или как-нибудь совместно с ней вмешаться в воспитание своих детей. Да и многие ли родители понимали тогда, что детей можно воспитывать в каком-то определенном духе? Воспитываются, — сыты, чисты, приличные манеры, — что же еще? И что было за душой у самих родителей в смысле вот этого «миросозерцания»? Пожалуй, не ошибусь, если скажу: ничего, решительно ничего. Жили, хорошо или дурно, — вот и всё. Если и колыхались какие-то национальные или иные стремления, то, ведь, задевало это колыхание прямо ничтожную часть российского населения. Совсем недавно прочла в воспоминаниях Е. М. Феоктистова*, царского чиновника, — рассказ о Николае I. «Даже и патриотизм при Николае I следовало выражать не иначе, как по казенному шаблону. Правительство, несмотря на постигшие его невзгоды (Крымская кампания) оставалось верным самому се-

^{*} За кулисами политики и литературы. Изд. Прибой. 1929 г.

бе. Рассказывали, будто бы император спросил однажды графа А. Ф. Орлова, чем занята публика и на ответ, что повсюду только и думают и говорят о войне, заметил: — А им-то что за дело до этого?»

Вот именно! Что им за дело? Что за дело родителям до того, как гимназия воспитывает их детей, что за дело гражданам до войны, которую ведет он, император... Им то что? И вот, как живо помню это — что вам за дело?

2-го марта 1881 г. мы пришли в обычное время в гимназию и застали нашу классную даму, Марью Васильевну Громову, с заплаканными глазами. Я была тогда в 4-м классе.

- Дети, сегодня ученья не будет. Мы идем в собор. Становитесь попарно.
 - В собор? Зачем, Марья Васильевна?
 - Убили государя... Там будет панихида...

Не все из нас знали, что государь убит. Классную даму обступили:

- Убит? Кто убил? Как? Что такое? Расскажите, дорогая Марья Васильевна!
- Кто же может убить государя, кроме негодяев-нигилистов? сухо ответила Громова. Но вам, дети, совершенно не следует об этом рассуждать. Становитесь попарно и перестаньте болтать. Нужно молиться за упокой его невинной и прекрасной души...
 - Он был хороший, Марья Васильевна?
- Я вам сказала: вы еще слишком малы, чтобы обо всем этом рассуждать... Совсем это не ваше дело...

Молча, взволнованные, пошли в собор: там были в сборе все учебные заведения Саратова. Отстояли панихиду. Разошлись по домам. Никто ничего не объяснил. Никто не связал этого огромного факта российской действительности с естественным детским любопытством к нему. Но тогда зачем было водить на панихиду, зачем вся эта формалистическая церемония, если нет решительно никаких указаний на нашу связанность с этим убитым главой российского государства?

А какой пафос вспыхнул у коммунистов, когда было покушение на Ленина! Самым маленьким детям в школах и детских садах с невероятным воодушевлением рассказывалось, что сделал этот Ленин для них, вот для этих маленьких детей, какой он замечательный и как презренны те, кто смеет поднять на него руку! Но, ведь, и тогда, после убийства царя, любопытство не умерло. Стали искать ответов не у этих чурбанов, во главе воспитания поставленных, а в иных местах, где горел пафос, где оставались цели, где уловлялись души человеческие для определенного дела. Шопоты в классе на другой день после панихиды были насыщены событием.

- Есипова, а ты заметила, что наша нигилистка вчера в гимназии не была и на панихиду не ходила?
 - Какая нигилистка?
 - А Лена Ширяева! Не была... Это она нарочно.
 - Да ты-то почем знаешь, что она нигилистка?
- Мне брат сказал. Он хорошо знает: студент и в их кружке... И еще он сказал, что всех перебьют и больше никаких.
 - Koro всех?
- Ну, царей всех. Какая ты, Есипова, бестолковая... Ни о чем не думаешь...

О перебивании царей, о нигилистах я, действительно, до этого времени не думала. Когда классная дама сказала: убили негодяи, нигилисты, — в памяти промелькнул образ г-жиТ-ской, моей учительницы музыки, уехавшей в Самару с отцом. Но и только. Конкретно больше никого из них, из этих «нигилистов», не представляла себе и уж никак не представляла их круга деятельности и их воззрений. Когда потом от народовольцев приходилось слышать, что террор их имел главным образом пропагандистское значение, — могла в пример привести самое себя... Событие 1-го марта не только не забылось, не прошло мимо сознания, — нет, оно возбудило интерес, которого раньше не было.

Правда, сначала этот интерес был беспредметным и как будто вовсе не касающимся моей собственной жизни. Просто хотелось знать, кто и за что убил царя. И различные версии этого события почерпались из тех же девичьих уст, — ни к классной даме, ни к учителю истории, С. И. Кедрову, человеку очень образованному и нами любимому, обратиться уже не смели. Значительность в наших глазах приобрела лишь Елена Ширяева, сестра известных народовольцев Ивана и Степана Ширяевых, — наша первая ученица и «девушка из революционной семьи». Это была бледная, всегда печальная девушка, с огромными бледно-серыми глазами. Сколько помню ее, — она никогда не смеялась, не шалила с нами и почти не разговаривала. Иногда только объясняла непонявшим какое-либо ме-

сто учебы, решала задачу или исправляла еще до подачи учителю чье-либо сочинение. Делала она всё это очень охотно, как старшая, и мы уже привыкли к тому, что Ширяева «всегда и всё знает». Естественно, что и за объяснением этого события, — убийства царя, обращались к ней. Но как раз в этом случае удовлетворения не получилось. Елена отвечала неохотно, не высказывала никаких своих суждений и только была как-то болезненно-нервна.

- Боится... резюмировала моя подруга Муромская.
- Чего-же ей-то бояться? Ведь не она убила?..
- Недавно Елена мне сказала: как жаль, что нашей классной дамой состоит племянница жандармского полковника! говорит Муромская.
 - Марья Васильевна?
 - Ну, да. Она и живет у него, у полковника Гусева.

Опять новое сведение! До сих пор понятия не имела ни о каком полковнике Гусеве ни о том, что Марья Васильевна — его племянница и что это почему-то нехорошо.

- Ну так что же?
- Как что же? с апломбом говорит Муромская. Полковник обязан за всеми следить и всё замечать...
 - И за нами?
- И... за нами... уже менее уверенно говорила Муромская.
 - Значит, Марья Васильевна ему всё говорит?
 - Ну, конечно, говорит. Оттого Елена и молчит всегда.

Целое открытие! Елена — в какой-то таинственной рамке... Она знает не только всё то, что должны знать мы все, но и еще что-то, чего нет ни в гимназии, ни дома... Сама Елена, однако, упорно молчала и ни во что никого из нас не посвящала. О судьбе ее революционной семьи я узнала уже много позже.

* * *

Обыкновенно говорят, что старая школа дореволюционной России не давала никаких знаний, что всё, сообщаемое ученикам преподавателями, ложилось мертвым грузом в юные головы, не содействовало их умственному развитию, не будило духовных запросов и никак не было связано с жизнью. Думаю, что в такой абсолютной форме этого сказать нельзя. Некоторый запас знания в систематической последовательности ла-

вала и старая школа. Если же принять во внимание уровень познаний и развития тогдашнего общества, то придется отдать известную дань признательности и этой старой школе. Она не воспитывала, но знания всё же давала. И во всяком случае была выше — по уровню духовных интересов — той среды, из которой вливались в нее ее питомцы.

А кроме того много значила индивидуальность учителя и его отношение к делу. Добросовестный и развитой учитель мог и в старой школе сильно действовать на своих учеников в смысле их развития. Люди тупые не могли ничего сделать даже в смысле простого сообщения знаний. Мы семь лет учились в гимназии языкам. И ровно ничему не научились. Кто говорил в семье на каком-либо языке или имел в детстве гувернанток, тот еще что-нибудь выносил из уроков француженки мадемуазель Терре или поразительно тупого немца Нибурга. Остальные даже склонений и спряжений не усваивали. В чем проходили эти уроки, теперь даже и вспомнить трудно. Во всяком случае радостей познания иностранных языков они не приносили, а горя — много: на экзаменах никто не умел правильно перевести хотя бы небольшой абзац или написать под диктовку. Не желая из-за этих предметов застревать лишний год в классе или получать переэкзаменовку, ученицы просто бросали изучение языка на полдороге или даже за год, за два до окончания: не стоило тратить времени, к тому же и предметы были необязательными.

То же самое можно сказать об уроках Закона Божия. У нас был очень красивый и поразительно ленивый священник. И никогда мы не знали, чего он хочет. Конечно, о каком бы то ни было «религиозном внушении» не могло быть и речи. Вяло рассказывал историю ветхого и нового заветов, вяло спрашивал молитвы, тексты катехизиса и очень любил шутить. Шутки были грубы и вовсе не остроумны. Например, начнет упорно смотреть на какую-нибудь ученицу с гривкой. Тогда это была мода и в последнем классе из-за этих «гривок» вышла целая история. Правда, они, эти гривки, — спущенные на лоб подрезанные волосы, — были некрасивы и придавали лицу удивительно глупый вид. Смотрит батюшка на такую щетку из волос на лбу и, зевая, говорит:

— А, ведь, грешно, — ой, грешно!..

Девица пылает, смущается, а он всё смотрит.

— А, что же, в церковь ходите? В разные церкви? Видали вы когда-нибудь, чтобы Матерь Божия себе такую штуч-

ку глупую пристроила? Видали? Нет, не видали. Ни на одном образе сего нет. А ведь образ-то он — пример... Для всех верующих пример...

Наша классная дама очень смущалась всегда от таких выходок батюшки. К тому же и сама носила гривку...

В классе многие не удерживались — фырк, фырк... А в перемену — хохот, законное суждение: «а что если бы мы одевались по образам»? Кто-то скажет: «И с ребеночком»... Другие останавливали: «Перестаньте... Ну, глупый батюшка и всё тут. Образ-то Божьей Матери не модный журнал». Что можно было получить от такого человека в смысле религии? Да о религии и речи никогда не было. Батюшка был, кажется, и сам уверен, что нечего тут с религией делать. Очень часто он говорил:

— А дома-то, я чай, и крестом себя не осените. Всё так да так. Где уж там... Хоть молитвы-то заучите: архиерей на экзамене будет...

Говорят, в других, в особенности, столичных гимназиях, на уроках Закона Божия многих учеников заинтересовывала история церкви. В истории православной церкви были такие эпизоды подлинной борьбы за веру, что и тут серьезный учитель может сделать очень многое. Смутно помню, что по учебнику Рудакова мы историю церкви проходили. Но когда много лет спустя в бельгийском университете я слушала курс проф. де Роберти, — Историю религиозных учений, — в том числе и православия, мне казалось, что я обо всем этом слышу буквально первый раз: до такой степени испарилось из памяти преподавание нашего священника! А ведь история церкви проходится в старших классах, когда память гораздо более устойчива. Так же тупо, механически заучивали мы обрядность и богослужение. Вложить смысл в совершаемые обряды батюшке и в голову не приходило. Лишь бы знали, когда и где произносится «вонмем», «паки и паки»... Больше ничего не требовалось.

После убийства Александра II-го, в глухую ночь наступившей реакции, велено было подтянуть гимназии и в смысле охраны их от безбожия. Как же охраняли нас? А вот как: велено было приносить свидетельство о говении... Я очень хорошо помню, как оскорбило это приказание мою религиозную сестру. Она вспыхнула и заявила:

— Не принесу... Это стыдно... Я говею не для них. Для себя.

Все другие, нерелигиоэные, быстро приспособились: за 20-30 копеек дьячок церкви с удовольствием выдавал бумажку... Да и можно ли было проверить, кто исповедался, кто причащался? Одна мысль о такой полицейской регистрации вызвала бы протест у всякого умного и религиозного служителя церкви.

В гимназии мы каждое утро ходили на общую молитву; опаздывавших строго отчитывали и записывали в кондуиг, а присутствующие на молитве смотрели на это, как на формальность, за неисполнение которой «накажут». Едва ли кто-нибудь действительно молился. Думающие педагоги хорошо понимали всё неудобство такой формалистики в религии. И в 1905 г., правда, на короткое время, обязательность прихода на утреннюю молитву была отменена. В петербургских же и московских гимназиях никогда и не прибегали к получению бумаги о говении: там уже понимали весь вред подобного рода приемов для религиозных чувств, — более, чем какая-либо иная область духовной жизни нуждающихся в абсолютной свободе.

* * *

Три предмета — по счастливой случайности — вызывали наше восхищение, и им отдавали мы всё свое прилежание: история, физика и словесность. Словесность, впрочем, лишь на короткое время, — лишь во II (в 6-ом) классе. Теперь, вспоминая эти уроки, даже и не знаю, чем именно мы восхищались: самими ли предметами, или способами их преподавания, или же, наконец, учителями... По крайней мере в последнем классе замечалось даже какое-то институтское помешательство: одна часть учениц была «влюблена» в С. И. Кедрова, учителя истории, другая — в И. П. Ювеналиева, учителя физики. Любовь эта выражалась в «беганьи» за ними в коридор, во «встречах» где-нибудь на улице и, наконец, в созерцании их — с обожанием на лице — во время урока. Глупо это, должно быть, было. Однако, моя подруга М. не на шутку влюбилась в С. И. Кедрова. Она была летами старше нас всех и кончила гимназию лет 19-ти. Я была долгое время поверенной ее дум и чувств и знаю, как она изводилась, если ей хоть один день не удавалось «увидеть его». А так как ее обожание раздражало Кедрова, — он повел себя с ней весьма «отрывисто», как она выражалась. И эта неудачная гимназическая любовь стоила ей потом многих лет нервного расстройства и полной апатии во всех других делах.

Историю С. И. Кедров преподавал прекрасно. Он был хорошим оратором и мы исписывали за ним целые конспекты. Иногда, рисуя живыми красками какое-либо историческое событие, он говорил:

— Это не для экзамена, конечно. Так подробно не надо... Это я — попутно. А для себя вы почитайте то-то и то-то.

А мы так любили эти его «попутные» рассказы! Когда я весьма часто встречалась потом с ним по окончании гимназии, он жаловался:

— Преподавать историю в этой проклятой яме настоящая пытка! Я не смею нарисовать моим ученицам даже истинной картины освобождения крестьян или реформ 60 гг. Не могу ни слова сказать о тогдашних общественных настроениях... Об удельных князьях или временах Владимира Мономаха распинайся сколько душе угодно. Но о том, чем жило русское общество, какие битвы вело оно с правительством, чем вызывались, наконец, наши поражения и какие победы мы одерживали, — всё это под строжайшим запретом. Директор — дрожит, начальница — дрожит, на советах только и слышишь: «Сергей Иванович! Ради Бога, кратче. Сергей Иванович, кажется, вы их далеко заводите»... Разве это преподавание? Я однажды предложил устроить нечто вроде исторического семинария, где ученицы могли бы приучиться к самостоятельной работе над историческим материалом. И не рад, что предложил: начальница буквально в истерику впала... Глупые люди. Они не понимают, что на стороне этих самых учениц натаскивают уже на такие крайности суждений, которые мы могли бы парализовать развитием способности сколько-нибудь критически мыслить. Настоящие тупицы из допотопных канцелярий!

Но мы на его уроках наслаждались редкой в нашей гимназии живостью изложения, талантом красноречия и безусловным желанием передать в удачной форме истинный смысл исторического события. И так жаль всегда бывало, когда звонок возвещал, что урок окончен! Сергея Ивановича тотчас же обступали, закидывали вопросами, просьбами рекомендовать книгу для чтения, — к неудовольствию нашей классной дамы.

— Дети, разве можно так! — поджав губы говорила она. — Может быть, ему надо срочно выйти, а вы загораживаете дорогу... Как нехорошо!

Но нам было очень хорошо хоть минутку лишнюю побыть с этим живым и умным человеком. Да, индивидуальность учителя и любовь к своему предмету — огромный фактор в школь-

ной работе. Многие из нас именно через Сергея Ивановича нашли дорогу к самостоятельной умственной работе, к работе не ради экзамена. После его уроков мир начинал казаться таким необъятно-широким, а собственная персона — такой неогесанной и невежественной... А когда в последних классах откуда-то доползли до нас призывы к организации кружков самообразования, — с какой радостью откликнулись на них гимназистки: там, ведь, можно пойти в познании неясных очертаний мира еще много дальше, чем на гимназических уроках любимых учителей.

Другим будителем живой любви к знанию был учитель физики И. П. Ювеналиев. В молодости он был замешан в одном из бесчисленных тогда политических дел и был сослан на 5 лет в г. Кадников Вологодской губ. Но по складу своему он вовсе не был политиком. Его притягивала научная работа даже не в общественной области: он до страсти любил свое естествознание и его большое специальное исследование о сельскохозяйственном вредителе — гессенской мухе — обратило на себя внимание. Работа эта была издана и, быть может, именно такой научный труд заставил ведомство народного просвещения закрыть глаза на его политическое прошлое. Вернувшись из Кадникова в Саратов, он работал сначала в статистическом бюро, находившемся тогда при канцелярии губернатора, а затем получил место преподавателя физики и химии в нашей гимназии. В Саратове у него и его родных был дом, и это обстоятельство позволило ему поставить преподавание своих предметов совершенно иначе, чем оно стояло раньше: живя у родных, он тратил все свое жалование на приобретение всякого рода аппаратов и приборов для нашего физического кабинета. Гимназия располагала тогда столь скудными аскигновками на все такие «посторонние» учебнику затеи, что вклад И. П. Ювеналиева был далеко не лишним. Перевернул он и метод преподавания. До него просто заучивали полагающиеся для экзамена абзацы. Он поставил весьма широко преподавание с опытами. Не мог он осуществить лишь одну свою мечту, которая значительно позже была осуществлена всеми новыми, передовыми гимназиями: чтобы опыты не показывались нам, а чтобы мы сами владели приборами и способами анализа. Для этого в кабинете не было ни помещения, ни приборов в нужном количестве. Он лишь назначал по очереди «дежурных» помощниц и строго требовал от них умелого обращения с приборами его скромной лаборатории.

Эти уроки были любимыми нашими часами в гимназии. Не было случая, чтобы мы их оканчивали в срок. Всегда захватывали перемену, а иногда «заезжали» — как говорили товарки — в час другого учителя, за что и получали выговор от классной дамы. И вспоминая сейчас эти часы и то, что давали они нам в смысле знания и развития, опять повторяю: какое огромное значение имеет личность, индивидуальность преподавателя! Ученицы чувствовали, что И. П. Ювеналиев вкладывает в свое дело всю душу и ведет его с огромным напряжением. И так стыдно было не знать *ему* урока! Да и случалось это редко. Ему и С. И. Кедрову самые отсталые ученицы отвечали толково, с пониманием и очень огорчались, когда не удавалось что-нибудь понять.

Физика и химия были единственными предметами, дававшими какое-то представление о природоведении. Ботаника, биология, зоология проходились в крошечном объеме и исключительно по учебнику. В наши времена (80-е годы) полностью действовала «классическая система», созданная министром просвещения Д. А. Толстым. Система эта состояла вовсе не только в преподавании древних языков. Ее значение было много шире, цель ее определил сам Толстой. В 1871 г. им был внесен в Государственный Совет законопроект об изменениях устава гимназий и прогимназий, высочайше утвержденного в эпоху реформ (19 ноября 1864 г.). Министр признал ошибочными все прогрессивные мероприятия последних 25 лет. А прогрессивные начинания эти, как известно состояли в «приближении школы к потребностям жизни», — мечта передовых педагогов с давних пор. Толстой же предлагал полностью восстановить классическую систему воспитания и обучения, ибо «в приноровлении гимназического курса к практическим целям заключалась, если не единственная, то одна из важных причин так сильно охватившего юношество материализма».

Вот и мы учились «без практических целей», без опытов и естествознания, дабы «не впасть в материализм». Бедный министр не понимал, что если гимназия отказывается пустить к себе жизнь и ее требования, то жизнь эта ворвется в души молодого поколения другими путями. Так это и было. Никогда еще «внешкольное», по большей части тайное воспитание и обучение не делало таких успехов, как во времена действия реакционной системы Толстого. Тысячи кружков молодежи покрывали Россию и через эти кружки, но уже совершенно без вмешательства школы и ее педагогов, приобщалась молодежь и к «материализму», и к своеобразному идеализму той эпохи.

* * *

Старая система преподавания резко сказывалась на уроках словесности. Кажется, что может быть живее литературы? Полный простор для таланта преподавателя при ознакомлении учениц с духом родной литературы и при изучении творчества других народов. Но уж если в наших старых гимназиях было опасно естествознание, прививающее «материализм», то во сколько же раз опаснее была литература, да еще русская, внутренний пламень которой не могла загасить даже церберская бдительность цензуры. Ну, как, например, приобщать молодежь к гоголевскому периоду литературы, когда крамольный критик Белинский всё время твердил, что с Гоголя-то и начинается период натурализма в русской литературе. Лучше уж задержать молодежь на древностях... Слово о полку Игореве мы разбирали, поэтому, бесконечное количество времени. А Гоголя и Пушкина проходили «вкратце»; до Тургенева, Достоевского и Толстого так и не дошли. Нечего, конечно, и говорить о критиках-публицистах: Белинском, Писареве и Добролюбове — запретный плод! Всё это надо было получать где-то в другом месте, на стороне... В то время, как вне гимназии все зачитывались знаменитым романом Л. Н. Толстого «Война и Мир», — обсуждали его типы, его философию, мы в гимназии не смели об этом даже и пикнуть. «Князь Серебряный» А. Толстого еще допускался, — ведь эпоха Ивана Грозного! Но Лев Толстой, подпольные сочинения которого тогда уже ходили по рукам, гимназисткам доступен не был.

И вот на такую программу «вкратце», с исключением писателей и произведений, наиболее волнующих тогдашнее общество, попадает молодой учитель словесности Орлов. Я не знаю, откуда он тогда взялся в Саратове. Но в начале учебного года в предпоследнем классе к нам вошел человек необыкновенного вида. Он был не в виц-мундире и поразил прежде всего нас своей шевелюрой: длинные курчавые волосы, — «как у поэта», решили мы, — обрамляли очень бледное, нервное и неправильное лицо с прекрасными карими глазами. Нас он сразу же очаровал, завоевал. Не помню уж, придерживался ли он курса, но хорошо помню, как сразу же он ввел нас в лоно русской литературы совсем по-иному. Особенно много внимания уделял он Пушкину. Попутно, для определения трудностей, стоявших перед всяким русским писателем тогдашнего времени, он нарисовал и эпоху Николая Первого, и дружбу Пушкина с декабристами, — вообще ушел очень далеко от «хре-

стоматий». Уроки Орлова нас положительно захватили. Уходя из класса и находу отвечая на множество наших вопросов, он рекомендовал прочесть книги, — как потом говорила наша классная дама, — «написанные вовсе не для ведомства императрицы Марии»... Эту фразу она, впрочем, употребляла и раньше, — по поводу нашего «несоответствующего ведомству императрицы Марии поведения». Вскоре это несоответствие учителя словесности зашло весьма далеко. Он задал нам сочинение «Поэт и чернь», — разбор известного стихотворения Пушкина. Для того, чтобы ввести нас в круг идей поэта, отбрасывавшего «тупую чернь», «народ непосвященный» ради простора «для вдохновенья, для звуков сладких и молитв», -Орлов употребил не менее трех уроков... Наша классная дама сидела всегда на уроках Орлова безвыходно. А в эти три урока она совершенно не скрывала своего глубокого возмущения «недостойной проповедью в стенах такого ведомства»! Вся трепещущая, с лицом в красных пятнах, она несколько раз делала такие жесты, как будто хотела остановить, защитить нас от вредоносных идей молодого словесника. А он, вероятно, забыл — где он... На этот раз о Пушкине он говорил уже без восторженного поклонения... Он корил его за «презрение к страдающему народу» и приписывал это губительному влиянию на поэта придворно-крепостнической среды.

Когда он вышел с последнего из таких «разъяснительных уроков», бедная наша «родственница» жандармского полковника Гусева обратилась к нам с речью, надо сказать, весьма глупой:

— Дети, дети! Здесь какое-то недоразумение. В ведомстве императрицы учитель не должен говорить таких вещей... Вопервых, вы должны знать, что Пушкин сам был придворный и всегда писал для своего государя, а вовсе не для черни. Об этом рассказывает вся история жизни верного своему государю поэта. А, во-вторых, девушкам следует обращать свое внимание на поэтическую сторону стихотворения, а вовсе не на содержание...

Бедная наша Марья Васильевна в коллоквиумах была не сильна и сразу же запуталась... А с третьей скамьи на нее насмешливо смотрели прекрасные глаза Елены Ширяевой... Всегда молчаливая, какая-то холодная, она оживлялась на уроках Орлова — необычайно. Не вытерпела она и речи Громовой:

- Многие из декабристов тоже, ведь, были придворными... отчеканила она.
- Я бы вас попросила, г-жа Ширяева, о преступниках в классе не говорить... Если учитель... Если люди... И вдруг поток слез! Расплакалась классная дама от собственной ли беспомощности или от лютого страха за нашу порчу, плачет горько!

Молодежь — безжалостна. Особенно при созерцании слабости. Бедной Марье Васильевне не только не посочувствовали, но некоторые даже фыркнули: вот потеха, ревет из-за декабристов! Надо еще сказать, что во втором классе некоторые из нас были уже в нелегальных кружках (об этом особо), и проповедь Орлова падала на подготовленную почву. Сочинение «Поэт и чернь» заинтересовало и вызвало даже особую беседу в том кружке, где я состояла. А волнение и беспомощные разглагольствования Громовой только подливали масла в огонь. И мы принялись за эту тему с азартом; спорили, читали друг другу отрывки из написанного и, наконец, подали тетрадки Орлову... Я написала целых 70 страниц, Ширяева и М. тоже подали целые тетрадки. После этого прошло еще 2-3 урока словесности. Затем — финал, кажется, небывалый в истории гимназий. На урок Орлова вошел директор, чрезвычайно бледный и взволнованный. Он направился прямо к кафедре и что-то Орлову сказал. Тот также побледнел, быстро вскочил и, обратившись к нам, сказал:

— До свидания!

Затем они оба вышли. Урок не был окончен и классная дама предложила нам «заняться чем-нибудь самостоятельно». Лишь через несколько дней мы узнали, что произошло: Орлов был арестован тут же, в гимназии. А еще через несколько дней мы узнали, что все тетради с сочинениями «Поэт и чернь» отправлены саратовскому губернатору, состоявшему попечителем нашей гимназии. История разросталась... Это было весной 1884 г., как раз перед экзаменами. Я по обыкновению пропускала много уроков, — ведь это было за полгода до смерти матери. И вот в один из таких весенних дней, когда я только что откормила нищих и собиралась кормить мать, ко мне влетела кухарка нашей богадельни.

— Барышня, вас спрашивает какой-то господин...

Я двинулась в столовую и остолбенела: там стоял с портфелем наш учитель физики, Ив. Пет. Ювеналиев!

— Извините, мадемуазель Есипова, мне нужно сказать вам несколько слов...

Принять учителя мне было негде. В столовой шмыгали старухи, — комната проходная, — в нашей клетушке лежала больная мать... Я совершенно растерялась от неожиданного визита. Да ведь это был мой любимый учитель!

— Здесь... неудобно... Могу я вас просить в сад?

Мы вышли в сад... Он осматривался и — как все наши, правда, редкие посетители, спросил:

— Что это за учреждение?

Объяснила. И жду: что за цель его прихода?

— Должен предупредить вас, мадемуазель Есипова, о чрезвычайной неприятности, над вами нависшей... В совете поставлен вопрос об исключении трех учениц: вас, Ширяевой и мадемуазель Муромской.

Я молчала. Волнение мое не имело предела уже из-за одного этого визита.

— Скажите, что именно писали вы в сочинении «Поэт и чернь»? Нет ли у вас черновика?

Черновика у меня не было. Страшно волнуясь и снова увлекаясь темой, особенно после всех происшествий, с этим связанных, — я повторила то, что тогда написалось.

Ювеналиев пристально смотрел на меня и слушал.

— Мысли эти... — медленно произнес он, улыбаясь, — совсем не... гимназические! Откуда вы их взяли?

Я вспыхнула, обиделась...

— Я сочинений ни у кого не списываю... Очевидно, и мысли — мои собственные! — сухо ответила я.

А он продолжал ласково улыбаться...

- Не сердитесь... Видите ли... Губернатор нашел эти мысли преступными. И требует исключения. А кроме того, по отношению к вам есть особый повод: вы пропускаете больше законного числа уроков, и даже не губернатор, а сам совет ставит вопрос, как с вами быть...
- Пусть совет поступает, как ему угодно! Я изменить ничего не могу...
- Послушайте, мадемуазель Есипова, вы прекрасная ученица, у вас в совете могут быть заступники... Я, Сер. Ив. Кедров, Рассудов... Расскажите мне, в чем дело? Почему вы пропускаете уроки и никогда не приносите записок о болезни? Ведь в этом главное... Требование губернатора отвести легче и мы уже приняли к этому все меры. Но ваше поведение...

- Поведение? снова вспыхнула я.
- Нет, нет... Я говорю о пропусках... Что мешает вам посещать акуратно гимназию и нельзя ли это досадное обстоятельство устранить?

Я молчала. Мне не хотелось посвящать его в детали и обстоятельства моей жизни... Сад так по-весеннему благоухал, посещение любимого учителя было столь необычно... Лучше бы ни о чем не говорить... Но он ждал ответа и старался сам помочь мне:

— Вы, вероятно, очень заняты другой, не гимназической работой? Я бы не хотел быть навязчивым... Но нам, защитникам исключенных учениц, нужно иметь какое-то оружие против нападающих... К тому же часть учителей отстаивает в совете совершенно новый порядок: права экстернов. Если этот порядок будет введен и нам не удастся отстоять вас, вы можете держать экзамен в качестве экстерна... С работой по подготовке к экзамену расположенные к вам учителя помогли бы вам справиться... Завтра заседание совета... Я должен подготовить почву...

Рухнули какие-то перегородки. Вдруг таким близким стал этот человек. Легко и просто объяснила ему положение.

— Будем действовать... Теперь мы с вами заговорщики, — опять ласково улыбаясь сказал он. — А крамольных сочинений в гимназию подавать не стоит...

Благодаря этому весьма решительному вмешательству учителей «дело» постарались замять. Финал тем более удивительный, что в нашем классе «крамола» не затихала. Елена Ширяева повела агитацию: в знак протеста против ареста Орлова учинить своеобразную забастовку и не отвечать на уроках заменившему его директору Соколову. Сама она твердо выполнила это намерение: ее вызвал Соколов, она не отвечала, — стояла столбом и упорно смотрела в сторону. И всё-таки уцелела. Потом И. П. Ювеналиев объяснил мне тайну этого потворства: директор Соколов был до такой степени напуган происшествием с учителем словесности, что ни в каком случае не желал обнаружения последствий этого «скандала» в виде различных выходок «распропагандированных» гимназисток.

Этой же весной мы подверглись и еще одному риску. Орлов был выпущен из тюрьмы, и Громова дала нам специальное разъяснение: кто посетит «государственного преступника», тот немедленно вылетит из гимназии, а, может быть, и «хуже».

Это запрещение сделало еще более жгучими наши симпатии к опальному учителю и мы стали тайными посетителями его. Впрочем, эта нелегальная идиллия длилась недолго. Прежде всего сам хозяин видимо не знал, что ему делать с этими тремя поклонницами (нас было всего три из 40 учениц предпоследнего класса, которые решались на эти визиты). Говорить о политике он, очевидно, не хотел: девчонки. Говорил о литературе и о самообразовании. А нам хотелось знать, что же случилось, — почему он должен был оставить гимназию при столь необычайных условиях.. Но никто из нас не решился задать ему прямой вопрос. Жил он в крошечной комнатушке во дворе одного из домов на Армянской улице. Всё было бедно и как-то неуютно. Но говорил он, запустив правую руку в свою длинную шевелюру, очень интересно. Единственный намек на политику был в его отношении к Толстому. Ведь в эти годы в России, особенно в ее провинциальных городах, «свирепствовало» толстовство.

— Толстой — барич...

А мы, уже понюхавшие «декабристов», пытались ему возражать:

— Но ведь декабристы тоже были баричами? Разве не подвиг отречься от своих привилегий во имя какой-то высокой цели?

Но вот об этой-то «высокой цели» он и не хотел говорить. Сворачивал на мораль и на раздвоение души, вредное для Толстого, как художника.

Лично мне всё трудней и трудней было вырывать часдва для этих визитов. Сестру просила не отходить от матери. Она знала, куда я ухожу, и своим тихим проникновенным голосом просила меня:

- Катя... Не ходи туда... Не ходи, прошу тебя!
- Ты что? Тебе трудно посидеть с матерью? Я же сижу и дни, и даже ночи...
 - Ах, совсем не то, не то. Катя, прошу тебя не ходи...

Слезы уже капали из ее печальных глаз. А меня раздражали эти вечные и неожиданные препятствия для всякого моего желания. Что за жизнь! Только обязательства и ничего, ничего для души... Молча надевала шляпу и, несмотря на ее умоляющий взор, — убегала.

В один из вечеров наша тройка столкнулась, у калитки, — пришли все в одно время. Вошли во двор. Там расхаживал

какой-то субъект, а в окнах Орлова нет огня. Мы остановились...

- Что вам тут нужно, барышни? Кого вы ищете? Помолчав, осмелели:
- Мы вам мешаем гулять? Оставьте нас в покое!
- Вот именно: боюсь, что вас-то в покое не оставят... Если хотите слушать дружеский совет, уходите как можно скорее.. Я хозяин этого дома и знаю, куда вы идете. Уходите скорее... Орлов уехал и больше сюда не вернется.

Переглянувшись, мы поняли, что что-то снова случилось. Когда мы выходили (вернее вылетали!) из калитки, мы почти нос к носу столкнулись с полицейскими.... Один из них нес какой-то чемодан. Это было первое мимолетное столкновение с полицией. Мы все испугались и бросились бежать. Потом устыдились... Да что это такое? В чем мы, собственно, виноваты? Первой устыдилась Елена Ширяева. Твердым голосом она заявила:

— Подождите тут... Я посмотрю, что они делают и где же Орлов?

Однако, груз ее — из двух трусих — помешал ей осуществить благородное желание:

— Идем... Завтра узнаем, что с ним. Не ходи, Лена... Лена, ведь в окнах его было темно. Значит, его нет.

Это соображение остановило и ее. Однако, ни завтра, ни в последующие дни мы так и не узнали, где Орлов. Значительно позже Ширяева через какие-то свои таинственные связи узнала, что Орлов был выслан из Саратова. Куда, кем и почему был выслан, не удалось узнать и ей. Этот факт в тогдашней России не такой уже редкий, особенно во время реакции 80-х гг., для меня был совершенно новым. Он как-то ни с чем не связывался в моей жизни и вызвал лишь острое любопытство. А куда же делся наш учитель, что с ним? Иногда хотелось пройти мимо калитки дома на Армянской улице, но вскоре и это желание потухло: слишком важные события вползали в мою собственную жизнь.

* * *

Когда обсуждался инцидент с крамольным сочинением «Поэт и чернь», гимназический совет постановил: сделать строжайшее внушение ученицам, неправильно разработавшим эту тему и оставить их в гимназии. И второе: учениц, пропускающих большое число уроков и не приносящих записок

о причинах пропуска от родителей, исключить, предоставив им право держать экзамены экстернами. В таком положении не посещающих гимназию оказалась одна я. Моя сестра, Маня, горько плакала, узнав об этом решении. Зато я почти обрадовалась: было совершенно невыносимо нести мои домашние обязанности, ухаживать за матерью и «слыть» ученицей гимназии. Первым рассердился милый доктор наш, Шпаковский:

— Нелепое решение... Лучше хоть изредка посещать гимназию, чем вот так, — чувствовать себя отлученной и от подруг, и от учителей... Надо как-то организовать вашу подготовку к экзаменам... Нелепость!

Да, организовать подготовку было нужно заранее. Это было трудней всего. Как ни плохи были наши гимназии, они всё же приучали к какой-то дисциплине. В более взрослом возрасте эту дисциплину в работах устанавливает сам человек, заинтересованный в их успехах. Но как заставить работать молодежь, да еще в «науках» тогдашних гимназий, часто не возбуждающих никакого интереса? Одна из самых моих близких подруг, Муромская, обещала приходить ко мне и рассказывать, что было в гимназии и какие уроки надо было выучивать одной. Она была хорошей ученицей и могла толково объяснить мне, как следовать за курсом.

— Ты, Есипова, счастливая, ободряла она меня. Никто тебя не будет вызывать и спрашивать... Терпеть не могу эти вызовы...

И вдруг опять — появление...

— Барышня, вас спрашивают... Они — в столовой.

Я только что закуривала папироску для матери и в предыдущую ночь почти не спала: ночь была беспокойная. Выбежала в столовую и остолбенела: опять Ювеналиев со своим портфелем...

— Что с вами? Вы устали? — спросил он.

Заметил, что я едва держусь на ногах. А тут, как на грех, почему-то захотелось горько заплакать. Глотая слезы, — прошу сесть. Опять мимо шмыгают старухи. Просто невыносимо. Вот-вот разревусь...

- Я пришел спросить вас, как вам помочь.. Я и С. И. Кедров могли бы раз в неделю посещать вас и помочь вам в систематической подготовке к экзаменам...
 - Благодарю вас. Но это совершенно невозможно!
 - Но почему же?
 - Это невозможно! Сюда ходить нельзя...

— Но почему?

Он оглядывался в полном недоумении... Не заметил, быть может, что я жаждала его ухода: во всякую минуту могла появиться Кривская, — теперь она посещала богадельню часто, — и тогда... Тогда — допрос: кто, что, как я смею принимать мужчин. Ее замечания о моем поведении всегда были резки. Она ненавидела гимназию, — там ведь «ужасный сброд». И очень хотела, чтоб я больше ее не посещала. Вероятно, дошла до нее история с губернаторской ревизией наших сочинений...

— Нет, это невозможно! Сюда нельзя...

Пожав плечами, предложил другой план.

- Я мог бы предложил вам брать эти уроки у меня на дому. У меня есть и другие ученицы. К тому же я живу совсем близко от вас. О часах можно было бы условиться... Вы, кажется, близки с мадемуазель Муромской. Скажите ей, как лучше это устроить...
 - Благодарю, благодарю вас... Я обдумаю...

Я уже чувствовала себя почти в обмороке... Пожав мне руку, он вышел:

— Вы страшно бледны. Идите отдохнуть. И помните, что мы очень хотим помочь вам.

Наконец, он ушел. Я бросилась в свою комнату. Мать сидела на кровати и тяжело, с хрипом дышала:

— Катенька, куда это ты всё ходишь! Катенька, дурно мне... Так тошно!

Когда вечером пришла Муромская, я рассказала ей о посещении Ювеналиева.

- Ох, и счастливая же ты, Есипова!.. Если бы пришел ко мне мой драгоценный Кедров! Умерла бы от счастья... Муромская не на шутку была влюблена в Кедрова. Она очень страдала, когда не было его уроков, и всё выбегала в коридор, чтобы встретить его, выходящего из другого класса... Но она была рассудительна и, подумав, объявила:
- Нет, Есипова, ни ему сюда, ни тебе к нему нельзя. Скандальчик получится большущий... Уже очень ты в паутине сидишь. Ни туда, ни сюда! Ну, подумаем!

Когда я обдумывала создавшееся положение, я как-то особенно ясно почувствовала, что я, действительно, в паутине. Почему-то соединила паука с Кривской... И вдруг вспомнила милую заботницу о семье нашей, г-жу Городысскую. Да, да, вот с кем надо посоветоваться! На другой же день, посадив сестру с матерью, пошла к ней. Добрая женщина всегда

встречала меня с лаской. Мать она посещала редко: как-то не о чем им было говорить. Но всегда присылала для нее белый хлеб, папиросы и фрукты.

- Что с тобой, Катюша? Бледна ты очень. Хоть бы скорее всё это кончилось...
 - Что кончилось? с испугом спросила я.
- Да вот, чтобы мама твоя выздоровела... Ну, рассказывай. Нехорошо вышло с твоей гимназией: бумажка тебе очень нужна, помни это! Без аттестата теперь никуда!

Когда я рассказала ей в чем дело, она заявила:

— Ничего нет легче устроить это. Пусть приходят ко мне; буду рада и сама послушать уроки, — засмеялась она. И уроки начались. Каждую неделю приходили в назначенные часы наши учителя. Муромская напросилась присутствовать на двух уроках и уж тогда не сводила глаз со своего любимца. Городысская всегда присутствовала тут-же и угощала всех нас чаем с вареньем. Трудней всего было с математикой. Я ее ненавидела и затруднялась решать самые простые задачи из учебника Евтушевского. Эти «частные» уроки проходили неизмеримо интереснее, чем в гимназии. Не знаю был ли это вполне гимназический курс. Но хорошо помню, что после урока историка Кедрова мне страшно хотелось еще подробнее осветить тот или иной исторический факт. Могу прямо сказать, что любовь к истории пробудил во мне именно он. И потому, развиваясь самостоятельно, я всегда углублялась в изучение истории. Физика меня интересовала меньше. Иногда мне стыдно было признаться, что я плохо понимаю «суть тех физических явлений», о которых с большим увлечением рассказывал Ювеналиев. И вот теперь, в старости, не покидает меня какая-то особая благодарность к этим двум людям. Это они разбудили во мне тот умственный интерес к явлениям мира, который сопровождал потом всю мою жизнь.

Когда умерла моя мать, я стала как-то еще внимательнее воспринимать всё то, что старались внушить мне мои дорогие учителя. А дома все свободные минуты отдавала освоению — уже по учебникам — этой гимназической программы. Весной — вместе с моими подругами по классу — я держала экзамены в качестве экстерна. Получила аттестат поистине блестящий: 12 по всем предметам. Саратовская гимназия работала по 12-бальной системе. Грустно было расставаться с этими партами, коридорами и даже с нашей классной дамой,

- М. В. Громовой. Она подошла ко мне после последнего экзамена и наставительно сказала:
- Поздравляю вас, Есипова, с благополучным окончанием нашей прекрасной гимназии. Никак не ожидала, что вы исправитесь от ваших заблуждений. Теперь вам нужно отслужить молебен и просить милосердного Господа Бога, чтобы Он направил вашу жизнь по достойному пути! А главное укротил бы вашу строптивость: к девушке это не идет!

Я поблагодарила эту хранительницу добрых устоев — в смешной бархатке в жиденьких волосах и туго затянутую в корсет — и бросилась догонять моих подруг. На лестнице стоял мой учитель, Ювеналиев... А ведь именно ему я обязана этим окончанием «прекрасной гимназии».

— Очень рад за вас. Всё прошло хорошо. Но г-жа Городысская хочет отпраздновать вашу победу. Она вам скажет, когда мы там еще увидимся...

Я едва успела поблагодарить его: Муромская уже тащила меня за руку вниз. По этой знакомой лестнице я спускалась в последний раз: гимназический этап был пройден. Но наши пути с моим спасителем, И. П. Ювеналиевым, вскоре же скрестились. И как!

В НОВУЮ ЖИЗНЬ

После смерти матери, по желанию В. А. Кривской, я осталась «начальницей» нашего странного учреждения. Казалось бы, ничто не изменилось: последние месяцы мать была так тяжело больна, что не могла уже ни во что вмешиваться. И всё же кое-что изменилось. Прежде всего расстроились отношения с комнатой гимназисток. Теперь мои замечания о том, что плохо убрана чья-нибудь кровать или плохо подметена комната, встречались насмешками:

— Извините, г-жа начальница... Ваше превосходитель-

Сначала я не обращала на это внимания, быстро уходила из комнаты. Потом это стало меня раздражать, — не всегда и эти замечания приводили к цели. А так как Кривская стала приезжать всё чаще и чаще, то неисполнительность «подчиненных» мне людей отражалась на мне же. Охотнее всего подчинялась мне кухня. Там персонал уже привык к тому, что их контролировала и всё записывала «барышня». Непонятнее всего была мне какая-то агрессивность гимназисток. Во время

большевизма всегда удивлялась, как комсомольцы слушались своих «вожатых». А ведь эти вожатые были иногда их ровесниками. А тут — еще вчера совсем дружеские отношения — вдруг испортились от этого невольного приятия роли распорядительницы. Очень болезненно переживала тогда я эту перемену.

Изменились и мои отношения с сестрой. Она была в гимназии двумя классами моложе меня. В сумбурной жизни моей я как-то не замечала эту тихую, всегда задумчивую фигурку. Да ведь и в нормальной семье часто сестры живут вместе, не замечая друг друга. Маленькая для своего возраста, стройная девочка, как две капли воды похожая на отца, с длинными иссиня-черными косами, спускавшимися по плечам и всегда туго заплетенными, она всегда тихо сидела в своем уголке и всегда что-нибудь делала: шила, вязала, читала или учила уроки. Из-за болезни матери давно уже перестала играть на своей гармонике и петь. Прекратились и наши театральные представления. Всё чаще и чаще она стала исчезать в церковь. Было у нее и еще занятие. Старухи естественно хворали. «Меньшая барышня» была их фельдшерицей. Маленькими ручками своими она массировала им ноги, руки, спины. Иногда прибегала к камфорному маслу, — лечение ревматизмов тогда распространенное. Они ей жаловались на боли и она как-то умела их успокаивать. А когда кто-нибудь из них умирал, она была просто не по-детски внимательна к «усопшей». Я попрежнему — если уж не боялась, то не любила подходить к этим холодным старушечьим телам. Была у нас в коридоре крошечная комнатка: покойницкая. Туда и клали до отпевания усопших. Когда умерла моя мать, ее положили в столовой, из церкви принесли подсвечники, покрывало, как тогда полагалось. У старушек ничего этого не было. И вот сестра соорудила из табуреток к изголовью подставку, покрыла ее белым полотенцем и в маленьких подсвечниках зажигала восковые свечи. По очереди с грамотными старухами читала псалтырь даже по ночам... А когда я ее отрывала от этого ночного бдения — завтра ведь итти в гимназию! — она тихо говорила:

— Катя... Позволь мне... Она такая одинокая...

И умоляюще смотрела на меня... Как сейчас вижу это личико, чем-то неземным одухотворенное.

После смерти матери стало как-то невыносимо жить... Невольно завязывались разговоры с сестрой. Чтобы хоть когданибудь подышать свежим воздухом, мы уходили на Волгу —

обе любили ее страстно. Дом находился на горке и можно было быстро спуститься прямо к воде. Летом, в невыносимую саратовскую жару, мы бегали туда раза по три в день купаться. Обе научились прекрасно плавать. А мать всегда беспокоилась и на своем особом наречии предупреждала:

— Катенька, опять купаться! Если утонете, не извольте уж приходить ко мне... Слышите?

Мы слышали, но с наслаждением бросались в воду, часто загрязненную керосином, и тонуть не собирались. Весной любимая река наша доставляла нам другое удовольствие: ломку льда. Кто жил на Волге, тот знает что это такое. Еще нет полного половодья, — вдруг раздается треск. Его слышно даже на дальних улицах и все знают: ломается лед. А зрелище, когда поплывут эти треснувшие, огромные льдины, - незабываемое! Когда мне один раз пришлось переходить Mer de Grace в Chamonix, я вспомнила Волгу и ее половодье... Те же огромные льдины, иногда с шумом ползущие одна на другую, но какая разница окружающей обстановки! Грозный горный ледник и не менее грозные льдины — в равнине, такой спокойной, но необъятной по пространству. В эту весну, когда я готовилась держать экзамены экстерном, мы с сестрой, услышав ночью этот знакомый треск, пошли на другой же день на берег. Зрелище это так притягивает, что берег всегда занят толпой: смотрят, не отрываясь, на плывущие льдины. На берегу всегда полиция: есть смельчаки, сбегающие на льдины и плывущие на них. Это запрещено, было не мало несчастий, и всё-таки! Крики толпы не останавливают. Вдруг на плывущей льдине — фигура! Свистки полицейских — и крики, крики! А храбрец красуется, доволен переполохом!

Стоим, следим и мы.

- Вот так и мы, говорю: плывем, неизвестно куда...
- Нет, замечает сестра, Богу всегда известно, куда мы плывем... Надо только хорошо выбрать эту Божью дорогу...

И опять это вдохновенное личико! А ведь ей всего 13 лет. Откуда это? В нашей безбожной семье...

- Но ведь трудно, Манюша, выбрать дорогу, когда совсем не знаешь, чего же хочет от нас твой Бог.
 - Бог не мой, Катя... Он у всех и для всех...
 - Это тебе сказал батюшка в классе?
 - О, нет! Это я знаю сама.

Забегая вперед скажу, что свою дорогу она выбрала. Окончив Рождественские курсы в Петербурге, она сразу же

взяла место фельдшерицы на Сормовском заводе в Нижнем-Новгороде, где мы, ссыльные, вели пропаганду среди рабочих. Приходилось и ее замешивать в передачу прокламаций: рабочие очень ее любили. Через некоторое время она стала протестовать: ей не нравилась ни философия социал-демократии, ни содержание пропаганды. Несмотря на мои протесты, она стала хлопотать о месте фельдшерицы в деревне. Земства тогда изнемогали от борьбы с дифтеритом, дизентерией и часто даже с холерой (1890-93 гг.). В деревню медицинский персонал шел неохотно. Сестра и выбрала эту «Божью дорогу». Она взяла место в самом очаге дифтерита: Балашевский уезд Саратовской губернии. Работала там без всякой сыворотки, ее тогда еще не было. Отрывала детей от смерти смазыванием горла сулемой, — тогдашнее лечение! Заразилась сама и через три дня умерла. Уездное балашевское земство поставило ей в городе памятник. Точного текста надписи на нем не помню — приблизительно так: «Марии Есиповой, — фельдшерице Рождественских курсов, — самоотверженному борцу с народным бедствием». И вспоминала ее детские слова: Божья дорога... Приезжие из Балашова уже после октябрьской революции говорили мне, что памятник этот был цел. Хотелось бы видеть его теперь... И вот эта душа, какая-то не от мира сего, стала мне особенно близка в те далекие годы нашей жуткой юности. Иногда в нашей комнатке, где уже не было слышно ни хрипов, ни стонов матери, мы подолгу говорили в часы ночные. О чем? Обо всем, что тяготило нас в судьбе нашей. Обе мы понятия не имели, как же она сложится, судьба-то наша. И обе с недоверием и острой нелюбовью стали относиться к нашей «покровительнице», Кривской. Чем ближе к концу подвигались экзамены, тем настойчивее просила я найти мне заместительницу. Это ее очень сердило.

— Кто здесь распоряжается? Вы или я? Неблагодарная, вы забываете, что ваша мать поручила мне вас. Что вы тут делаете с вашими глупыми книгами и тетрадями? В один прекрасный день я прикажу всё это выкинуть... Вы манкируете своими прямыми обязанностями...

Я боялась поднять на нее глаза, чтобы она не увидела прямо жгучей ненависти к ней. Глупые книги! Книги мои, спасавшие меня от острой меланхолии... В них я искала забвения всего того, что окружало меня. И теперь мне кажется, что люди, живущие в довольстве, никогда не могут так привязаться к книге, как те, которым жизнь не ворожит.

Совсем незадолго до экзаменов, Кривская приехала с какой-то дамой и показывала ей всю богадельню. Дама низко кланялась и всё повторяла: да, понимаю, ваше превосходительство! Осмотрев всё, дама ушла и Кривская позвала меня. Тон ее несколько смягчился, — какую-то трудную задачу она решила.

— Сядьте и выслушайте меня внимательно. Вот эта дама — ваша заместительница. Через неделю она переселится сюда. А вам я уже нашла место гувернантки в очень почтенном доме. В вашем костюме туда ехать нельзя. Это — в большом имении. Из гардероба Лили я вас обмундирую. Ваша сестра останется в комнате гимназисток. Как жаль, что вы плохо знаете языки! В сущности, при вашем умственном багаже это место бонны. Но мы условились, что вас будут называть гувернанткой.

Целая буря поднялась в моей душе... Лучше утопиться, но не служить в этих домах, атмосфера которых мне была знакома по визитам с отчетами в роскошные апартаменты самой Кривской.

- Я... я ваше превосходительство, этого места не возьму...
- Что? Что? Да как вы смеете рассуждать? Что же вы будете делать? Быть-может, вам приятнее шататься по улицам?..

Гневу красивой дамы не было пределов. Лицо ее покрылось красными пятнами. Она уже не говорила, а как-то выкрикивала оскорбительные слова. Тут была и моя «разведенная мать», и моя «распущенность», и опять книги, книги, всё зло в них. Но чем больше она кричала, тем тверже было мое решение: не подчиняться! Лучше смерть... Но Маня, Маня, бедная сестренка моя... Нет, всё-таки нет...

— Ваше превосходительство, я этого места не возьму...

Не сказав ни слова, Кривская зашуршала юбками и быстро направилась к дверям, даже не кивнув головой.

Эту ночь мы с сестрой лежали на одной кровати и горько плакали. Что такое? Одни на всем свете... Но ведь мы даже не знаем, что такое этот свет... Куда кинуться из этого опостылевшего дома? А ведь надо прежде всего выдержать экзамены. Как? До конца их осталось несколько дней. На другой же день я снова отправилась к другу нашей семьи, Городысской. С обычным вниманием она выслушала меня и затем сказала:

— Постой, девочка, не тормоши меня. У моего мужа большие связи в городе. Сегодня обдумаем, где тебя устроить. Я тоже думаю, что итти по дороге бонн и гувернанток тебе не следует. Будь терпелива и не волнуйся. Свет не без добрых людей...

Через неделю Лидия Николаевна Николаева, моя заместительница, приехала с вещами и с прелестной двухлетней девочкой. Эта дама недавно овдовела и осталась с ребенком без всяких средств. Была довольно беспомощна и моя помощь ей была нужна, особенно в отчетности. Сама она оказалась очень милой, застенчивой женщиной, а в ее девочку мы с сестрой просто влюбились. Особенно сестра. Всё свое свободное время она стала отдавать ей: играла, водила гулять. Девочка быстро к ней привязалась и всё звала: ня-ня, ня-ня... Опять появилась гармоника и песни моей сестры — для девочки! Однако, нам нужно было обдумать, куда же мы денемся. Пока мы с сестрой перешли в ту покойницкую, куда клали старушек. Вымыли, вычистили и были счастливы, что можем оставаться в ней одни. Кривская утихла: я ей была пока нужна, — одна Николаева не справлялась. О моем гувернантстве она больше не говорила.

После окончания экзаменов, Городысская устроила вечер, где было как-то особенно тепло и задушевно. Наши учителя спрашивали, что же мы теперь будем делать? Муромская ругала «затхлый Саратов» и объявила, что она «доползет» до Петербурга и поступит на курсы. Елена Ширяева тоже едет туда.

- А вы? спросил Ювеналиев.
- Я?.. Я ничего не знаю...
- Нет, Катюша, ты уже знаешь! улыбаясь сказала Городысская. Вот тебе подарочек.

Она вручила мне рекомендательное письмо ее мужа к одному из видных чиновников Управления железнодорожной линии Саратов-Тамбов-Москва.

- Пойдешь завтра же. Он обещал мужу принять тебя. Ювеналиев, узнав в чем дело, поморщился.
- Это жаль, что вы не сможете продолжать ваше образование: наши гимназии дают так мало!

Потом шли все вместе по домам. Ночь была чудная, — саратовская, в конце мая. Луна светила во всю, точно желая осветить сложные пути земной жизни. С своими дорогими учи-

телями расставаться не хотелось: неужели — в последний

раз?

На другой день я пошла к 10 часам в Управление. Меня встретил в своем кабинете пожилой чиновник с седыми бакенбардами.

— Да вы совсем девочка?

— Нет, нет! — почти вскрикнула я. — Мне уже 16 лет...

— Ах, уже шестнадцать! Да, это, конечно, много, — засмеялся он. — Я бы очень желал иметь столько же...

Ласково взяв за руку, он повел меня в отдел составления графиков. Там уже сидело несколько девиц, перед которыми лежали огромные листы белой бумаги с черными клетками.

— Вы знаете, что такое графики? — спросил он меня.

К ужасу моему я в первый раз услышала это слово. Молчу. А кругом — хохот... Чиновник тоже смеется.

— Ну, ничего. Завтра же будете знать, что это такое... Но только будьте внимательны: если ошибетесь, случится крушение поезда...

И опять все засмеялись. В страшном смущении я подумала: не примут! Велел сесть и ушел. Я сидела ни жива, ни мертва, а кругом все так ласково улыбались... Наконец, он вернулся и сказал:

— Так вот, старушка 16 лет, вы зачислены с 1-го июня... Приходить будете акуратно. Занятия — с 10 до 4-х. Жалование такое-то * .

Поблагодарив его, вероятно, пламенно, и поклонившись всем другим милым людям, я кубарем слетела с лестницы. Да и домой не шла, а летела. Чуть не в первый раз в жизни всё ликовало во мне и всё казалось прекрасным: самостоятельность! Так вот он какой — мир... В нем живут совсем другие люди, чем Кривская...

Дома схватила в объятия сестру и стала с ней кружиться. А она — всё свое:

— Видишь, Катюша, Бог не оставит нас! Поставлю свечку Божьей Матери.

Теперь возникал вопрос, а гле же мы будем жить? Вечером разговор с Муромской: хочу во что бы то ни стало уйти из этого дома и увести свою сестру.

^{*} Когда писала эти заметки, хотелось вспомнить: а какое это было жалованье? Вспомнить так и не могла. Но как сейчас вижу это огромное здание, где всё это происходило.

— Ты, дура, Есипова. Как у нас с матерью ни тесно, перебирайтесь к нам. Как-нибудь съютимся... А если ты там в своих графиках удержишься, — наймем тебе комнату. Ведь Мане-то еще два года учиться, это не шутка!

Долго обсуждали с ней, как «выложить» обо всем этом Кривской. Ну, и раскричится же! Грубоватая Муромская советует:

— А ты только не робей! Этих знатных дам надо по носу бить. Уж очень зазнаются!

«Бить по носу» Кривскую не пришлось. Она приехала почему-то совсем тихая и, узнав в чем дело, заявила:

— Кто это вам всё устраивает? У вас — знакомства? Но вам придется остаться здесь. Лидия Николаевна не справляется... А я, к сожалению, уезжаю заграницу... Лили нездорова. Отчеты будете писать попрежнему вы. За это будете получать — как всегда на всем готовом — 5 рублей в месяц. Надеюсь, дерзить мне больше не будете? Это ведь я вывела вас в люди... Раз в месяц будет приезжать для ревизии моя заместительница...

Я смотрела на нее и опять всё во мне ликовало: говори, что хочешь, но я — самостоятельна! Осмелилась даже пожелать выздоровления Лили.

— Заграница ее вылечит... У нее не ладятся личные дела... Теперь молодежь — невыносимая! Не признают авторитетов... Как вы все, молодые, будете жить с вашими характерами, не представляю себе...

Ввиду того, что Лидия Николаевна оказалась очень хорошим человеком, я ничего не имела против того, чтобы остаться и помочь ей. Особенно без Кривской и особенно в моем теперешнем положении «самостоятельном». А тут еще эта прелестная девочка, которую мы не на шутку полюбили. Жизнь как-то налаживалась и мир открывался в других красках. Стало не так сиротливо, будущее уже не пугало своей неизвестностью, а молодость брала свое: хотелось жить, жить и всматриваться в манящие дали...

новый этап

На службе мне всё нравилось — люди и работа. Поняла очень скоро, что такое — графики. Для новичков давалась более простая работа: размещение часов прибытия и отбытия поездов. Внимание, действительно, нужно было иметь большое. Самая сложная работа — скрещение поездов на разъездах и

станциях. Эту работу делали ответственные чиновники. В часы отдыха, перерыва — разговоры. Люди там служили интересные — говорили о книгах, иногда — о событиях местной жизни. Мечтала об осени, когда приедет Кривская и мы с сестрой поселимся в собственной комнате, куда можно будет приглашать своих знакомых: богадельня — своеобразный монастырь, — а там будет «свое». Это «свое» оказалось, однако, совсем другим.

Однажды, вернувшись со службы, я взяла девочку — Таню, чтобы повести ее в Липки, известный саратовский бульвар, где была площадка для маленьких детей. Иду по аллее, девочка что-то распевает, — а навстречу — знакомая фигура: Ювеналиев!

- Здравствуйте! Как я рад вас видеть! Чей это прелестный ребенок?
 - Это мой...
 - Не шутите, пожалуйста, а то я затоскую...
 - Затоскуете? Почему же?
- Я ведь холостяк и хотел бы иметь такую же... Детей очень люблю... Кстати, вы часто гуляете? Я бы хотел показать вам саратовскую природу... Знаете ли вы Зеленый Остров на Волге? Хотите покажу? И еще многое...
- Еще бы! Я ведь теперь самостоятельна! Никого, никого не боюсь. Ответила утвердительно.
- Конечно, без вашей девочки! смеясь сказал он. Ей нельзя еще кататься по Волге...

Девочка между тем уже забралась на колени Ювеналиева, как только мы сели на скамейку, и запустила свои крошечные ручки в его черную бороду. А когда нам нужно было уходить и я попробовала ее спустить на землю, она крепко обняла его и упрямо заявила — «не хочу! не хочу!»

- Вам придется ее взять к себе домой, раз вы тоскуете...
- Я вам говорю: пожалуйста, не шутите: я бы это с огромным наслаждением сделал...

Не странно ли? Эта чужая девочка нас как-то по особому сблизила. Уходить и мне не хотелось.

С тех пор — началось... Каждый вечер я встречала Ювеналиева на условленном месте (о ужас! Кривская и ее мораль!..) и мы шли на берег нашей любимой Волги. Иногда я брала сестру и мы втроем уезжали на Зеленый Остров. Эту

свою девичью идиллию я вспоминала потом, когда на том же самом острове через несколько лет происходили ночные бдения: собрания русских подпольщиков. Очень хорошо помню знаменитого М. А. Натансона, Н. В. Россова, В. М. Чернова, Н. М. Архангельского (редактора «Саратовского Дневника», где появилась моя первая статья), сестер и брата Альтовских, д-ра Амстердамского и многих других. Иногда вся эта братия жила на острове два-три дня, всё время проводя в русских жарких спорах, какие редко встретишь у иностранцев.

«Зеленый Остров» — прелестное место. Весь покрытый небольшим лесом, благоухающий, — аромат леса с примесью пряного запаха волжской воды, — он был любимым местом прогулок саратовцев по праздничным дням. Там все купались, прыгая в воду вниз головой. А в дни спокойные, без публики, этот плеск волн как-то убаюкивал и наводил сны золотые. Или это была молодость? Иногда Ювеналиев покупал на берегу у рыбаков замечательную волжскую стерлядь. Никогда не встречала такой рыбы заграницей. Не знаю, не перевелась ли она в лихие дни большевистской революции? Но в те древние времена она фигурировала во всех меню волжских пароходов и, конечно, в домашнем столе волжан. Мы с сестрой разводили костер и варили в котелке уху... До чего же была вкусна она тогда... На острове почти не разговаривали, — никому не хотелось нарушать эту тишину, чем-то таинственным наполненную. Потом, намолчавшись, просили сестру петь. Ее небольшой, но глубокий голос и песня, всегда грустная**, увеличивали очарование и мы возвращались домой тихие, счастливые, освеженные волжским воздухом, убаюканные плеском любимой реки... Стала замечать, что эти прогулки кружили голову и — когда их не было по какой-либо причине — наступала тоска и острое желание снова и снова бежать навстречу чемуто новому.

Утром — служба, графики, ласковые сослуживцы, труд — приятный, шутка ли, это мы предотвращали крушение поездов! — а вечером — вот это... Боже, до чего же прекрасна жизнь! И люди... Особенно люди...

^{**} Когда сестра уехала в Петербург на Рождественские курсы, она зарабатывала на жизнь, поступив в церковный хор одной из церквей. Иногда пела solo на студенческих вечеринках и имела там большой успех.

* * *

К осени, когда ожидался приезд Кривской из-заграницы, я стала невестой Ювеналиева. Новый сюрприз для нее. Вероятно, спросит: «откуда берете вы все эти ваши знакомства?» Но знакомство было давнее, — с 4-го класса гимназии. Теперь, когда я смотрела на его лицо, мне казалось, что никогда не было времени, когда бы я его не знала. Такой близкий, ласковый и — так пусто без него. Что это было? Любовь? Мне было 16 лет, ему — 32. Тогда не было никаких психоанализов, никто не разворачивал душу, не вытягивал из нее неведомые ощущения и переживания. Шло, как шло... А прожив долгую, долгую жизнь я поняла, что словом любовь покрываются самые разные отношения между мужчиной и женщиной. И так сложны эти отношения, никакими революциями не управляемые, — что всегда трудно бывает ответить на вопрос, какого типа та или другая связь? Что внезапно связывает людей и так часто родит потом тяжкие разочарования? Но одно наблюдение, уже не только над собой, прочно укрепилось в сознании: очень молодые браки, особенно у женщин, не бывают удачными. Настоящая любовь, захватывающая всего человека, все его помыслы и все поры его чувств, приходит уже в более позднем возрасте. Но в те годы, когда уже начиналась в лоне русской интеллигенции бурная общественность, личное как-то отходило на задний план. Открывались другие горизонты, волновали совсем другие, не узко-личные переживания. Так и в моей жизни тотчас же после замужества открылся совершенно новый мир: Саратовский период русской революционной общественности... Истоки будущей российской трагедии...

Ек. Кускова

ВСТРЕЧИ С АНДРЕЕМ БЕЛЫМ*

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С БЕЛЫМ

Вспоминая осень 1905 г., Андрей Белый писал:

«Москва клокотала — банкетом, митингом, взвизгом передовиц: о «весне» в октябре и об октябре в весне; клокотали салоны; из заведений, ворот заводов, подвалов выскакивали взволнованные говорливые кучки с дергами рук, ног и шей; пыхали протестом трубы домов; казалось — фабричный гудок ворвался в центр города; мохнатая манчжурская шапка на самом Кузнецком торчала вопросом; человек с фронта подымал голос: так жить нельзя».

На Садовой-Триумфальной в театре Зон, в те дни, как всегда, переполненном народом, «клокотавшим митингом», говорил Станислав Вольский (Соколов). За ним должен был выступать Бунаков-Фондаминский, потом еще кто-то, потом я. В ораторах недостатка не было. Недалеко от нас на подмостках стоял молодой человек. Два года спустя Л. С. Бакст нарисует его портрет: большой покатый лоб, начинающие редеть волосы, несколько припухлый нос, густые усики, как бы приклеенные к нему с чужой губы. Тогда в 1905 г. он был красивее и много свежее. Особенно выделялись серо-голубые глаза, лучистые, обрамленные непомерно-густыми ресницами. Он восторженно смотрел на ораторов и особо «ударным» «революционным» словам начинал неистово аплодировать первым, подымая над своей головой тонкие руки и сопровождая аплодисменты пронзительным «браво». На митингах никто не кричал «браво», никто так не воздевал рук. Молодого человека с лучистыми глазами нельзя было не заметить. Уж очень он выделялся из толпы. «Кто это?» — спросил я. Мне ответили: «декадент Андрей Белый». Если бы А. Белый узнал, что его так рекомендуют, должен был бы обидеться: он не декадент,

^{*} Под этим общим заглавием мы предполагаем напечатать, с некоторыми сокращениями, несколько глав из неизданной книги Н. Валентинова «Два года среди символистов». Ред.

а символист. Но осенью 1905 г. эти тонкости меня совсем не интересовали, и о символизме, кроме едкой высмеивающей Брюсова статьи Владимира Соловьева, прочитанной еще в школьнические годы, я ничего не знал.

«Декадента» мне пришлось снова увидеть дней через пять. Двери университета были тогда широко открыты для всяких митингов, собраний всех партий. Улица властно врывалась в него и где хотела устраивалась по аудитории. Открыв дверь в одну из них в новом здании университета, я увидел человек пятьдесят, большей частью студентов, с явным любопытством (именно с любопытством!) слушающих кого-то «с дергами рук, ног и шеи», то притоптывающего, то подымающего руки, точно подтягиваясь на трапеции, то выбрасывающего их, словно от чего-то отшатываясь. Подойдя ближе, я узнал «декадента». Ни по форме, ни по содержанию его речь не походила на те, что все в то время говорили. Странно звучащее слово «волить» у него постоянно сочеталось со словом «взрыв», произносившимся с особым ударением на букву «ы». Он поучал аудиторию, что нужно теперь «волить взрыва», и «взрыва» такой силы, который должен ничего не оставить не только от самодержавной государственности, но от государства вообще. Из всей его речи со ссылками на Владимира Соловьева и Ницше, выпирал неотесанный анархизм, нелепейший, явно непродуманный. С ранних лет анархизм мне всегда казался системой архиглупой. Я не выдержал и стал перебивать Андрея Белого. Несколько смущенный моими замечаниями, а я старался их сделать возможно более колкими и насмешливыми, он стал спотыкаться и, оборвав свою речь, обратился ко мне: «вы хотите возражать, уступаю вам место».

Вскочил на подоконник, опустил голову на поднятые к подбородку ноги, закрыл лицо руками. В длинном ответе Белому (был я в те годы до крайности многословен, мог говорить часами) я указывал, что именно теперь, когда вопрос идет о первых настоящих попытках заменить старую государственность новой, речи об анархии и уничтожении государства вообще могут держать только безответственные болтуны, «декадентски» не ощущающие политические проблемы настоящего дня. Ничего особо интересного или оригинального я не говорил, в сущности, это были обычные и весьма заезженные аргументы марксизма против анархизма. Но я стал злиться, когда Белый, не отымая рук от лица, т. е. как бы демонстративно закрывая ущи и не желая слушать меня, стал пускать сначала

потихоньку, а потом чаще и громче — «так-с, так-с». Эти возгласы, казавшиеся мне насмешкой, до того меня разозлили, что я крикнул:

«Вместо того, чтобы бессмысленно по-овечьи «такать» и закрывать уши, — лучше обдумать и понять то, что вам го-

ворят».

Белый вскочил с подоконника с лицом полным недоумения.

«Я совсем не закрывал ушей. Это вам так показалось. Я слушал вас очень внимательно. Не понимаю зачем вы на меня сердитесь. Когда я говорил «так», это было одобрение того, что вы сказали, т. е. я с вами соглашался или готов был согласиться».

Услышать от человека только что проповедывавшего анархию, что он теперь готов согласиться с резкой критикой, отвергающей анархизм, — было столь неожиданно, что и я, и вся остальная публика в аудитории расхохоталась. Рассмеялся и Белый, но с очаровательной улыбкой тут же заметил:

«Я должен внести в сказанное мною поправку. Согласен я отнюдь не со всем, а лишь с частью той критики, которую направили против меня. Какая часть важнее — та ли, с которой я соглашаюсь, или та, с которой я несогласен — об этом нужно мне подумать».

«Декадент» — подумал я — большой оригинал. Делать такое признание, как он, немногие решатся.

Вскоре произошла у меня и третья встреча с Белым, через посредство А. Н. Тургенева, дочь которого Анна (Ася) позднее стала, по выражению самого Белого, «первой спутницей» его жизни.

А. Н. Тургенев был типичный русский интеллигент (внешне похожий на чеховского Иванова в Художественном театре) настроенный столь революционно, что хранил у себя, как это подтверждает А. А. Тургенева, какие-то бомбы. С ним я встречался довольно часто и, кажется, вошел в число симпатичных ему людей, так как летом или в начале осени 1905 г. он настоял, чтоб я поехал с ним на несколько дней отдыхать в его имение в Тульской губернии.

На второй день нашего приезда мы отправились с ним в «Ивановское», имение Бакуниных, недалеко от тургеневского имения. От всей поездки к ним мало что осталось в памяти. Помню только большую красивую комнату со старинной мебелью, картины и портреты на стенах, золотой блик от солнца через занавес открытого окна, прыгающий по паркету пола,

и высокую седую даму. Это была мать бывшей жены Тургенева, бабушка Аси; главным образом для свидания с нею, как я мог понять, Тургенев и приехал в Ивановское. Больше никого там не помню. Но зато превосходно помню разговоры, которые, возвратясь от Бакуниных, мы вели с Тургеневым об анархизме, о Михаиле Бакунине, его вражде с Марксом, авантюре с Нечаевым, истории с деньгами за не сделанный Бакуниным перевод «Капитала», его отношениях с Герценом, исключении Бакунина из Интернационала. Я мог это знать, так как об этом лишь недавно читал, будучи в Женеве. Тургеневу же, не знавшему всей изданной заграницей литературы, коечто было неизвестно. Он с интересом слушал меня и видимо вообразил, что я большой знаток анархизма, в чем, вероятно, по свойственному молодым людям тщеславию, я его не разубежлал.

«Раз вы такой знаток анархизма, — говорил он мне — я, когда приедем в Москву, вас непременно сведу с одной группой анархиствующей молодежи. Люди очень талантливые, среди них особенно выделяется сын знаменитого математика проф. Бугаева. Кое-кого из этой группы я знаю. Жаль, что эта молодежь, зараженная нелепыми теориями Соловьева, несет такую политическую чушь, что уши вянут. Постарайтесь на них повлиять. Овчинка стоит выделки. То обстоятельство, что вы нелегальный, подпольщик, только недавно приехавший из Женевы, ваш авторитет усилит. Знаю, что эта молодежь на людей из подполья смотрит с мистическим почтением».

Как и через кого Тургенев меня «свел» с А. Белым не помню, но знаю, что встреча с ним произошла не вскоре после этого разговора с Тургеневым, а много позднее, так как придя на свидание я увидел, что неизвестный мне «сын профессора Бугаева» и «декадент Андрей Белый», с которым я недавно полемизировал в университете — одно и то же лицо.

Беседа с Белым, с глазу на глаз, без свидетелей, продолжалась, пожалуй, часа три. В своих мемуарах «Начало века», изданных в 1933 г. Белый писал, что до 1905 г. он был «социально неграмотен», хотя с 17 лет «поволил собственную систему философии». Он энал Лейбница, Канта, Шопенгауэра, Вундта, Вл. Соловьева, Ницше, Гартмана, но не читал Маркса, Энгельса, Прудона, Фурье, Сен-Симона, энциклопедистов, Вольтера, Руссо, Герцена, Бакучина, О. Конта, Бюхнера, Молешота, Чернышевского, Ленина, Локка, Юма.

К тому, что он не читал, А. Белый мог бы прибавить име-

на Чаадаева, Добролюбова, Белинского, Лаврова, Михайловского, Плеханова и многих других. Белый подчеркивал, что был социально неграмотен только до 1905 г., а в этом году уже читал социально-политическую литературу. Возникшие в 1905 г. издательства бросили на рынок массу до сего времени недозволенной литературы, и было бы странно думать, что она никак не затронула А. Белого. Но то свидание, о котором я сейчас рассказываю, с полной ясностью обнаружило, что осенью 1905 г. он был действительно «социально-неграмотен» и крайне неграмотен. Он, например, говорил о марксистах, социалдемократах, а чем они отличаются от социалистов-революционеров — не знал. Он не имел ни малейшего представления об истории революционного движения в России, а об аграрной программе говорил, что она вполне ясна: «сжечь, выжечь до тла помещичьи гнезда. Вот и всё». Из разговора с ним выяснилось, что анархизм в том виде, в каком он проповедывал в аудитории университета, обосновывается не какими-либо посылками общественно-политического характера, как, например, у Кропоткина, а абстрактно-метафизическими постулатами и мыслями Соловьева о «конце истории». Белый возражал мне с большой страстью, причем язык, которым он пользовался, был на много выразительнее и красочнее обычного избитого языка революционной среды. Хотя я только года на два был старше А. Белого, однако, в течение этой встречи чувствовал себя взрослым рядом с неопытным юнцом. Многое из того, что я говорил Белому, ему было неприятно. Он дергался, когда я говорил ему, что он не знает того-то, того-то, того-то. Однако, расстались мы как будто без неприязни с его стороны и у меня было впечатление, что в главном я его убедил, поборол разъедающую его «инфекцию анархизма». Некоторое подтверждение тому принесла несколько дней спустя мимолетная встреча с Белым у П. М. Ярцева. Когда я пришел к Ярцеву, Белый уже уходил и в передней, отозвав меня в угол, шепнул:

«От моей инфекции, кажется, исцеляюсь. Ваши социалдемократические пилюли мне помогли».

Действие моих пилюль на Белого я мог заметить позднее. Два года спустя в журнале «Весы» и в газете «Час» он критиковал «Речи бунтовщика» Кропоткина, книгу Эльцбахера, всякие другие разновидности анархизма. И, что весьма интересно, делал это «с точки зрения соцал-демократии и материалистического понимания истории»: «В противоположность социал-демократической программе — писал он — построения анархизма не имеют за собою никакого научного базиса. Анархизм, восставая против государственности, поневоле должен восставать и против материалистического понимания истории».

Цезарь Вольпе в предисловии к мемуарам А. Белого «Между двух революций» отметил, что аргументы А. Белого против анархизма взяты им, вероятно, из разных источников и, в том числе, возможно от «меньшевика Н. Валентинова». Не знаю ни кто такой Цезарь Вольпе, ни о том, каким путем дошла до него догадка, что я старался вылечить А. Белого от анархизма. Но «пилюли» мои подействовали на Белого, конечно, лишь поверхностно. Он только перестал держать нелепейшие речи о немедленном уничтожении всякого государства. Суть его глубинного анархизма, этот доведенный до крайней степени индивидуалиэм с болезненным самовозвеличением и интересом к собственной личности, никакие пилюли вывести, вырвать не могли. После мимолетной встречи у Ярцева — Белый исчез с моего горизонта. Я больше не видел его ни в 1905, ни в 1906 г., встретил лишь в марте 1907 г. у зубного врача К. Б. Розенберг, по характеристике А. Белого, — «умной барышни, собирательницы с буржуазных салонов дани на партию». Я называл Розенберг — «Madame Roland». В 1905 г. ее салон был местом постоянных встреч беспартийных адвокатов, артистов, художников, поэтов, музыкантов с интересующим их в то время «таинственным» миром революционных деятелей и людей из подполья. В 1907 г. у легального мира этого интереса к миру «нелегальному» уже не было. Два года революции сняли печать таинственности со многих лиц, искать встречи с ними перестали, салон Розенберг сузился и стал лишь местом свидания только меньшевиков. Когда Белый пришел к К. Б. Розенберг, в ее гостиной уже находилось человек пять меньшевиков и среди них я в состоянии обороны против колко на меня нападающих партийных товарищей. До этого я никак не мог себе представить, что пришедший к Розенберг «декадентик», которому два года перед этим прописывал «социалдемократические пилюли», окажет мне большую политическую услугу, сразу в значительной степени устраняющую остроту направленных против меня нападок.

В это время мои отношения с партийными товарищами, и больше всего с редакцией меньшевистского органа «Дело Жизни» были крайне натянутыми. Череванин, Громан и другие считали, что революция продолжается, и применительно

к этой мысли устанавливали партийную тактику. «Могильщикам, писал Череванин, рано еще хоронить революцию, рано потому, что осталось голодное крестьянство, неудовлетворенный пролетариат» («Дело Жизни, № 27, январь 1907 г.). Те же мысли и у Громана, требовавшего ответственного пред Гос. Думой министерства и «полного подчинения ему всей аджинистрации, полиции, войска». Я же считал, что революция уже окончилась, и этот факт требует изменения партийной тактики и политики. На большом партийном собрании я прочитал доклад, уже без уловок заявляя, что революция выдохмась, сил у нее больше нет, догорают лишь последние плошки и ни на какое победоносное выступление народных масс, несмотря на всю левизну II Госуд. Думы, рассчитывать нельзя. Разгон этой Думы, утверждал я, так же, как разгон I Госуд. Думы и выборгское воззвание, — не вызовут в стране никакого глубокого движения. Что же делать, спрашивали меня, если II Гос. Дума будет действительно уничтожена? Не лезьте по поводу этого события в бой — отвечал я, в этом бою будут бесплодно на голову разбиты накопленные силы, созданные организации, возникшие профсоюзы, печатные органы, всё будет превращено в прах. Призыву к решительному бою я противопоставлял формулу «организационное спокойствие», понимая под этим не в панике и при больших потерях совершающийся отход пред наступающим врагом, а отступление сознательное, «организованное», при котором главные силы остаются нетронутыми. Мой доклад подвергся ожесточенной и, я бы сказал, пристрастной критике. Формула «организационное спокойствие» встретила едкие насмешки. Меня обвинили во всех тяжких грехах, в упадочном настроении, в отходе от марксизма и чуть ли не в преклонении пред гением Столыпина и примирении с военно-полевыми судами. Я хотел возражать моим критикам на страницах «Дела Жизни», но несмотря на то, что был в числе редакторов этого журнала, созванная расширенная редакционная коллегия большинством всех против меня постановила не давать места моему возражению. В крайнем случае — напечатать лишь мое письмо в редакцию при условии, что оно не будет иметь «агрессивный» характер, не будет говорить, что революция кончилась, не будет называть имен мне возражавших товарищей и касаться сути их взглядов. Такое письмо, прошедшее чрез большое сито, и было помещено в «Деле Жизни» в № от 24 февраля 1907 г. Даже в туманной форме, приспособляющейся к партийным воззрениям и избе-

гающей прямо сказать, что революция кончилась, — письмо мое было принято очень враждебно. В «салоне» у Розенберг партийные товарищи продолжали меня щипать, доказывая, что я ошибаюсь, что революция продолжается, письмо мое вредно, ибо заранее предсказывает неудачу того движения, которое должно поддержать II Государ. Думу, если правительство решит с нею покончить. Вмешивать А. Белого в обсуждение этого «партийного» вопроса ни у кого желания не было; он находился в это время в другой комнате, вернее сказать, в дверях другой комнаты, беседуя с Розенберг. Однако, видимо, Белый очень прислушивался к нашим спорам, так как вдруг, подойдя к нам, попросил позволения сделать маленький доклад, прямо относящийся к дебатируемому вопросу. Оказалось, что он лишь недавно возвратился из Парижа, где в течение нескольких месяцев имел возможность в одном пансионе встречаться с главою французских социалистов Жоресом и узнать его взгляды на русскую революцию. Жорес, по его словам, считал, что революция в России уже проиграна, загубленная максимализмом ее руководителей. Как лошадь, ее гнали под кнутом на крутую гору, она упала и дальше двигаться уже не может. Она истратила свою силу в ряде бесполезных боев, забастовок и выступлений и сейчас уже нельзя надеяться, что самодержавие пойдет на такую большую уступку как образование кадетского министерства. Жорес возмущался производимыми налетами на банки и говорил, что подобные экспроприации морально и политически компрометируют революцию и ее вождей, не нашедших в себе смелости резко выступить против подобных актов. «Словом, заключил Белый, из всего того, что, хотя и мельком, я здесь слышал, мне кажется, что взгляды на революцию г. Валентинова почти совпадают с теми, что довелось слышать от Жоpeca».

Жорес в глазах партийцев меньшевиков не имел веса, равного весу Бебеля или Каутского, но всё же сообщение Белого произвело на присутствующих очень большое впечатление. А мне, подкрепляясь Жоресом, позволило тогда же и позднее броситься в атаку и из обвиняемого превратиться в обвинителя, доказывая насколько порочно и близоруко убеждение в продолжающейся революции и как опасно строить на нем тактику.

Желая узнать более подробно, что говорил Жорес Белому, я попросил его назначить мне одному по этому поводу

свидание; оно и состоялось на следующий день в комнате редакции «Дело Жизни», помещавшейся на Патриарших Прудах. Нет нужды излагать всё, что говорил мне Белый о встречах с Жоресом (он написал о них в том же году в газете «Час», а позднее в 1934 г., но в форме смягчающей слова Жореса, в книге «Между двух революций»). При этом свидании я сразу почувствовал большие изменения, происшедшие с Андреем Белым за полтора года, что мы не виделись. Я ему сказал, что за «социал-демократические пилюли», коими лечил я его осенью 1905 г. от инфекции анархизма, он мне отплатил — долг платежем красен! — большой политической поддержкой в виде крайне важного сообщения о взглядах Жореса. Белый отнюдь не отрицал, что получил от меня пилюли против анархизма, но несколькими фразами дал понять, что далеко ушел от того времени, когда чувствовал себя социально и политически неграмотным «юнцом». «Я теперь заявил он — разрабатываю платформу, которой намерен дать самое широкое распространение, в частности и с помощью газет». Что это за «платформа», в тот день Белый мне не разъяснил, но стал действительно появляться в газетах и, прежде всего, в газете «Час». Своим газетным статьям Белый впоследствии придавал огромное значение. Редакторы газет будто бы говорили ему:

«Когда вы пишете в «Весах» (органе символистов) вас мало читают и книги ваши малопонятны, а когда пишете в газетах, то становитесь до того интересны, что увеличиваете нам тираж. Мне было понятно в чем сила газетной моей популярности: пишучи для газет я не работал над стилем, отдавал черновики; если бы их отработал, то фельетоны мои отпугивали бы читателя».

Начав свое участие с «Часа», Белый пустился, как он говорит, в «авантюру с газетами». Из «Часа», одолеваемого штрафами, писал Белый, «меня похитили тогдашние социалдемократы, затевавшие «Столичное Утро».

«Не помню — как я в газету попал, кажется не без Валентинова (Вольского). По состоявшемуся соглашению с тогдашней марксистской газетой «Столичное Утро» (Валентинов, Виленский и т. д.) за четыре фельетона в месяц мне обещали платить по 50 копеек за строчку при двухстах рублях постоянного жалования (независимо от гонорара). Но газета социал-демократическая в 1907 г. — явление ненормальное; она допускалась градоначальником как дойная ко-

рова, через каждые два дня она штрафовалась; когда же успех «Столичного Утра» перерос все ожидания — газету захлопнули, редакционную группу выслали из Москвы».

Всё это напечатано на стр. 254 мемуаров Белого «Между двух революций»; руками разводишь от удивления: до чего искажены факты! «Столичное Утро» — газета большая, богатая (не помню, а может-быть даже и не знал, кто ее финансировал), имевшая большой успех, ни социал-демократической, ни марксистской не была. Это было издание с левым, демократическим направлением. Ее редактировал Н. Е. Эфрос, опытный журналист, известный более всего как театральный критик. Социалистом он не был и в годы пред войной стал заведующим отделом информации либеральных «Русских Ведомостей». Эфрос охотно помещал в «Столичном Утре» мои статьи (большую часть их я не подписывал), но какого-либо видного положения в газете я не занимал, посему не мог приглашать в нее А. Белого и предлагать ему гонорар, о котором он пишет. Верно — газету захлопнули, но никаких высылок «редакционной группы», т. е. Валентинова и Виленского, не произошло, к тому же Виленский жил в это время не в Москве, а в Киеве, и ни малейшего отношения к «Столичному Ут-

Почему А. Белый так грубо искажает факты? Может быть в 1933 г. его память ослабела и он уже не помнил хорошо что было в 1907 г.? О, нет, память его была всегда и осталась превосходной, но здесь, как и в других моментах своих автобиографических сочинений, написанных в советское время, он производит огромное, сознательное насилие над фактами, чтобы представить в ином свете свое прошлое. Он пишет: когда «Столичное Утро» — эту якобы марксистскую газету — закрыли, ему «писать стало негде». «Это была единственная газета, в которой мне было незазорно писать». «Я не мог выносить атмосферы других газет». «Я почувствовал глубокую растленность буржуазной прессы». «Я многое уже рассмотрел в мире газет; и этот мир в сознании моем сплелся с азефовщиной (?), уже повисшей в воздухе». «Настроенный угрюмо и мрачно, я относился с глубоким презрением и к возможной своей газетной славе, и к материальным благам, которые могли бы отсюда ко мне притекать». Буржуазная печать была для него «черным интернационалом, которого принцип есть беспринципность». Он не мог сотрудничать в «Русском Слове» Дорошевича, так как «принципиальным сотрудником желтои прессы в моем понимании мог стать лишь вполне беспринципный человек как Влас Дорошевич». Он не мог писать в «Утре России», хотя редактор его «постоянно тянул меня в свою газету». Не мог он писать и в «желтом «Раннем Утре», с мимикрировавшим заглавием марксистской газеты (т. е. «Столичного Утра»). То, что он пишет, не случайно вырвавшаяся, а сознательно препарированная ложь. Я-то прекрасно знаю, что в 1907 г. он не плевал на буржуазные газеты, а старался появляться на страницах почти всех московских газет. Частичные указания в каких из них Белый тогда сотрудничал, можно найти в томах 27 и 28 «Литературного Наследства», посвященных эпохе символизма. Они свидетельствуют достаточно убедительно, что Белый мотыльком летал по газетам различной окраски. Где тут презрение к «гнусной буржуазной печати», кстати сказать, в России бывшей уже не столь низкой, как о том, следуя за большевиками, твердил Белый? На поверку выходит, что в газете, где «незазорно» писать, Белый поместил одну статью, а в газетах, в которых «зазорно» писать, — в десять или пятнадцать раз больше. Этот вывод показывает, в какой просак он попал, стремясь в 1933 г. изобразить с помощью всяких выдумок свое прошлое совсем не так, как оно протекало.

В его очерке об авантюре с газетами — одна только верная фраза: «в «Столичное Утро» я, кажется, попал не без Валентинова». Я, действительно, толкал его писать для этой газеты и убеждал Н. Е. Эфроса пригласить его в сотрудники, несмотря на то, что Эфрос с опаской относился к Белому, говоря, что он может выкидывать такие литературные штуки и антраша, которые газету поставят в смешное положение. Всё-таки когда подготовлялось издание «Столичного Утра» и Эфрос небольшими группками собирал у себя возможных будущих сотрудников, на одно из таких собраний он пригласил меня притти вместе с А. Белым. Об этом собрании я и хочу рассказать подробнее. Тогда впервые мне пришлось узнать до какой степени Белый может быть оригинален, ни на кого не походить и своими речами, импровизациями производить почти ошеломляющее, незабываемое впечатление. К Эфросу он пришел последним, и, извиняясь за запоздание, занял за чайным столом место в углу рядом со мною. Мне показалось, что одна его нога чем-то обвязана, много толще другой. Заглянув под стол, я увидел на ней калошу — на улице было сыро. Это показалось мне столь неожиданным,

что, желая проверить — не ошибаюсь ли, я снова украдкой заглянул под стол. Никакого сомнения не было: нога была в ботинке, а на нем большая толстая калоша. В передней Белый забыл ее снять. Перехватив мой взгляд, он тоже нагнулся под стол, увидел калошу и по его лицу пробежала волна мгновенно сменяющихся чувств — удивление, досада, насмешка и какое-то сразу озарившее его вдохновение. Вскочил, на виду у всех стащил калошу, показал ее, почти бегом отнес в переднюю, а, возвратясь, начал, сначала заикаясь, незабываемую импровизацию, буквально загипнотизировавшую всех присутствующих.

Белый начал с извинения за свое неприличное поведение вошел в гостиную, забыв снять калошу. Он не удивляется, что Валентинов это первый заметил. Валентинов — марксист, а у марксистов взор постоянно притянут только к земле, к месту по которому ходят в калошах. Марксистам нужны железо, уголь, земные вещи под калошами. На небо они никогда не смотрят, там, по их мнению, никому не нужная пустота. Но он, Белый несчастный поэт. Забывая как важны уголь и железо, он смотрит в небо, видит там «золото в лазури» (название сборника стихов Белого) и, восторгаясь небесной лазурью и солнцем, не думает о марксистских калошах. Забыть о них мог он еще и потому, что только недавно возвратился из Парижа, где и зимою никто не носит калоши. Он приобрел привычку не думать о калошах (тут неожиданная экскурсия Белого в сторону — верна или неверна фраза: «привычка свыше нам дана»). Но Мооква не Париж и в ней о калошах надо думать. Но почему Москва не Париж? И почему Москва не может быть Парижем? По этому поводу Белый бросает какие-то сложнейшие, интересные исторические, философские, религиозные, архитектурные сравнения, неожиданно кончающиеся выводом: «в Москве храм Христа Спасителя, а в Париже Нотр Дам и от дыхания химер-чудовищ на крыше Нотр Дам могут потухнуть свечи пред иконами в московском храме». Ухватываясь далее за то, что Нотр Дам и недалеко от нее Sainte Chapelle, так же как Руанский, Реймский, Амьенский соборы, являются готикой, архитектурными созданиями, стремящимися ввысь, Белый указывает, что «своими стрелками они рвали небо, искали и находили там Бога». Но пришел Ренессанс и начал забавляться с козлоногим Паном и от бесстыдных звуков его флейты отворачивалась душа тех, кто с благоговением смотрел на святые изображения и картины Дюрера. Остановившись

на Дюрере и его значении, Белый делает прыжок в сторону к Канту, оставившему для Бога пристанище в виде «вещи в себе». Отпрыгивая от Канта, Белый несется к Платону, к Владимиру Соловьеву и приходит к «сути мира». Ее божественный голос слышит ухо тех, кто способен отдаться мелодиям Шумана, Шуберта, Бетховена. Музыка проникает в невидимую, неосязаемую суть мира. Поэт-символист подслушивает звуки этой сути, находя для них адэкватные, их одевающие слова. Неизрекаемое становится изреченным. Поэт-символист - ловец душ и теней, живых и мертвых. Выполняя свою миссию, он представитель вечности. Ток прошлого незримо ползет, туманом проникает в настоящее, а настоящее беременно будущим. Поэт-символист извещает о нем. Он зрит зарю, у него чувство зари (следует долгое объяснение чувства зари). Под небом лазурным, там за горой, находится храм будущего — новый мир. Путь к нему идет через гору, черную, пылающую, сжигающую, испепеляющую тех, кто по ней и через нее тянется дальше. Будут падения, страдания, катастрофы. Поэт всё видит и тяжко страдает. Он сгибается под тяжестью своего пророческого назначения — всё сказать, всё открыть. Сжальтесь над ним, не смейтесь над поэтом. Не снятая в передней калоша пусть не лишает его вашего сострадания.

Речь Белого продолжалась минут двадцать пять. Мы — нас было семь или восемь человек — слушали ее как завороженные. Встретив начало ее с улыбкой перешли к удивлению, к разинутому рту. Это была музыка, страсть, поэзия, философия, мистика, водоворот, каскад словотворчества. Нужно ли говорить, что я даю лишь бледную имитацию Белого, лишь эрзац? Во время его речи никто не пошевельнулся, а когда, вытирая залитый потом лоб, Белый, улыбнувшись, сел на свое место, все, как в театре, стали ему неистово аплодировать. Супруга Эфроса, артистка Малого Театра Смирнова, потом говорила — Белый ее загипнотизировал, он какой-то необычайной силы артист. А сидевший рядом со мною, более чем прозаичный Кугульский (он заведывал конторой и финансами «Столичного Утра») мне шепнул:

«Чорт возьми! От такого номера голова кружится, точно меня на качелях качали».

Никаких возражений Белому, конечно, никто не сделал, очнувшись от гипноза мы перешли к разговору на иные темы. От Эфроса Белый вышел вместе со мною; на улице, пройдя несколько шагов, вдруг спросил:

«Вы на меня не обижаетесь, не сердитесь?» Я в полном недоумении:

«Помилуйте, за что же могу на вас обижаться? Почему об этом спрашиваете?»

«Ну, как не спрашивать. Ведь если бы вы на мою калошу не смотрели, моя оплошность не была бы обнаружена и мне не пришлось бы так конфузиться. За это, в отместку, я вас немного высмеял. Если вы действительно на меня не сердитесь, тогда давайте поцелуемся».

От вечера у Эфроса пошли мои частые встречи с Белым. Начавшись с апреля или мая 1907 г. они без перерыва продолжались до начала 1909 г., когда я уехал из Москвы.

Н. Валентинов

**

В какой-то радости шальной Я говорил бывало в детстве:
— «А я вчера ходил домой, В Париже получать наследство!» Скажу и покраснею сам От своего же идиотства. Меня водили к докторам, Боялись моего юродства... Мне кажется предугадать Свою судьбу могли бы дети По выкрикам хотя бы этим — Когда б умели их читать.

А. Величковский

РАЗГОВОРЫ С ЛЬВОМ ШЕСТОВЫМ

Эти «Разговоры», как они напечатаны здесь, представляют всего только очень короткий отрывок, который был извлечен из большой оригинальной рукописи Бенжамэна Фондана. Рукопись была на французском языке, перевод сделан П. Калининым. «Разговоры» печатаются впервые. Б. Фондан, еврей, погиб 45-ти лет в немецком лагере в 1944 году, и упомянутая рукопись была передана его вдовой г-же Н. Л. Барановой, дочери Шестова.

Прочитав как-то «Жизнь Гегеля» Розенкранца, А. И. Герцен занес в свой дневник: «Не знаю, счастье или нет великим людям, что передавать их жизнь всего чаще случается людям ограниченным. Лас-Каз, Эккерман, Розенкранц, приносят в свое дело усердие и честность, но ни понятия, ни таланта».

В этом отношении Шестову посчастливилось — Фондан, записавший разговоры с ним, был не только его близким другом, но и его талантливым учеником. Они оказались одного философского пути — иррационализма.

В начале 20-х годов молодой Фондан — поэт и критик — эмигрировал из Румынии в Париж, где быстро завоевал себе признание и независимое место во французской литературе. Из писем Шестова последних лет, адресованных своему ученику, видишь, каким большим счастьем и утешением была для него эта встреча. В своей неизданной статье, написанной вскоре после смерти Шестова в 1938 году, Фондан рассказывает историю своего знакомства с русским философом:

«Когда весной 1924 года, я в первый раз встретил Шестова в салоне философа Жюля де Гольтье — я был счастлив и крайне изумлен, ибо всего только за год до того прочел его статью «Откровение смерти», которая меня потрясла. Тогда же я написал о ней 5 или 6 статей на румынском языке, но по странному свойству моего ума, я не поинтересовался узнать жив ли еще автор или, если его нет в живых, то, когда и где именно он жил. Я попросту не думал о нем как о человеке... Когда же он мне задал обычные вопросы, какие задаются при первом знакомстве, я отвечал ему поч-

ти дословно то, что несколько позже мне пришлось услышать от него самого: я учился на юридическом факультете; я не прошел ни одного философского курса...»

Прошли два года. Встречи Фондана с Шестовым были редки. Настоящее сближение их началось, когда Шестов заметил, что Фондан начинает понимать его «вопрос», и он признался своему будущему ученику, что в отличие от большинства читателей Фондан не говорит о стиле его письма и изложения, но говорит о самой сути дела. С 1934 года ученик без ведома учителя начинает записывать свои беседы с ним.

Л. Шестов скончался в конце 1938 года в Париже. Биография Шестова еще не написана. Нет сомнения, что публикуемые «Разговоры» послужат его будущему биографу ценным материалом.

Эрге

Шестов: — Люблю ли я писать? Ненавижу. Мне случалось бросать работу на полуфразе, так бывало противно.

Шестов: — Не люблю писать. И вот доказательство: чисто случайно, в 27 лет я начал заниматься этим делом. Если бы, для заработка, я стал адвокатом, я никогда бы ничего не писал. Никогда это мне не приходило в голову. Писание для меня не работа, а страдание. Мне приходится переламывать себя, привязывать к столу, тороплюсь закончить и никогда не отделываю написанное. Мне неведома радость писания. Это потерянное время. Думается мне, что книги мои вызывают в читателе ту же скуку и тоску, которые я сам испытываю, когда пишу. Так как я не забочусь о стиле, он вероятно весьма среднего качества. И я был очень изумлен, когда в Берне один русский студент в первый раз мне сказал про «Толстого и Нитше», что непозволительно писать о столь серьезном вопросе столь хорошим слогом. Я был озадачен... Даже чтение у меня машинально: я регистрирую, не углубляясь. И только позже приходит на память то, что я прочитал, и тогда я начинаю раздумывать.

Шестов: — Гляжу я на слушателей моих курсов. Они надеются, что я облегчу им трудную работу, снабжу их легкими решениями. Но для меня самого эти решения с каждым годом становятся труднее... Как-то один русский философ при-

шел ко мне и спросил: «А теперь, что делать»? — Я ответил: «Теперь ваша очередь меня убедить в том, в чем я пытался убедить вас».

Шестов затрагивает философские вопросы без наведения его на эти темы. Но приходится настаивать, чтобы он заговорил о самом себе, о том как он начал писать, о его воспоминаниях.

- Мое призвание к писательству и философии прояви-лось довольно поздно. Мне было уже 27 лет, когда я опубликовал книгу «Шекспир и его критик Брандес» (до этого я написал только диссертацию на доктора права, темой которой был новый рабочий закон). В это время я читал Канта, Шекспира и Библию. Я сейчас же почувствовал себя противником Канта. Шекспир же меня перевернул так, что я потерял сон. И вот однажды я прочитал в одном русском журнале несколько глав Брандеса, в переводе, посвященных Шекспиру. Я пришел в бешенство. Несколько позже, находясь в Европе, я читал Нитше. Я чувствовал, что в нем мир совершенно опрокидывался. Я не могу передать впечатление, которое он произвел на меня. И вот я вижу в витрине книгу Брандеса о Шекспире. Я ее покупаю, читаю, и гнев снова распаляется во мне. Брандес был тогда крупной личностью. Он открыл Нитше, он поддерживал связь со Стюарт Миллем и т. д. Но это был род «под-Тэна», маленький Тэн, конечно не лишенный некоторого таланта. Но читал он не углубляясь и скользил по поверхности вещей. «Мы чувствуем с Гамлетом», «мы испытываем с Шекспиром» и т. д. Словом, Шекспир не мешал ему спать.
 - Что вы говорили в вашей книге?
- Я в ней еще стоял на точке зрения морали, которую оставил несколько времени спустя. Но эта точка зрения достигла уже того градуса, когда можно было предвидеть, «что рамы начнут рушиться», вы помните строки: «время сорвалось с петель». Но тогда я все же пытался водворить время, «на его петли». И только позже я понял, что надо оставить время вне петель. Пусть оно разлетится в куски. На это надоумил меня Брандес, он был далек от такой проблемы.
- Когда, после этой книги, я захотел возвратиться к Нитше и особенно к его биографии, я понял, что с моими моральными проблемами я никогда бы не смог к нему приступиться. Моральная проблема не выдерживает столкновения

- с Нитше. Для Брандеса трагедия Шекспира была развлечением, наслаждением искусством, и против такой установки я был вынужден защититься эпиграфом: «Я ненавижу лодырей!».
 - А до этого, вы ничего не писали кроме вашей тезы?
 Да, несколько рассказов. Но они были очень плохи.
 - А ваша теза?
- Я окончил юридический факультет. Мне было 24 года. На выпускных экзаменах я получил в среднем четыре с плюсом. Чтобы стать кандидатом права я написал диссертацию на тему о новых рабочих законах, которые были опубликованы и по поводу которых начали появляться рапорты ин-спекторов труда. Моя диссертация прошла в Киевском Университете, и для того, чтобы ее напечатать, я должен был представить ее в Московский Цензурный Совет. Но докладчик Совета дал заключение, что если моя диссертация появится, она послужит сигналом к революции. Чтобы защитить ее я поехал в Москву. Один из членов Совета мне рекомендовал затребовать рукопись для изменения в духе указанном цензурой. Но докладчик убедил Совет, что никакие исправления не могут изменить революционной сути книги. Рукописи мне не вернули. Другая копия находилась в университете. Мои черновики исчезли. Книга вообще не появилась... В ней шла речь о крайней нищете русского крестьянства и т. д.
 - Вы изучали философию систематически?
- Никогда. Никогда я не посещал лекций. Меньше всего на свете я воображал себя философом. Кроме того, когда я начал свою литературную работу этюдом о Шекспире, затем о Толстом, о Чехове, меня принимали за литературного критика, да и я сам отчасти так думал.
 - Вы самоучка?
- Да. Как Мейерсон. Но должен сказать, что Мейерсон читает страшно много, он все прочел. Я же наоборот я изучаю. Приступив к автору, скажем к Канту, к Нитше, я долго изучал все что с ними связано.
- Мне было 30 лет, когда я познакомился с Бердяевым. Ему было тогда около 24-х. Мы вместе встречали Новый Год 1900-й. В эти годы, выпивши немного, я становился задирой. Мои друзья знали эту слабость и всегда находили повод меня подпоить. В этот вечер Бердяев сидел со мной рядом. Я дразнил его невероятно, вызывая взрывы общего

хохота. Но когда мой хмель прошел, я сообразил, что Бердяев вероятно обижен. Я извинился пред ним и предложил выпить «на ты». Кроме того я просил его, в доказательство что он меня простил, зайти ко мне завтра. Он пришел. Так началась наша дружба. Никогда мы не были согласны. Мы всегда сражались, кричали, он всегда упрекал меня в шестовизации авторов, о которых я говорю. Он утверждал, что ни Достоевский, ни Толстой, ни Киркегард никогда не говорили того, что я заставляю их говорить. И каждый раз я ему отвечал, что он приписывает мне слишком большую честь, и если я действительно изобрел то, что утверждаю, то я должен раздуться от тщеславия. В глазах моей жены Бердяев был образцом: — поступай, как Бердяев. Бердяев не сделал бы этого. Бердяев говорит, что вот это ты можешь есть и пить, а этого не должен. Достаточно было бы мне уговориться с Бердяевым, чтобы он сказал, что кофе метафизично, и моя жена разрешила бы мне пить кофе.

Госпожа Шестова, присутствующая при этом разговоре, добродушно смеется. Я обращаюсь к ней: — По секрету, я предпочитаю философию Шестова — бердяевской.

— Я тоже, — говорит она. На этот раз смеется Шестов. Она же добавляет: — Каждый раз, когда Бердяев к нам приходит, начинаются невероятные споры. Оба становятся красными. И так — 30 лет.

Шестов: — Жаль, что он так сдавлен немецкой философией. Только потому, что я не изучал философии в университете, я сохранил свободу духа. Мне всегда ставят в упрек, что я цитирую тексты, которых никто не цитирует, и выкапываю заброшенные отрывки. Возможно, если бы я проходил курс философии, я цитировал бы только то, на что наука поставила свою печать. Вот почему, все тексты я привожу в оригинале — латинском или греческом. Чтобы не сказали что я их «шестовизирую».

Шестов (за столом, в шутливом тоне): — Вы знаете какой сегодня день?! Вечером празднуется семидесятилетие Мережковского.

- Кстати, говорю я, мне сказали что он когда то написал первоклассную книгу о Толстом...
- Это верно. О Толстом и Достоевском. Книга чисто нитшеанская, подражающая Нитше. Тогда я тоже выпустил

книгу: «Добро в учении графа Л. Толстого и Ф. Нитше». Я безуспешно искал издателя для моей книги «Достоевский и Нитше» (Философия трагедии). И вот однажды я получаю письмо от Дягилева, который до своих оперных и балетных предприятий издавал в России журнал по искусству. Это письмо обошло разные города, следуя за мной по Европе, прежде чем попало ко мне. Кажется, в Швейцарии Дягилев, прочитав моего Толстого, предлагал мне сотрудничать в журнале. В это время в моем портфеле уже находилась рукопись «Философия трагедии», которую я и послал ему. Дягилев пришел в восторг. Я запросил у него 50 рублей аванса, которые он тут же мне выслал. Конечно в то время я был богаче, чем сейчас, но всё-же деньги эти мне пригодились. Но он меня предупреждал, что вследствии печатания двух книг Мережковского, которые он также принял, моя появится не ранее января, а мы переписывались в мае. Он кроме того просил меня, если возможно, дать отзыв о 1-ом томе Мережковского, уже появившемся. Я дал отзыв положительный, без указаний на недостатки. Надо сказать, что Мережковский читал моего «Толстого» как раз в то время когда он заканчивал свою первую книгу. Он был поражен моим: «Нужно искать Бога» и, делая сальто-мортале, пытался предоставить место Богу у себя. Это Бердяев, которому было тогда 27 лет, сказал мне: «Он у тебя заимствовал Бога». Во второй книге Мережковского, эта идея стала уже центральной. Он склонял слово Бог во всех падежах и временах. Он говорил о Боге, как Нитше говорил об Антихристе, громким голосом, с криками, гневом и т. д. Нитше был уже полубезумным, когда писал «Антихриста». Но и в безумном Нитше было еще что-то от Нитше. Мережковский же не был Карузо. Это был только небольшой тенор.

- Приехав в Москву, я сделал визит Дягилеву. Он принял меня весьма любезно и тут же вручил мне вторую книгу Мережковского, напечатанную в его журнале. Я откровенно высказал свое мнение. Он был озадачен, но все же просил дать отзыв, что я и сделал. Мережковский немедленно прилетел в редакцию и устроил истерический скандал.
- Я позабыл сказать, что до того я встретил Мережковского на одном вечере. Он просил меня зайти к нему. Я пришел. «Сегодня вечером, сказал он, приемный день у Розанова. Хотите пойти со мною?». Я согласился. И вот мы у Розанова. Он меня представляет всем, но никто еще обо мне не слышал.

Мережковский разгневался: «Как! вы не знаете лучшего из наших авторов, которые писали о Нитше и т. д.»... Это было после моего первого отзыва. Но после второго он обозлился надолго. Я высказал слишком много правды. Но ведь он сверх всего взвинтил меня своим «Богом» и говорил, что Толстой заслуживает пощечины за то, что сказал... (Фондан не может указать что именно)... Этот отзыв первоначально составлял часть моей книги «Апофеоз беспочвенности». Я исключил его во французском издании. К чему! Ведь мы же оба писатели и оба в изгнании... Возможно, что мой отзыв мог бы ему здесь повредить...

- Мы с ним никогда не виделись. Как-то встречаю его с супругой на улице: «Как поживаете», и т. д. ... Затем он спрашивает: А вы собираетесь вернуться в Россию? Как? Я, который ругал большевизм... Нет, говорит он, я думаю не о Советах. Но если их режим падет... И вы на это еще надеетесь? спрашиваю я. Но политика Лаваля ведь прогитлеровская. Гитлер вступит в Россию и свергнет большевиков!
- Ну, говорю, как бы мало я ни любил Сталина, Гитлер еще меньше мне по душе. Такое разрешение вопроса удовольствия мне не доставило бы... Мережковский пришел в ярость и мы расстались.
- Вот почему я не пошел сегодня вечером на его юбилей, хотя и получил приглашение. Я даже не поздравил его письменно.

Я говорю Шестову о Международном Конгрессе Писателей и об Алексее Толстом, который утверждал, что идея смерти — только буржуазная одержимость.

— Толстой, говорит Шестов, превосходный писатель, но он никогда не проявлял склонности к мышлению. Помнится, однажды в России, мы были приглашены к Гершензону, известному историку литературы. Гершензон и Толстой сидели на одном конце стола, я же с Бердяевым и Вяч. Ивановым — на другом. Гершензон был неосуществившимся профессором, он любил поучать. В какой то момент среди нас воцарилось молчание и стал слышен разговор: Гершензон говорил Толстому, что тот очень талантлив, однако недостаточно мыслит. — А вы полагаете, что необходимо мыслить? — спросил Толстой, проводя рукою по лбу, со скучающим видом. Тогда я ему откликнулся: — Если вы мне поверите,

вы получите отпущение мысли: пишите что вы чувствуете и как вы чувствуете. Тогда Толстой перекрестился: — Вы полагаете, что я могу не мыслить? Спасибо!

Шестов: — Я видел ужасы при царях, но видел и людей непреклонных, отважных, не боявшихся смерти. Страшно не то, что Сталин убивает людей, — страшно, что он убивает в них всё вплоть до смелости. Хуже тюрьмы — обращать людей в трусов.

Шестов встретил Гуссерля в Амстердаме, где чествовали последнего.

Гуссерль Шестову: — Гочему вы меня атакуете? (во «Власти ключей») Вы же отлично поняли, что когда мне приходится всходить на кафедру, я чувствую, что мои руки пусты, что я не вижу, чему я должен поучать, за что зацепиться и мне приходится наново открывать философию по крошкам... О! какой ценой мне было дано найти первые очевидности.

Шестов Гуссерлю: — Никто не знает этого лучше меня. Но и я никогда бы не начал борьбу с очевидностями, если бы не был спровоцирован вашей манерой их ставить, даже вынужден... Это ваши автономные очевидности, вне разума и вне человека, истинные даже тогда если бы человек не существовал, и вызвали меня на борьбу... И вот, если в ином мире мне будет предъявлено обвинение в том, что я вступил в борьбу с очевидностями, я непременно сделаю вас ответственным! Вы будете гореть вместо меня!

Гуссерль — это единственный человек в мире, говорит Шестов, который по моему представлению не обязан понимать поднимаемых мною вопросов. И один из тех редких людей, которые их поняли, больше того, которые услыхали эти вопросы...

Шестов: — Пишут, что я «мистик», чтобы избавиться от меня, и даже прибавляют «великий», дабы всё образовалось. Ведь после этого говорить не о чем... Я очень не люблю, когда меня именуют мистиком, да еще «великим». Это значит: вы поймете тут то, что сможете, и однако нет никакой необходимости что-либо тут понимать. Мистик — это всё объясняет, ибо это ничего не значит... Под мистикой разумеется, что вопросы, поставленные в ней, находятся вне философии

и не стоит затруднять себя их разрешением... Вы помните, конечно, Ренана, который сказал, что по сравнению с пророками мы пигмеи. Однако в глазах того же Ренана пророки были невеждами, простолюдинами, малейшая доля истины им была чужда. В то время как он, Ренан, был ученым, настоящим ученым... Почему же тогда, он, Ренан, не является также пигмеем по сравнению с невежественными, темными людьми? Что же особенного было в этих незнающих людях, что их выделяло, за что их так возносят — гораздо выше чем самого Ренана? Чтобы несколько укрыться, Ренан, который не может приписать им открытия истины, резервированного только для ученых, убегает во всеуопокаивающее слово: мистики! Оно все объясняет, ибо ничего не выражает. Ведь, если истина дана нам — ученым, а мистики обладают Бог весть чем, то почему же мы — ученые - пигмеи по сравнению с ними?

Шестов: — Вы читали конечно в воспоминаниях Горького, что думал Толстой о моей книге «Добро в учении гр. Толстого и Нитше». По-моему Толстой прочел только первые главы, относящиеся к нему. Нитше его не интересовал. Иначе, он не мог бы сказать: «Шестов — еврей... как же еврей может отойти от Бога»? Ведь в конце книги, я прямо пишу: — нужно искать Бога.

Шестов: — Если бы Христос пришел в наши дни, Он был бы для Гегеля только бедным евреем, которого, правда, неплохо почитать и т. д. ... Но как «историческому событию», которому 2000 лет, Гегель не может отказать Ему в аудиенции! Все-таки Христос гений как-никак. На том же основании официальный Университет разрешает себе говорить о Бёме, о Киркегарде. Но если бы они были только современниками...

Однажды вечером говорили о Фрейде, которому я ставил в упрек «научный оптимизм» в духе Геккеля, Бюхнера, Дарвина... По этому поводу Шестов рассказал, что он послал свою «Власть ключей» Фрейду. Тот, перелистывая эту книгу, наткнулся на место, где Шестов довольно свободно отзывается о Дарвине. Фрейд отбросил недостойную книгу и больше не брал ее в руки. Однако он не без удовольствия прочел от начала до конца «Гефсиманскую ночь».

После Съезда Писателей в СССР. О Горьком после его последних деклараций о Достоевском:

— Теперь-то он осмеливается. Он рад отомстить Достоевскому за сорок лет непонимания его. Тридцать лет он думал то же самое, но не смел говорить. Тогда он был труслив, принижен сознанием своего невежества. Однажды кто-то из моих друзей просил переслать Горькому рукопись одного писателя, бедного. Я послал. Горький ответил и просил моих книг. Я исполнил просьбу. Горький снова написал, в тоне униженном и уклончивом, свидетельствующем, что он боится обнаружить свое невежество. Я потерял это письмо, как и многое другое во время войны. Это писатель с определенным талантом, бесспорно, но и только. Можно ли сравнивать его с Чеховым! Он не понял Достоевского, не понял Нитше. Он думал, что вся суть в физической силе, давать затрещины и т. д.

Шестов о Ремизове: Часто это первоклассный писатель. Но так же часто он публикует рассказы действительно слабые... Верно, что слабые рассказы у него охотнее берут и платят за них, в то время, как, например, «Смерть Аврама» которую, я думаю, он написал по болгарской рукописи XIV века, он не может пристроить.

Шестов в писъме: — Вот я и в Иерусалиме. Уже говорил здесь на немецком языке. Теперь буду говорить по-русски. Но Палестина, должен вам признаться, а я уже много видел, превыше всех слов. Сегодня я был в Гефсиманском саду... Расскажу вам всё, когда буду в Париже...

Шестов: — То что теперь происходит в Австрии, уже происходило... тогда при Ленине... Старые евреи, раввины были в тюрьме. Хватали каждого, кого подозревали, что он имеет деньги. К счастью я был «персона-грата». Кое-кто из вождей были моими читателями... Они считали, что мы между собою согласны, ибо я был революционером в философии, они — в политике. Они не теряли надежды меня убедить. Но ужасы, которые я видел... Идя на лекции в университет, я избегал людных улиц, пробирался переулками.

- А как же вы выбрались из России? Как они вас выпустили?
 - Белые пришли. Я знавал одного батюшку, который

был левым социалистом, а потом стал белым. Он выдал мне бумаги, в которых значилось, что я на что-то уполномочен, и они послужили мне пропуском в Крым, а дальше — в Константинополь. Но если бы я показал свой паспорт, в котором значилось — вероисповедания иудейского — я бы пропал...

Шестов: — Есть значительная разница между Сталиным и царизмом в пользу последнего. Разумеется и тогда существовала цензура, и тогда некоторые вещи запрещались. Но никогда им не приходило в голову заставлять нас писать о том-то или думать так-то. Мы были по крайней мере ∢свободны» не говорить...

В Берлине, куда Шестов приехал чтобы сделать доклад в «Обществе имени Нитше», вечером он оказался за столом соседом Эйнштейна. Он знал его только по имени, мало что понимая в математической физике. Эйнштейн же имя Шестова услыхал впервые на этом вечере: — большой русский философ, друг Гуссерля и т. д. Сидя рядом, Эйнштейн просил Шестова, если возможно, объяснить в нескольких словах философию Гуссерля.

- Но, ответил Шестов, для этого потребуется час или полтора.
 - Я располагаю временем, сказал Эйнштейн.
- С чего же начать? Скажем, вы сегодня встретились с Ньютоном, на этом или на том свете, начал Шестов, о чем бы вы с ним заговорили? Об очевидности, о проверке, об истине или скорее о массе света, о кривизне земли и т. д. ...
 - Конечно о последнем, согласился Эйнштейн.
- Так, продолжал Шестов, а философ спросил бы Ньютона, что такое истина, бессмертна ли душа, есть ли Бог... Но вы, вы считаете, что всё это вещи известные...
 - Без сомнения.
- Так вот, повторил Шестов, эти вещи, вам столь хорошо известные, философу известны гораздо менее. Он ставит все разрешенные вопросы так, как будто они не были разрешены.

Он попытался далее говорить с Эйнштейном об очевидности Гуссерля, коснулся своей борьбы с очевидностями... Но Эйнштейн уже не следил за его мыслыю. Они встретились

еще раз и Эйнштейн просил Шестова продолжать объяснения. Он уже ничего не помнил из того, что ему было сказано в первый раз.

Шестов: — Думаю о «Братьях Карамазовых»... Странно! Достоевский, так хорошо нарисовавший Ипполита, Инквизитора и других, когда подходит к старцу Зосиме, утрачивает свой дар изобразительности. Ему нечего сказать. Он извещает, что эта книга только первый том, где он пока описывает плохо, но во втором он всё поставит на место. Во время создания «Карамазовых» он уже был знаком с Соловьевым, часто бывал у наследника, будущего Александра III, у прокурора Святейшего Синода, Победоносцева. Последний, прочитав «Карамазовых», сказал, что невозможно вылечить вторым томом болезнь, которую Достоевский открыл в первом томе. Он был прав.

Шестов: — В 1919 г. еще можно было говорить в России. Были еще две свободных газеты. Одна из них устроила анкету среди писателей, о режиме. Я ответил: — в нашей былой революционной партии мы требовали свободы и хлеба. Но вот что надо знать сегодня: там где нет свободы, нет больше хлеба.

Шестов скончался. После полудня мы все собрались в клинике. Он лежит на постели, мирный, успокоившийся, лицо тихое, красивое. Его жена рассказывает, что вчера вечером он чувствовал себя еще достаточно хорошо. Сегодня утром, до того как она пришла, сиделка пришла поставить термометр. Он повернулся. И скончался. Сердце. «Он так вас любил!», и она плачет. А потом показывает на маленький столик у кровати: лежит открытая Библия (по-русски) и «Система Веданты» в переводе Деуссена. Книга открыта на главе Врама, как Радость: — «Не мрачная аскеза знаменует Мудреца Брамы, но радостное, полное надежды сознание единства с Богом». Мы вышли. Дочь Шестовых, Татьяна, нам рассказала, что не было никакой надежды, после того, как исследование показало, что он уже год страдает старческим туберкулезом. Похороны состоятся на Новом Кладбище, Булонь-Биянкур во вторник, в 9 утра.

иные времена

Когда-то наша эмиграция считала себя хранительницей и продолжательницей русской культуры. Тогда, в первый период эмиграции, эта задача была ей по плечу. Но задача сохранения русской культуры, в духе дореволюционных традиций, давно уже отпала. И не только потому, что старые культурные силы эмиграции истощились, а и потому, что за годы, когда эмиграция постепенно слагала с себя эту задачу, выполнение ее было перенято нашей интеллигенцией на родине.

Могут возразить: помилуйте, но ведь там всё осовечено, искажено, искривлено. Это так — и не так. С середины 30-х годов, затем во время и после войны, в Советском Союзе издано множество интереснейших исследований в самых различных областях русской истории и культуры, — и часто партийно-выдержанная скорлупа снимается с них так легко, что они ничего не теряют в смысле собирания и сохранения ценностей нашей культуры. Во стократ хуже обстоит дело с другим — с продолжением развития русской культуры, так как тут всё еще сковано цепями диамата и партийных предписаний. Но в этом отношении и эмиграции, пожалуй, хвастать особенно нечем.

Еще резче, еще выпуклее обрисовывается несостоятельность попыток эмиграции противосгоять большевизму и бороться с ним, основываясь на ревнивой приверженности к выражению «национальных чаяний» России, на защите ее «величия и достоинства». Тут вообще получилось любопытно: вся деятельность разных групп нашей эмиграции, которые пытались или еще пытаются вести политическую борьбу, стараясь перевести эту борьбу на родину, неизменно закваши-Антибольшевистская валась на «национальных чаяниях». борьба эмиграции, ведущаяся в духе и традициях русского освободительного движения, более или менее активная, кончилась еще где-то на Савинкове. Дальше — «Братство русской правды» или младороссы, РОВС или русские фашисты.

НТС, ЦОПЭ или СБОНР — вся их работа покрывалась трехцветным флагом и, несмотря на очень революционные декларации отдельных этих организаций, заявлениями о «возрождении» всё тех же «национальных чаяний». Оба эти элемента должны были и продолжают придавать работе эмигрантских организаций характер если не реакционности и реставраторства, то во всяком случае окаменелости.

Вероятно, это неудивительно. В свой первый период русская эмиграция с полным правом и верным ощущением пыталась основывать свою борьбу на защите национальных традиций и интересов: тогда коммунисты открыто выступали интернационалистами, которым было «на Россию наплевать». Но ведь эти времена давно прошли. Уже в 30-е годы коммунисты начали ревизию истории и насаждение «советского патриотизма». Война заставила их шагать в этом направлении семиверстными шагами. В конце концов они развели уже не патриотизм, а настоящий шовинизм. Война, к тому же, надо полагать, сильно сплотила народы России, — не вокруг партии и правительства, а в смысле осознания себя национальным единством.

Можно, конечно, и тут говорить, что всё это — «не настоящее». Но кто бы мог сейчас с достаточной ясностью сказать, в чем состоит вот в этот, нынешний момент, «русское национальное сознание», каковы русские национальные задачи, пути развития? Что-то мы не видим в эмиграции сколько-нибудь вразумительных деклараций на этот счет, которые убеждали бы нас не словами, а в какой-то мере верно угаданной динамикой нашего национального развития. Разные группы эмиграции в своей работе стараются лишь как-то подделаться под патриотическое и национальное чувство народа, они заявляют, что мы-де тоже разделяем это чувство, но не так, как коммунисты-обманщики, а по-настоящему. Но разве можно, — да и какой смысл, — состязаться в этом с коммунистами? Коммунисты охотно подчеркивают свою преданность всему русскому; отстаивая свой «советский патриотизм» они пишут всюду, где можно, не только «Родина» (обязательно с большой буквы), но и «Россия», «русский» и так далее. Посмотрите советские газеты: они любовно перепечатывают выдержки из иностранных газет, упорно пишущих вместо «Советский Союз» — «Россия», вместо «советское правительство» — «русское правительство» и тем помогающих коммунистам подделываться под чувство народа. Можно ли в этих попытках устраивать с коммунистами гонку хотя бы с каплей надежды на успех? Главное же не в этом: зачем эта гонка, если коммунисты выполняют, пусть против их воли и веры, наше же дело?

Вынужденные подлаживаться под национальное чувство народа, коммунисты целиком контролируют и используют его в своих целях. Коммунисты сумели прибрать к своим рукам многие самые ценные стороны русской истории, культуры, традиции — и обернули их на свою потребу. Конечно, они при этом многое искажают — тем не менее, хотя бы вынужденно, они сохраняют национальные ценности в душе народа. И попытка отобрать эти ценности у коммунизма, заставить его перестать спекулировать ими, когда он мертвой хваткой вцепился в них и имеет тут перед нами тысячи преимуществ, вполне бесплодна.

Может быть, это неизбежное проклятие всех эмиграций из стран, в которых старый порядок сметен революционным путем, нести на себе печать если не реставраторства, то духовной неподвижности и окаменелости, создаваемой грузной мечтой о возврате вспять, о «возрождении»? Из России эмигрировали не одни «белогвардейцы-помещики», не одни монархисты, у которых тяга к реставрации могла бы быть естественной. Эмигрировали многочисленные представители русского революционного и шире — освободительного движения, цвет русской интеллигенции, русская духовная элита. Но вот прошло тридцать с лишним лет. За это время более чем вековые традиции русского освободительного движения дома у нас были выкорчеваны совершенно и самым жесточайшим образом, пытками, расстрелами, концлагерями. Там в этом смысле сейчас — чистое поле, заросшее такими дикими сорняками, что надеяться на возникновение более или менее организованного освободительного движения сейчас на родине, без сильнейших усилий извне, пока не приходится. Прерваны все традиции, нет и условий для появления сколько-нибудь свободного, независимого политического сознания.

Но откуда же «извне» придут необходимые усилия? Разве в эмиграции сейчас в смысле освободительных традиций — не такое же чистое поле? Наша эмиграция накопила большие духовные богатства — сотни книг, статей, журналов, большей частью забытых или на худой конец полузабытых, разбросанных, растерянных — и не создала сколько-нибудь цельной идеи, которая могла бы стать стержнем хотя бы од-

ной из ветвей освободительного движения. И в эмиграции революционные традиции давно прервались, а то, что выдает себя за «революционные движения», мало что имеет сказать, кроме разве «долой». Это «долой», произносимое под трехцветным флагом, с вожделением всё того же обомшелого «национального возрождения», может трогательно объединять и явных контрреволюционеров и мнимых революционеров. Революцией, свежим ветром освобождения, тут и не пахнет, несмотря на все утверждения, что мы-де «старого не хотим». К сожалению, не видно тут и нового, сколько-нибудь достаточно осознанного, убедительного и желаемого, что обеспечивало бы освободительному движению абсолютно необходимый ему динамизм.

**

Русское освободительное движение всегда было теснейшим образом связано с западноевропейской мыслью. Со всеми своими ошибками, достоинствами и недостатками оно вытекало из этой связи и оплодотворялось ею. И не в том ли причина нынешней окаменелости нашей мысли, ее вялости и ущербленности, что мы прервали традиционность этой связи, изменили ей, забираясь в скорлупу национальной ограниченности? Прокламируя то или иное свое шевеление «движением мирового значения», на деле мы укрывались от мира куда-то в Чухлому. Может быть, мы настолько обожглись на марксизме, что теперь дуем и на воду?

Что ожог был, и в сильнейшей степени, сомнения нет. Коммунизм выступал и продолжает выступать под флагом мировой революции. Оставаясь во власти узко-национальных настроений, мы страстно протестовали против мировой революции, — вероятно, наша страстность не позволила нам заметить, что мы всё же оказались в условиях этой революции. Коммунистическая «мировая революция» есть комплекс определенных идей и действий, отвергаемых нами, но в мире происходит другая революция, отвергать которую наверное так же бессмысленно, как смену ночи днем.

Происходящие в мире в последние десятилетия изменения вряд ли можно считать только эволюционными: это качественные изменения и происходят они почти «скачком», в короткий исторический срок. И буквально во всех областях нашей жизни. В политической — за последние десятилетия

ушли в небытие десятки монархий, распались империи, освободились многие прежде колониальные народы. В социальной — кончилось господство аристократии, ведущую группу общества составляет сейчас пестрая смесь из предпринимателей, ученых специалистов, писателей, художников, партийных и профсоюзных деятелей и т. д. Что тут хорошо, что плохо, другой вопрос, несомненно однако, что общество изменилось и общественные перегородки стали по крайней мере другими и не такими непроницаемыми, как прежде.

Совершенно изменились так называемые «производственные отношения». Еще совсем недавно нельзя было представить, чтобы предпринимателя заставили отдавать до 90% своей прибыли в виде налога для покрытия расходов на государственные и общенародные нужды. Невозможно было вообразить, чтобы в некоторых случаях предприниматель платил своим рабочим пособие, если они оказываются безработными. Трудно было представить, какую роль приобретут профсоюзы, как разовьется социальное обеспечение, как малоимущие слои населения будут увеличивать свою долю в национальном доходе, реально влияя на управление и организацию государственной и общественной жизни. И если во всех этих и подобных им процессах далеко не всё протекает идиллически, то идиллии в жизни вообще отсутствуют, несомненно же одно: прежних «капиталистических отношений» в мире не остается, и строй, который устанавливается повсюду в свободных странах, капиталистическим больше называть не приходится.

Начало применения атомной энергии и широкое развитие автоматики, когда большие заводы смогут работать с минимальным количеством рабочей силы, обещают перевернуть наши представления о фабрично-заводском производстве и об отношениях между предпринимателями, техниками и рабочими.

Можно ли сейчас вести политическую борьбу, за переустроение общества на любых основах, не видя всех этих процессов?

Изменения в мире протекают хаотически, будто бы бессистемно. Но течение их таково, что невольно возникает мысль, что этот хаос подчинен единому порядку, какому-то творческому замыслу, который только теперь, пожалуй, можно разгадывать.

Всего несколько веков отделяет нас от открытия евро-

пейцами Америки, Индии, Китая и других стран. До этого Европа тысячу с лишним лет жила в сущности в изоляции от остального мира. Европа была только одной из частей мира, одной из его провинций, — таким, очевидно, должно было быть и ее мышление, несмотря на всю его универсальность. У Европы была бурная, очень беспокойная история, но это была всё же история только одной части мира, что не мешало нам считать ее сдинственно мировой историей.

Азия — тоже только провинция, часть мира. Китай, Индия, Япония и другие страны Азии имели свою бурную историю и тоже считали себя средоточием вселенной. Эти два мира веками жили, не влияя друг на друга. Потом европейцы, люди более молодой культуры, с помощью примитивных с нашей точки зрения самопалов, установили свое господство над рядом многомиллионных народов Азии на несколько веков. И Европа вообразила себя господином вселенной.

Эти империалистические взгляды уходят вглубь веков. Империя Александра Македонского или Римская империя были «мировыми империями». С нашей точки зрения они только отдельные клочки земли, населенные несколькими народами. Это были островки среди моря земли и народов. Но эти «островки», их история, вся наша до сих пор островная культура создавали наши представления, — в частности и о том, что мир будто бы обязательно должен быть подчинен господству одной силы. Но этот взгляд в корне противоречит нашим же убеждениям о праве народов на свободу и независимость — и наши прокламации свободы оказываются ущербными и неэффективными. Наши — иногда подспудные, иногда явные «великодержавные», империалистические настроения выхолащивают эффект будто бы освободительных прокламаций. И нам каждый вправе сказать: «врачу, исцелися сам».

Исцеление надо искать, вероятно, в изменении нашего «островного мышления», в расширении и раздвижении его, с помощью обращения к революционным изменениям в мире. Говорят, например, о «пробуждении народов Азии». Но народы Азии «пробуждались» за свою историю десятки раз. Дело, очевидно, не в их пробуждении вообще, а в характере их нынешнего пробуждения.

Мы часто утверждали, что Россия была захвачена коммунистами с помощью чуждого ей марксизма. Еще более удивительная, с этой точки зрения, история произошла с Китаем: он был захвачен коммунистами с помощью марксизма-ленинизма, казалось бы, в десятки раз более чуждого Китаю, чем марксизм для нас, русских, воспитанных всё же европейскими идеями. Япония, Индия, Бирма, Индонезия стараются идти собственными путями и особого желания подпадать под власть коммунизма не обнаруживают. Но, идя своей дорогой, на этой дороге они учатся демократии, тоже совершенно чуждому им образу правления и организации всей жизни. Они учатся демократии на свой, конечно, лад, но всё же они попали под власть идей свободы и демократии, хотя сумма и многие слагаемые этих идей (например, свобода и ценность личности) восточным народам прежде были совершенно чужды.

Европейцы принесли с собой в Азию и другие части света не только тяготы колониализма, но и идеи свободы и демократии, без которых может быть колониализм не был бы уничтожен еще столетия. Точно так же, как без этих идей не мог бы совершиться захват коммунистами ни России, ни Китая.

Двадцатый век — очевидно, век сплава основных идейных представлений, «своих и чужих», у совершенно разных до сих пор народов, век унификации этих представлений. Тем самым, история мира стала наконец всеобщей историей. Она перестала быть историей только Европы или Азии, Востока или Запада: она стала историей действительно мировой, обнимающей всю нашу планету.

Этот факт имеет огромное значение. Нынешнее состояние мира исключает успех «великодержавных» или империалистических настроений и притязаний на мировое господство. Оно делает эти настроения бесплодными. Это состояние мира вынуждает создавать и поддерживать Организацию Объединенных Наций, оформляя признание за каждой нацией права жить и развиваться по своей воле и представлениям, не нарушая такого же права других наций. Это право гарантируется общим признанием идей свободы и демократии, которыми вынуждены прикрываться и коммунисты. И это признание — отнюдь не формальное, не бумажное: оно сейчас в душах и сердцах народов. Поэтому кроме коммунистов сейчас нет в мире сил, которые могли бы попытаться вновь установить свое господство, скажем, над Индией или Египтом. Такая попытка в наше время была бы названа безумием. И неудивительно, что коммунисты свой империализм должны прикрывать идеей «освобождения колониальных и зависимых

народов», хотя такие народы освобождаются и без помощи коммунизма.

Веками внешнеполитические цели больших государств одной из первых задач включали в себя расширение территории. Тогда было и за чей счет расширяться. Это время кончилось: в мире не осталось незанятых мест и глухих углов, где не было бы радио и аэродромов. И недаром теперь попытки ведения внешней политики в прежнем направлении вызывают недоумение и недовольство: эта политика стала попросту бессмыслицей. Перед народами стоит совсем иная задача: организации мирового общежития.

Часто говорят, что человечество испугано двумя мировыми войнами и новой войны не хочет. Так оно и есть, в особенности теперь: атомное и водородное оружие — не игрушка. Обладая им, ни свободный мир, ни коммунизм не может решиться развязать новую войну, хотя поводов для нее было и есть достаточно. Но дело не в одном страхе. Дело также и в сознании, в ощущении, что при новом состоянии мира ни война, ни вообще прежние политические методы решения не дают.

Европа, говорят, потеряла свое ведущее значение, а Азия будто бы это ведущее значение приобретает. Очевидно, это весьма неточное определение. Европа попросту перестала быть и чувствовать себя обособленным и особым миром, который может диктовать свою волю другим наподам. Со скрипом и сопротивляясь (без большой охоты к сопротивлению!), европейские государства должны были уйти из Индии, из Индокитая, из Индонезии и из других колоний, как сейчас Франция уходит из Марокко. Потому что став сама лишь частью мира, Европа чувствует, что никакого господства над другими частями света она больше удержать не может. Последней, вполне безумной, попыткой в этом направлении был бесплодный взрыв фашизма, столько же физически чудовищный, сколько духовно немощный. Теперь Европа, в сущности, добивается только одного: отстоять свое место в мире, — на одно из мест она имеет такое же неотъемлемое право, как и другие нации или соединения наций в других частях света. И может быть то, что Запад сейчас только обороняется, это — проявление своеобразной мудрости со стороны народов, ощущающих, что их задача, при новом состоянии мира, — только удержать свое место, не расширяясь за счет других народов.

Всё это никак не снимает с очереди проблемы борьбы с коммунизмом, угрожающим свободе всего мира, всех народов. Отказ от физического господства совсем не обязательно предполагает отказ от идейно-политической борьбы. Эга борьба имеет сейчас решающее значение, определяемое уже самой унификацией мира под флагом идей свободы и демократии, общим, в том числе и для нашего народа, признанием этих идей. Поскольку эти идеи гарантируют каждой нации свободу и независимость национального развития, постольку каждая нация должна защищать их и иметь защиту от угрозы со стороны тоталитаризма. Это и является духовной основой и оправданием борьбы с коммунизмом. Оно коренится в том, что при нынешнем состоянии мира на смену физическому господству одних наций над другими приходит власть идей, общих для всех и признаваемых во всем мире без изъятия, обеспечивающих единство многообразия.

Идиллические представления о будущем мира под властью объединяющих человечество идей вряд ли уместны. В мире всегда будут какие-то местные конфликты, местные войны и другие неурядицы, что лежит в самой природе человеческой. Поэтому-то призывы к «сияющим вершинам коммунизма» или любого другого «изма» по справедливости воспринимаются сейчас весьма скептически. От наивных представлений о достижении полного совершенства в политической и социальной жизни мир в общем более или менее излечился. Но это не значит, что он перестал ставить это совершенство в качестве обязательного для себя идеала. При нынешнем духовном и материальном состоянии мира задача устроения мирового общежития народов является категорическим требованием. Либо оно будет выполнено, либо мы будем истреблены термоядерным оружием. А выполнено это требование может быть либо под флагом тоталитаризма, — тогда наступит длительная эра нового рабовладельческого общества, — либо под флагом идей свободы и демократии, сохраняющих возможность продолжения органического развития мира.

* *

Немыслимо вести борьбу с коммунизмом, пытаясь как-то игнорировать вот это состояние мира. Что приносит коммунизму успех? Очевидно, планетарность его идей и деятельности. Используя самые разные чувства народов, в том числе

и национальное, патриотическое, коммунизм зовет к созданию «братства народов», то есть к воплощению основной идеи эпохи. Действуя грубо, брутально, неуклюже, коммунизм настойчиво поддерживает впечатление о своей революционности, выступая в роли «могильщика старого строя». Он плывет в русле главного потока времени, в русле мировой революции, мировых изменений, ощущаемых повсеместно и глубоко отражающихся в сознании людей. Это и воздействует на людей, подчас гипнотически, и повсюду, у нас дома и заграницей. Между тем, революционен ли коммунизм? Он империалистичен, а потому реакционен, ибо в скрытой глубине своей он стремится к установлению не господства идей, а физического господства новой касты, удушающей свободу и демократию. Коммунизм — процесс не революционных изменений, а постоянного псевдореволюционного насилия и произвола, имеющего целью уничтожение жизненного разнообразия, сведение его к простейшей форме, подчиненной новой касте «управителей». Но коммунизм тщательно маскирует свою реакционность — и тут ему сплошь и рядом помогает свободный мир, идейно еще отстающий, как и мы сами, упрямо цепляющиеся, например, за тот же национализм.

Мы не можем ожидать революционных, в узком смысле слова, действий по отношению к коммунизму со стороны свободного мира. В нем сильны чисто охранительные тенденции и это вполне естественно. Холодная война, даже перемежаемая горячими стычками, война идей, не есть полное нарушение мирного состояния, а в таком состоянии невозможно ставить народы в осадное положение и лишать их прэва на мирную жизнь и мирные преобразования. Но то, что мы, эмиграция, не имеющие ни своей земли, ни мира, оказываемся тоже неспособными к действительно революционным, освободительным действиям и к революционному мышлению, — это надо было бы считать совершенно исключительным явлением.

Одна из основных причин этого печального явления — опять-таки в характере нынешней эмиграции, почти наглухо отделенной от своего народа. Мы не имеем реально ощутимой опоры на родине. У нас там больше наши думы и наша тоска. Но эта тоска оказывается неплодотворной. Она лишена постоянной поддержки с родины, она не имеет подкрепления ни людьми, ни идеями и мыслями, — да их сейчас на родине, в закупоренном и задавленном коммунизмом пространстве, и

нет. Есть лишь неоформленные чувства, ощущения, а не живые, возбудительные мысли и идеи. И потому между нами и нашим домом нет циркуляции идей, нет и откликов. И мы как в безвоздушном пространстве, мы как рыба, выброшенная на песок. Очевидно, поэтому и нет у нас сил, чтобы действовать, не страшась, в потоке общих перемен, общей революции. Нет сил, чтобы быть революционерами.

Коммунизм, с его тактической беспринципностью, не только наделен в высшей степени даром изворотливости. У него несметные силы, черпаемые из двухсотмиллионного народа. Всё, что есть в народе талантливого, способного, сильного, он прибирает к своим рукам: либо так или иначе «ставит на службу коммунизму», либо — уничтожает и держит в концлагерях. И получается парадоксальное явление: наш народ в большинстве своем, и в подавляющем большинстве, настроен антикоммунистически и потенциально представляет огромную опору для нас, — в действительности же эта наша опора работает на коммунизм, а для освободительной деятельности не остается и крох, не считая случайных перебежчиков, по десятку в год, из которых едва ли единицы могут стать политическими работниками.

В этом — кардинальная и, к сожалению, тоже мало учитываемая разница с дореволюционным временем. Тогда освободительное движение вбирало в себя лучшие силы общества и всего народа, не оставляя ничего царизму. Теперь ничего не остается нам. Тогда освободительное движение пользовалось материальной поддержкой своего народа и поэтому могло оставаться независимым, — теперь мы на тех или иных условиях можем иметь поддержку лишь от свободных стран, которая оказывается не только поддержкой, но и дополнительным бременем. А у нас тяжелого бремени достаточно и своего. Можно ли в таких почти безнадежных условиях надеяться на то, что эмиграция способна вести эффективную освободительную борьбу, основываемую на революционном мышлении именно нашего времени?

Вопрос этот — чисто реторический. Он не нужен и бесполезен — если у эмиграции нет сил для движения, которое было бы подлинно освободительным и которое поэтому могло бы быть перекинуто в Россию. Если нет людей, нет желания, нет способности к преодолению своей духовной окаменелости, к выходу из проплесневевшего чухломского подвала в ширь мира, нет способности к превращению унылой тоски

по родине в творческую тоску, рождающую творческие мысли и идеи, если этого нет — тогда всё бесполезно. Если есть — тогда может быть полезно всё.



Как уже говорилось, за всё свое существование эмиграция не выдвинула какой-либо освободительной идеи, которая могла бы послужить бродильным началом. Можно утверждать, что вся политическая эмигрантская деятельность базировалась только на недовольстве коммунистическим режимом, не больше. Преобладало «долой», — что «долой», еще можно было представить, да и то не всегда ясно, второй же части освободительной формулы, «да здравствует», так и не было. В лучшем случае подразумевалась некая розовая вода, якобы способная утолить всех жаждущих, дать выход способностям, открыть путь всей неистощимой народной энергии. Удивительно ли после этого, что мы не можем отнять у коммунизма народную энергию? Удивительно ли, что коммунизм присваивает эту энергию себе, если никто другой не показывает ей выхода?

Кажется, только младороссы пытались выработать свою большую идею, свою веру, тоже на сугубо «национальной основе» — что и привело их к Сталину. В молодости правильно ощущал необходимость новой идеи НТС и работал в этом направлении, но молодость НТС давно и, пожалуй, бесславно, прошла. Вообще же эмиграция занималась, вот уже скоро сорок лет, выражением «непримиримости», более или менее не пытаясь говорить, чего же она хочет для России. Были выработаны сотни «платформ», умещавшихся на листке ученической тетради, — они удовлетворяли разве одних составителей, но ничьих сердец не зажигали.

Может быть, это было естественным: было чувство, было желание, но еще была «темна вода во облацех», еще не был понятен ход событий, еще было неясно, куда дует ветер истории. Тогда простительно было увлечение национализмом и фашизмом, чем в той или иной мере переболели чуть ли не все народы Европы. Но давно разгромлен фашизм, рассеялись многие туманы, в мире произошли разительные перемены и само время дает нам в руки богатейший идейно-политический материал для борьбы с коммунизмом. Сумма духовного и материального состояния мира позволяет сейчас четко наметить демократические пути внутреннего развития России и ее участия

в международных делах, ее место на мировом форуме. Однако, это место, по-своему и для своих целей, захватывают Хрущевы и Булганины, в качестве коммивояжеров коммунизма разъезжающие по свету. Этим захватом они уловляют и ощущение нашего народа, что иначе, как стремлением к «братству народов» (коммунистическая перефразировка стоящей на повестке дня организации мирового общежития народов), современные проблемы решены не могут быть. А эмиграции по этому поводу, очевидно, нечего сказать своему народу. Эмиграция апеллирует лишь к недовольству, добавляя к своим прокламациям образ двуглавого орла или трезуб.

Поднимет ли наша родина над собой, после коммунизма, двуглавого орла или какой-то еще знак, кто же знает? В какой форме и мере будет она обладать чувством великодержавности, неотъемлемым у каждого великого народа? Гадания на этот счет, по образцу производимых в эмиграции, можно считать не только ненужными, но и вредными, уводящими внимание далеко в сторону от задач освобождения. Эта сторона, вообще говоря, не может беспокоить нас ни в малейшей степени. Залив Россию кровью с головы до пят, коммунисты не могли выжечь из души народа ни патриотического чувства, ни чувства своей национальности, — а мы беспокоимся, как бы эти чувства не пропали, если мы не будем работать над сохранением их! Может ли быть более разительный пример бесплодности нашего беспокойства?

Пытаться бороться с коммунизмом с позиций одного национализма вполне безнадежно. Безнадежно и безыдейное «делание революции», путем попыток какого-то коммунистического аппарата и проникновения в его среду, или попытки разжечь недовольство до того, чтобы вызвать, скажем, разинщину. Всё это — пустое дело. Достаточно проанализировать, например, ход забастовок в концлагерях в последние годы, — там, где, по некоторым понятиям, будто бы собран самый горючий человеческий материал, — чтобы увидеть, что надежды даже на сколько-нибудь колеблющие власть бунты имеют под собой очень зыбкую почву. Эти забастовки и волнения не имели революционного характера и были только «бунтом на коленях» не выходивших из повиновения строю людей. В условиях тоталитаризма и бунт революционное явление, но с ним, пока у людей нет скольконибудь революционного сознания, власть может справляться без труда.

Коммунистическая власть в Советском Союзе технически обладает огромной силой. Как бы бюрократически и скверно ни работал аппарат этой власти, он оказался пригодным для управления страной и для подавления недовольства и любых вспышек среди народа. Идейно коммунисты остаются монополистами и они попрежнему не оставляют свободы для возникновения независимой политической мысли. Поэтому основательны заявления, что коммунистическую власть в России нельзя уничтожить иначе, как войной. Но идейно-политическая борьба — тоже война. Ее нужно лишь чрезвычайно усилить, а главное — оснастить современным действенным оружием. Надо вести эту борьбу так, чтобы она сливала, сплавляла духовно наш народ с идеями и настроениями народов всего мира, тем самым освобождая его от всякой психологической зависимости от коммунизма. Только за этим может придти и физическое освобождение от власти коммунизма.

С такими движениями, как коммунизм, очевидно, нельзя вести успешную борьбу со сколько-нибудь старых позиций и под ветхими знаменами. Но коммунизм можно и должно опережать, не останавливая, или не приостанавливая, развития, а открывая перед народом, перед его наиболее активными силами, новые пути, иные задачи. В сущности, это и делают страны свободного мира у себя дома. Демократические преобразования в свободном мире в последние десятилетия обеспечивают ему прочные перспективы развития, на основе социального и международного мира. Эти преобразования идут повсюду, включая и недавно освободившиеся от колониальной зависимости страны. Они давно обгоняют коммунизм, он по всему фронту остается позади. Но идейно-политически коммунизм не обезоружен и потому он может еще не только удерживаться, но и динамически проявлять себя.

Материал для идейного обезоружения коммунизма и вооружения нашего народа дает нам всё современное состояние мира, его развитие, его течение. Это богатейший капитал, — к сожалению, он почти не используется. Этот капитал не попадает к нам на родину. Если свободные страны в своих радиопередачах еще как-то его используют, то эмиграция в своей пропагандной деятельности «на ту сторону» умудряется его полностью игнорировать. А только в нем — условие победы. Он дает полную возможность создавать реальную картину будущей России во всех областях ее жизни и — в общей связи, в общем сплаве с жизнью всего мира. Только

это и может быть возбудительным началом, освобождающим народ от влияния коммунизма и вооружающим его на борьбу за освобождение.

Этой работы некому выполнять, кроме эмиграции. Положение эмиграции как говорилось выше, очень тяжелое, ее давят десятки разных тяжких обстоятельств. И весь вопрос в том, сумеет ли эмиграция преодолеть эти трудности, возвыситься над ними и включиться в поток мировых событий? Тогда она сможет вести за собой и народ, несмотря на свою территориальную от него оторванность и на любые «железные занавесы». Тогда ее роль будет не только пассивной, даже и в этом качестве беспокоящей коммунизм, — тогда эмиграция стала бы активным политическим фактором освободительной борьбы нашего народа.

Г. Андреев

ОЧЕРНЕНИЕ СТАЛИНА

Иногда в развертывании исторических событий, — как и детективного романа, — сам по себе незначительный факт служит как бы зацепкой, исходя от которой можно проникнуть в то сокровенное, что хочется и нужно познать. В отношении новейших событий в России такой факт недавно произошел.

4-го мая председатель Верховного Суда СССР А. Волин в беседе с группой французских социалистов сообщил, что еще в 1953 году Президиум Верховного Совета упразднил особое совещание при МВД, которое по закону имело право «приговаривать» социально-опасных личностей к высылке и заключению в концентрационных лагерях, прибавив, что этот указ Президиума никогда не был опубликован. Этот последний факт, т. е. неопубликование указа, и наводит на размышления. Всякий режим, проводя какую-либо либеральную реформу, стремится придать ей как можно больше гласности, часто преувеличивая ее значение. В данном случае произошло нечто почти небывалое: такая либеральная реформа как отмена административной ссылки (восполненная тогда учреждением специальных комиссий для пересмотра «пригоговоров» особого совещания) была проведена, но скрыта от публики. Очевидно, в последней нужно было сохранить спасительный для режима страх; но носителям верховной власти нужно было застраховать себя и в особенности своих клевретов, группирующихся в «кланы», возглавляемые дельными носителями власти, от систематического, а иногда массового уничтожения со стороны политической полиции. Правда, с момента ареста Берии эта последняя была сильно сокращена в значении и власти; но она осталась, и не могла не остаться; а самая ее наличность всегда представляет опасность развития ее в «государство в государстве», обращения в самодовлеющую силу, способную в один прекрасный — или не столь прекрасный — день навязать свою волю тем, кто почитает себя всесильными.

Итак, из недавнего сообщения А. Волина можно вычитать подтверждение того факта, что в 1953 году, после смерти Сталина, новые властители России были обуреваемы страхом. Кого же они боялись? Конечно, прежде всего самих себя, вернее каждый всех остальных.

На этой почве и создалось то «коллективное руководство», которому теперь поются официальные славословия. Оно утвердилось — мы не знаем на сколько времени — не потому, чтобы преемники Сталина возлюбили его. Оно пришло как объективный факт, как выражение необходимости, заложенной в положении вещей, и только что упомянутые славословия — только оправдание факта, а не выражение идеи, проведение которой изменило бы действительность. Но раз коллективное руководство стало объективной необходимостью, то такой же необходимостью стало развенчание противоположного принципа, единоличного руководства. Единственной альтернативой было бы утверждение факта, что коллективное руководство существовало и при Сталине. Но это означало бы для новых властителей принятие на себя всех грехов Сталина. Они, конечно, в них полностью повинны, но им нужно от них отмежеваться, и это ради второго источника страха, — страха перед явным для них, широко разлитым в массах, сумрачным недовольством, злорадством, изощренным пассивным сопротивлением.

Был у них конечно и третий источник страх — страх перед надвигавшейся под конец жизни Сталина третьей мировой войной. Менее чем Сталин проникнутые варваризованным марксизмом они, тогдашние помощники Сталина, а нынешние руководители судеб России, отлично понимали, что идти во внешней политике сталинским курсом больше нельзя, — он вел в тупик, а тупики в международной политике почти автоматически разрешаются войнами. Поражение, вероятно, не казалось им неизбежным; но возможность его они сознавали — и принимать риск его не хотели. В этом, вероятно, был главный корень их расхождения со Сталиным, которое так ясно обнаружилось на 19-м партийном съезде, особенно в замене компактного Политбюро разводненным президиумом ЦК партии. Номенклатурную реформу было неудобно отменить, но по существу эту против них направленную реформу они поспешили отменить как только власть им досталась. Для отклонения международных дел от развития в сторону третьей мировой войны, которой диадохи продолжали страшиться,

очернение Сталина опять-таки оказалось великолепным средством. Вместо отталкивающе сурового единоличного диктатора — улыбающиеся и медоточивые «кремлевские близнецы», сознающиеся во многих ошибках прошлого режима, к которому они как будто непричастны. С ними как будто можно разговаривать, на них можно положиться. Такие веяния всё сильнее распространяются среди политически наивных наций, недавно получивших независимость, но также и в некоторых усталых нациях, особенно во Франции. Противосоветский блок несомненно ослаблен и на агрессивную политику против СССР не пойдет, чего он, вероятно, и раньше не собирался делать. Но сейчас он, пожалуй, и на новую корейскую акцию неспособен.

Очернение Сталина, таким образом, оказалось выгодным во всех отношениях. Указывают, правда, на возможность подрыва авторитета новых властителей в порядке постановки им вопроса — а вы где были, когда Сталин совершал свои злодеяния и ошибки? В принципе оно, конечно, так. Но на практике, как это часто бывает, получается несколько иначе. Внутри страны никто фатального вопроса задать не посмеет. А вопрос, никогда никем не заданный, понемногу снимается с очереди. Новый режим будут судить не по тому, что его руководители делали вчера, а по тому, что они делают сейчас — об этом несколько слов будет сказано ниже. Вовне заядлые анти-коммунисты этот вопрос ставят и будут ставить. Но они и так анти-коммунисты, и усугубить эту их установку нельзя. Некоторую неловкость ощутят коммунистические партии, работающие в стане врага — их главарей могут спросить, — а где вы были при Сталине? Кое-где кое-кого снимут. Но то смутное духовное состояние, в коем пребывают коммунисты западных стран, Азии или Африки, вряд ли существенно изменится; оно более эмоционально, нежели рационально, а те глубокие причины, которые к нему приводили и продолжают приводить, лишь в малой мере могут быть поколеблены темными и непонятными переменами в Москве. Остается политическое «болото» — те, кто ни за коммунизм, ни против, те, кому всё равно. Но им будет так же всё равно, как было.

Что же представляет и что делает это коллективное руководство, которое занялось очерненьем Сталина? Чтобы понять, что оно представляет, лучше всего противопоставить его сталинскому режиму. Тот режим можно было уподобить централизованной солнечной системе: вокруг одного огромного центрального тела вращается по определенным орбитам несколько много меньших, которые, однако, не остаются без влияния друг на друга: планета Нептун, как известно, была открыта через «возмущенье», которое она производила в движении Урана.

Нынешний режим можно уподобить многозвездной системе. В такой системе все тела вращаются вокруг центральной точки, ничем не занятой — ей, в нынешнем московском режиме, соответствует абстрактное понятие верховной власти. Тела эти разных размеров; сейчас в московском режиме два — значительно больше остальных. Они вращаются теоретически по установленным орбитам, но взаимные возмущения настолько значительны, что некоторые из них с орбит соскальзывают и как бы отходят прочь; другие могут столкнуться и взорваться. Предсказанье в этих условиях затруднительно; уже и «задача трех тел» математически почти неразрешима, а задача десяти или двенадцати — что отвечает московской обстановке — далеко превышает возможность расчета. Есть три возможности: одна — которое-то из трех тел попадет на центральную точку, поглотит несколько второстепенных и станет так же главенствовать, как солнце в своей системе; иными словами, коллективное руководство уступит место единоличному, которое будут так же прославлять, как сейчас восхваляют коллективное. Другая возможность — распад всей системы и рожденье на ее место новой. Третья возможность — длительное существование сложного созвездия со всеми его неопределенностями. Какая из возможностей осуществится — предсказать невозможно. Слишком многое зависит от «коныонктуры», т. е. от непредвидимого стечения обстоятельств.

Но пока многозвездная система существует и действует. Что же она сделала за три с лишним года своего существования? Ответ на этот вопрос, понятно, может быть здесь дан не в виде обзора событий, всем известных и памятных, а в порядке подведения итогов.

В сфере чисто политической, кроме самого факта вынужденного перехода от единоличного к коллективному руководству и оправдания последнего в порядке очерненья Сталина, не произошло ничего: новое коллективное руководство так же крепко держит в своих руках всю полноту власти, как прежнее единоличное, не подпуская к власти никого, и никаких послаблений по части «субъективных личных прав», в виде свободы совести, печати, собраний, союзов и т. д. не последовало. Но некоторые изменения в близкой к политической — правовой — сфере произошли: совсем недавно Президиум Верховного Совета отменил «кировские законы», т. е. законы, вызванные убийством Кирова и обратившие политические процессы в бесформенную расправу — подсудимый получал обвинительный акт за сутки до суда, мог быть лишен защитника, не имел права апелляции в случае осуждения, должен был быть расстрелян через сутки после вынесения приговора. Вспомним однако, что к знаменитым процессам 30-х годов (кроме дела Тухачевского) этот порядок применен не был, так как уничтожить политических врагов легко и без него. Но с другой стороны, олицетворенная в Вышинском практика осуждения на основании вынужденного сознания обвиняемого официально подвергнута строгой критике. Эти изменения внушены, пожалуй, первым из трех страхов, выше обрисованных — страхом взаимного уничтожения верхушки.

Одновременно отменены и самые ненавистные из законов по трудовой части, а именно те, которые возлагали суровые кары за мелкие нарушения трудовой дисциплины (прогул, опоздание и т. п.). Это сделано, вероятно, ради второго из трех страхов, страха перед враждебной настороженностью населения. Интересно, однако, что тут, как и по вопросу об отмене особого совещания, реформа была провсдена исподтишка: уже несколько лет назад законы об уголовных карах за нарушение трудовой дисциплины перестали перепечатываться в официальных изданиях уголовного кодекса. Так что нынешняя реформа является лишь формальным запечатлением чего-то уже совершившегося. Как будто новые властители пошли ощупью — что-то будет, если эти драконовские законы отменить? Ничего плохого не вышло, и их отмену официально объявили, воспользовавшись этим как новым поводом, чтобы лягнуть Сталина.

В сфере экономической ничего существенного не произошло: вздыбливанье России в угоду идолу ускоренной индустриализации, направленной на укрепление промышленной базы, продолжается; никакого существенного отхода от сталинской динии не произошло и по части коллективизации. Совсем наоборот: в воздухе опять носится идея сведения крестьян в агрогорода с почти полной отменой ростков инди-

видуальных хозяйств внутри колхозов. Таким образом, намечавшееся было Маленковым (и поддержанное тогда и Хрущевым!) отступленье на позицию ускоренного развития легкой промышленности ради умиротворения изголодавшихся по всяческим товарам масс, — отменено. Сделано это не столько во имя вооружения, как это часто пишут, сколько во имя одной из фаз новой внешне-экономической политики — вступления в открытое соперничество с Западом на внешнем рынке и на рынке завоевания симпатий, так называемых, нейтральных стран, в порядке оказания им экономической помощи. Но одна из наметившихся при Маленкове линий сохранилась: новые властители произвели довольно значительные расходы из своего огромного золотого запаса (около 12 миллиардов долларов, по исчислению экспертов в 6 раз больше дореволюционного золотого запаса, но всё же лишь около половины американского). Расходы эти производятся преимущественно для закупки товаров, в которых особенно нуждаются привилегированные классы советского населения, но отчасти и продовольствия, не столько для удовлетворения масс, сколько для вызова симпатий в таких странах как Бирма или Египет, страдавших от невозможности сбывать свое сырье.

В сфере религиозной, 1954 год ознаменовала было усиленная антирелигиозная кампания, в чем можно было усмотреть «возврат к Ленину от Сталина». Но за полтора года, прошедшие с известной резолюции ЦК от 11-го ноября 1954 г., выражавшей порицание тогдашней политике, всё вернулось к тому, как было при Сталине, даже с усиленным подчеркиваньем благоволенья власти к покорным иерархам (но, конечно, не религии). Это идет отчасти по линии умиротворения масс, вновь было насторожившихся под влиянием резкой антирелигиозной кампании, отчасти по линии новой международной политики, на служенье которой иерархи вновь усиленно привлекаются.

В сфере интеллектуальной и эстетической деятельности нажим несколько смягчен. Диктатура Лысенко огменена и не заменена новой. С ученых снята обязанность превозносить Сталина и поносить Запад; напротив того, внимательная слежка за Западом вменена им в обязанность с целью извлечения всего для Советского Союза полезного. Можно думать, что ученые чувствуют себя несколько легче. В области литературы и музыки было пущено несколько пробных шаров в сферу свободы творчества; но ничего определенного пока не

получилось. Но самое исчезновение единоличного и всевластного arbiter elegantiarum — кремлевские близнецы пока на это положение не претендуют — служит некоторой отдушиной.

По части образовательной сделано несколько шагов назад к Ленину: восстановлено совместное обучение мальчиков и девочек, и вынута из нафталина идея политехнического образования. В преподавании истории отменены некоторые, Сталиным инспирированные, фальсификации — опять-таки с хулой по адресу последнего.

Классовый характер нового советского общества полностью сохранился. Не изменилось ни число классов, ни дифференцирующие признаки, ни различие в их преимуществах. Произошел, однако, один существенный сдвиг: армейская верхушка, которая при Сталине проникала лишь во второй сверху класс, ныне допущена и в самый верхний. Послужит ли это к укреплению режима? Или сыграет роль троянского коня? Ответ на этот вопрос так же невозможен, как и разрешенье проблемы многозвездия, отвечающего нынешнему коллективному руководству.

По существу, изменения по сие число не слишком значительны. Их размах далеко не соответствует огульному очернению Сталина — от его режима осталось 90, если не 95 процентов. Это обстоятельство сыграет решающую роль при выработке ответа на тот вопрос, который в Советской России нельзя задать открыто, но в душе ставится всяким мыслящим человеком: а где вы, чернители Сталина, тогда были? И ответ будет — вы очевидно были с ним, ибо в основном продолжаете его дело. Из этого вытекает, что второй из страхов нынешних властителей России еще не скоро рассеется; вернее, этого никогда не будет.

Гронинген, Голландия, май 1956 г. Н. С. Тимашев

ПРОБЛЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ ДИКТАТУРЫ

В России происходят перемены. Это — очевидный факт, которого никто не оспаривает. Но горячо спорят о том, какие перемены, как определить их значение. Можно ли говорить о больших переменах? Являются ли они существенными или незначительными? Вопрос в том, как их измерять? Всякое измерение есть сравнение -- определение величины по сравнению с каким-либо мерилом. Метр — очень большая всличина по сравнению с милиметром и очень малая по сравнению с километром. Для измерения явлений общественной жизни — в нашем случае происходящих в России перемен --такого мерила нет. Тем не менее их оценка зависит от выбора критерия, то-есть какого-то мерила, с которым мы эти перемены сравниваем, по которому мы их «мерим». И в зависимости от того, что мы берем за критерий, разница в оценке может быть очень большой. Сознательно или бессознательно, мы чаще всего принимаем, как критерий, или то, что мы хотим, или то, что было. По тому или другому из этих критериев разница оценки может оказаться прямо-таки огромной.

Допустим, что мы хотим, чтобы Россия стала страной демократической. Надеюсь, что для большинства читателей это допущение является естественным. В происходящих переменах мы не видим движения в направлении к демократии, они происходят строго в пределах режима диктатуры. Поэтому при этом критерии они могут представляться ничтожными. Но гражданам Советского Союза такая оценка должна казаться совершенно дикой. У них другой критерий, который им дан их повседневной жизнью. Они не наблюдают, а переживают и сравнивают то, что переживают сегодня, с тем, что переживали вчера. Освобождение заключенного из лагеря еще не есть демократия. Существуют и недемократические государства без концентрационных лагерей. Но для того, кого выпустили из лагеря, изменение условий его существования является очень большим. И не только для самого заключенного. Раньше в СССР нельзя было встретить человека, у которого кто-либо из его родных или знакомых не был «репрес-

сирован». Теперь, приезжающие из России единодушно говорят, что нельзя встретить человека, у которого кто-либо из родных или знакомых не был бы освобожден. Разница не только большая, но именно существенная, потому что она существенно меняет самые условия существования. И подобное рассуждение может быть применено к другим мероприятиям. Наше право критиковать отсутствие гарантий, указывать на то, что при режиме диктатуры прочность происходящих изменений не является обеспеченной. Но люди там, даже если они сами об этом думают, всё же прежде всего переживают эти перемены, ощущают на себе их действие, в какой-то мере освобождаются от гнета, сковавшего их мысли и чувства. И для понимания того, что происходит в стране, это самое главное. Теперешняя политика диктатуры явно рассчитана на вызов определенных реакций населения. Проблема отношений между управляющими и управляемыми приобрела новое значение. И только в связи с этой проблемой можно подойти к пониманию значения происходящего теперь развенчания и разоблачения Сталина.

Развенчание Сталина изображается, как осуждение «культа личности». Это — своего рода литературная фигура: часть вместо целого. Самовозвеличение и возвеличение Сталина были одним из проявлений единоличной диктатуры. Осуждая культ личности, наследники Сталина утверждают принцип диктатуры коллективной, именуемой «коллективным руководством». Я знаю, что у некоторых читателей это заключение вызовет снисходительную улыбку: — «Наивный человек! Он, повидимому, действительно верит в возможность коллективной диктатуры. Но таких диктатур не было и быть не может». Ла, я действительно думаю, что теперешние правители хотят избежать единоличной диктатуры и утвердить диктатуру коллективную. Удастся им это или нет, вопрос другой. Но если и не удастся, то не обязательно потому, что коллективная диктатура вообще невозможна, что почему-то считается не требующей доказательств истиной. Между тем эта мнимая аксиома является большим препятствием для познания и понимания того, что после смерти Сталина происходило и происходит в Советском Союзе. Недаром эти три года были так богаты теориями и предвидениями, которые очень скоро опровергались событиями.

Вопрос о возможности коллективной диктатуры имеет не только теоретический интерес, но и очень актуальное поли-

тическое значение. Если диктатура неизбежно должна стать единоличной, то нынешняя организация власти в Советском Союзе не может быть устойчивой и имеет только временный, переходный характер. Тогда мы должны ожидать острого кризиса в борьбе за власть, завоевания единоличной власти победителем и, если не точного повторения сталинского режима, то его восстановления в основных чертах. Если же коллективная диктатура возможна и теперешняя организация власти в Советском Союзе является в основном устойчивой, то мы имеем перед собой новую форму режима диктатуры, если еще не в законченном виде, то в процессе формирования. В этом случае мы не можем отделаться предсказанием: завтра они подерутся. Мы должны стараться определить, в чем же состоит для теперешней коллективной диктатуры проблема власти, и как она старается решить эту проблему. Поэтому и нужно прежде всего выяснить, является ли признание невозможности иной диктатуры кроме единоличной действительно аксиомой, на основании которой можно предвидеть судьбу советской власти в ее теперешней форме. Если да, то дальнейшие рассуждения о характере и проблемах этой власти станут излишними.

Я не знаю ни одной попытки такого анализа диктатуры, как формы власти, который приводил бы к обоснованному выводу, что диктатура обязательно должна быть единоличной. Такое утверждение обычно сопровождается ссылками на историю. Коллективных диктатур никогда не было. Или: раздел власти между несколькими диктаторами всегда приводил к установлению единовластия одного из них. Я пока оставляю в стороне вопрос о правильности этих ссылок. Даже если они правильны, они не дают основания для того вывода. ради которого они делаются. Тут мы имеем дело с двумя видами логически недопустимых заключений. Одно из них: этого никогда не было, значит этого не может быть. Другое: так всегда было, значит так и будет. Но ведь всё когда-нибудь происходит в первый раз. Допустим, что коллективной диктатуры никогда не было. Надо еще доказать, что она не может осуществиться в первый раз. Допустим, что один из диктаторов всегда устранял своих партнеров или соперников. Надо еще доказать, что совместная диктатура нескольких человек жекогда не может стать устойчивой.

Нужно вообще осторожно относиться к аналогиям: аналогия не есть доказательство. В лучшем случае она указыва-

ет на вероятность того или иного оборота событий. Это отнюдь не значит, что аналогиями вообще нельзя пользоваться. Для историка сравнения могут быть очень плодотворными, помогая выяснять характер изучаемой им ситуации. Но, сравнивая различные ситуации, историк ищет — должен искать — не только сходств, но и различий. А различия могут быть настолько велики, что две ситуации, несмотря на некоторые элементы сходства, никак не могут быть признаны аналогичными, а тождественных ситуаций вообще быть не может. Я не могу здесь уйти в область теории исторического познания и несколько остановлюсь только на том, что имеет самое прямое отношение к вопросу о возможности коллективной диктатуры.

Борьба наследников за власть. Я видел и слышал ссылки на диадохов и их борьбу за наследие Александра Македонского. Была ли ситуация сколько-нибудь аналогична той, которая создалась в России после смерти Сталина? В своей «Истории античного мира» Ростовцев характеризует империю Александра как искусственное образование чисто военного характера, в котором разлагающие тенденции преобладали над объединяющими. Это определило характер борьбы за наследство, естественным исходом которой был распад имперни Александра на несколько государств. Каждый властолюбивый генерал, не будучи в состоянии овладеть властью над всей империей, захватывал себе кусок этого рыхлого, неоформленного целого. В нашей стране такого положения не было. Римские триумвираты? Но это было не коллективное руководство всей гигантской империей, а сговор для совместного давления на Сенат и о разделе власти с распределением различных задач на отдаленных одна от другой территориях. Какое же при тогдашних средствах сообщения могло быть коллективное руководство, когда Помпей был в Риме, а Цезарь вел войну в Галлии? Является ли это доказательством невозможности коллективной диктатуры?

Я коснулся этих примеров только потому, что часто встречал ссылки на них в качестве иллюстраций оспариваемой мной «аксиомы». Воздержусь от соблазна остановиться на примере средневековой Венеции, который мог бы служить примером возможности коллективной диктатуры. Я не считаю такой ссылки доказательной для моей точки зрения опять-таки в виду слишком большого отличия исторической обстановки, несмотря на элементы разительного сходства.

Аналогичные ситуации надо искать ближе к нам по времени и ближе по своему характеру к условиям Советского Союза. Минуем Наполеона, который фактически сразу после переворота 18 брюмера стал единоличным властителем, хотя формально был одним из трех консулов. Но имеется ситуация, сравнение с которой напрашивается само собой и для нашей цели является обязательным. Это — положение после смерти Ленина, сравнением с которым на первый взгляд можно воспользоваться для подтверждения «аксиомы».

Положение после смерти Сталина может представляться не только аналогичным, но в некоторых отношениях прямотаки тождественным с положением после смерти Ленина. Именно поэтому я и сделал замечание, что тождественных ситуаций быть не может. Поясню, что я имею в виду. Возьмем такой воображаемый случай, что какая-то ситуация характеризуется всеми теми чертами, которые раньше уже имела иная, и эта новая ситуация таким образом повторяет предыдущую. Является ли такое положение тождественным? Нет, потому что новая ситуация отличается именно тем, что ей уже предшествовала прежняя с теми же характерными чертами. Другими словами, новая ситуация отличается тем, что она включает опыт предыдущей. Наследники Сталина знают судьбу наследников Ленина. Они знают, каким путем и какими средствами Сталин «достиг высшей власти». И свои решения после смерти Сталина они принимали, считаясь с этим опытом. Но кто были эти наследники? Кто принимал решения о распоряжении властью унаследованной от Сталина? Посте 19 съезда вместо старого Политбюро был образован президиум из 25-ти человек. После смерти Сталина в президиуме осталось 24. Когда принимали решения об организации новой власти, об этом многолюдном президиуме словно и не вспоминали. Состав президиума был сейчас же сокращен до десятка человек. Ясно, что это сокращение было проведено не тем большинством -- четырнадцать из двадцати четырех, — которое не вошло в новый президиум. Но в упраздненном президиуме было восемь человек из старого политбюро (Берия, Булганин, Ворошилов, Каганович, Маленков, Микоян, Молотов и Хрущев). Эти восемь человек и составили новый президиум с присоединением к ним Первухина и Сабурова. По существу это было восстановление старого политбюро, бывшие члены которого и переняли власть, как наследники Сталина. Этот президиум стал и остается правящим органом диктатуры. Президиум Совета министров был образован в составе председателя Маленкова и четырех первых заместителей -- Берия, Булганина, Кагановича и Молотова. Все пять -члены президиума партии. Микоян стал просто заместителем. В декабре 53 года были назначены заместителями председателя Совета министров еще пять человек, из них двое — Первухин и Сабуров — члены президиума партии. В результате в расширенном президиуме Совета министров оказались все члены президиума партии за исключением Ворошилова, как главы государства, и Хрущева, ставшего к тому времени первым секретарем партии. Но следует подчеркнуть, что первоначально президиум Совета министров был образован в составе пяти членов президиума партии. В этом, с одной стороны, отчетливо выразилось безраздельное господство президиума партии, а с другой предпочтение наследниками Сталина малочисленного состава правящих органов. В этом и сказалось решение установить коллективную диктатуру и предотвратить возврат к диктатуре единоличной.

В самом деле: почему нужно было сократить число членов президиума партии? Я, конечно, не знаю, какие аргументы приводились при обсуждении этого вопроса «наследниками», но объяснение представляется мне очевидным. Президиум в 24 или 25 (если бы умерший Сталин был заменен одним из одиннадцати кандидатов) был бы слишком громоздок для постоянного коллективного обсуждения и решения всего того множества вопросов, которые в сверхцентрализованной системе диктатуры неизбежно доходят до ее верховного органа. После смерти Сталина стало известно, что в многолюдном президиуме существовало еще бюро президиума, которое было упразднено «наследниками». Какая-либо группа должна была бы выделиться и в многолюдном органе коллективной диктатуры. Кто определял бы состав этого более узкого президиума? Это стало бы предметом борьбы и интриг внутри органа, все члены которого равны, но некоторые должны быть «более равными», чем другие. Я не сомневаюсь, что наследники вспоминали, как Сталин в свое время маневрировал, чтобы стать «наиболее равным» в тогдашнем центральном комитете. Чтобы установить коллективную диктатуру, нужно было точно определить ее состав, что и было сделано.

Было ли искренним это решение установить коллективную диктатуру? Возможно, что не все, кто принимал это решение, делали это без задней мысли. У того или другого, наверное, было желание со временем добраться до своего собственного единовластия. Но каждый прежде всего хотел помешать тому, чтоб единоличным диктатором стал кто-нибудь другой. Как особенно ясно из речи Хрущева на секретном заседании последнего съезда, все эти «соратники и ученики» Сталина пережили достаточно страха и унижений, чтобы меньше всего хотеть попасть в зависимость от нового тирана. К тому же они опять-таки хорошо знали судьбу действительных и возможных соперников, устраняемых претендентом на единовластие. Новое положение в драме власти отличалось тем, что ее актеры имели опыт предыдущей аналогичной ситуации. Они помнили и то, как Сталин использовал свое положение генерального секретаря партии, которое он, как единоличный диктатор, с 1941 года совмещал с постом председателя совета министров. Сменив Сталина на этом посту, Маленков должен был отказаться от секретарства в ЦК партии.

По существу в этих мерах не было ничего нового. Новый президиум точно соответствовал старому политбюро. Сталин до 1941 года был только генеральным секретарем партии, но не был председателем совета министров. Он стал единоличным диктатором, не совмещая этих должностей. Его наследники — и ученики — не могли считать проведенную ими реорганизацию высших органов достаточной гарантией против возврата к единоличной диктатуре. Они наверное считали, как Лассаль, что действительная конституция это — реальное соотношение сил. И действительной проблемой коллективной диктатуры является предотвратить такое соотношение сил, опираясь на которое тот или иной претендент мог бы стать единоличным диктатором. А благодаря какому соотношению сил Сталин мог этого добиться, они знали очень хорошо много лучше, чем это могут знать люди, не принадлежавшие к узкому кругу вокруг Сталина. Они знали и ответ на вопрос: как вообще возможна единоличная диктатура? Хотя они вряд ли ставили вопрос в такой общей форме.

Не вдаваясь в подробное рассмотрение того, что можно назвать механизмом диктаториальной власти, я ограничусь немногими замечаниями, необходимыми для моей темы. Диктатура есть власть, не основанная ни на традиции, ни на волензъявлении народа. Поэтому она гораздо более, чем другие формы власти, зависит от безраздельного господства над ап-

паратом принуждения, достаточно мощным для того, чтобы подавить всякое сопротивление. Единоличная диктатура возможна тогда, когда одному человеку удается взять в свои руки полное распоряжение таким аппаратом принуждения. Но если принуждение в конечном счете опирается на вооруженную силу, то один человек явно не может сам оперировать --- в физическом смысле -- этой вооруженной силой, не может один стрелять из всех пулеметов и других орудий. На первый взгляд — эта истина настолько банальна, что ее не стоит повторять. Но беда в том, что, пользуясь привычными условными формулировками, мы часто фактически игнорируем эту банальную истину. Мы говорим о тиранической власти, которая покоится «только на грубой силе», или «на одном насилии», или «на штыках», то-есть вооруженной силе. Всё это образные выражения. На самом деле опорой такой власти является значительное количество людей, в руках которых находятся средства насилия. И тогда не так уже просто разобраться, как один человек, единоличный диктатор, добивается безусловного повиновения этих людей. Как я выразился на одной дискуссии, диктатуре нужны не только пулеметы, но и пулеметчики. Чтобы править по принципу Калигулы «пусть ненавидят, лишь бы боялись», нужно, чтобы не все ненавидели, а были и преданные тирану носители страха. У Калигулы такими были преторианцы, которые его потом и убили. Возможно, что и Сталин был убит — когда его «преторианцы» или недоглядели или ему изменили. Но и в том случае, если он умер естественной смертью, какие-то «преторианцы» оставались.

Конечно, современный диктатор не может держаться только преторианцами в буквальном смысле слова. Мы знаем, что Сталин шел к власти сложными, извилистыми путями, постепенно подчиняя себе одну за другой все организованные силы страны. Менее других пока ясна та «хитрая механика», посредством которой он сделал своим послушным орудием ЧЕКА-ГПУ-НКВД, а это было решающим условием его конечного торжества. С помощью этого «меча революции» он смог подавить всякую возможность сопротивления и в партии и в армии. При этом он был в состоянии чистить и самый аппарат НКВД вплоть до возглавлявших его сначала Ягоды, потом Ежова. Можно ли этого было достичь только хитроумными маневрами, разыгрыванием различных групп — одну против другой? Это представляется слишком невероят-

ным. Ведь почему-то никто, хотя бы тот же Ягода, почувствовав себя под угрозой, даже не пытался нанести встречный удар. И не характерно ли, что даже в обстоятельном рассказе бывшего чекиста Александра Орлова нет и попытки объяснить, в чем была магическая сила Сталина? Не было ли секретом этой силы что-то, в чем бывшие чекисты предпочитают не признаваться? Это естественнее всего объяснить тем, что и они сами вместе со всей основной массой чекистов были горячими приверженцами Сталина, именно этим и создавая его «магическую» власть над их учреждением. Это значило бы, что чекисты по своему любили Сталина. Почему? Я могу ответить только догадкой, но основанной на довольно солидных данных.

Еще в первые годы советской власти в Москве говорили о том, что ЧК выдумывает заговоры, чтобы сохранять свою власть, а потом, чтобы вообще оправдывать свое существование. Об упразднении ЧК и прекращении террора, конечно, не было и речи. Но речь могла идти об ограничении власти ЧК, об устранении чрезмерного произвола и о постепенном сокращении ее кадров по мере успешного подавления сил сопротивления. В интересах ЧК было бы поэтому раздувать существующие опасности и постоянно запугивать правящую верхушку. В 1925 году, в Сорренто, я говорил об этом с Горьким, который рассказывал о желании Ленина обуздать ЧК и о его бессилии это сделать. Горький приводил примеры того, как далеко ЧК заходила в игнорировании Ленина. Он рассказывал о расстреле великого князя Николая Михайловича, которого Ленин лично взял на поруки. Особенно вызывающей была расправа с инженером Тихвинским, которому Совнарком по предложению Ленина дал командировку в Англию для переговоров о нефтяной концессии, но которого ЧК сняла с парохода и расстреляла, даже не уведомив Ленина о его аресте. И в каждом таком случае оказывался какой-нибудь вновь раскрытый, а на самом деле выдуманный заговор. Жертвы, как можно больше жертв, нужны были ЧК для ее самосохранения и роста. И она готова была под всеми своими именами не за страх, а за совесть поддерживать Сталина, который оказался превосходным поставщиком всякого рода еретиков и «врагов народа». В зверинце наибольшим авторитетом пользуются сторожа, которые дают зверям пищу. А в сталинском зверинце звери были хищные и жадные до пищи.

Даже если моя догадка неправильна, она своим наводя-

щим характером поможет нам яснее видеть смысл политики сталинских наследников, которые несомненно решили ограничить власть и своевластие ЧК в ее новейших формах — МВД и МГБ. Дело не только в том, что коллективная диктатура, как и всякая власть, хочет быть возможно менее зависимой от своих орудий. Всего важнее то, что, как показало возвышение Сталина, полное распоряжение органами так называемой тайной полиции (часто совершенно явной) является необходимым условием единоличной диктатуры. А если эти органы сохраняют ту силу, которую они имели при Сталине, — то условием и необходимым и достаточным. И наоборот, для предотвращения единоличной диктатуры необходимо но, может быть, еще недостаточно — ослабить силу этих органов и ограничить их значение, как орудий власти. Самой срочной задачей было устранить того человека, который, возглавляя эти органы, мог ими воспользоваться, чтобы захватить всю власть. Каковы бы ни были побочные обстоятельства, замедлившие или ускорившие развязку, ликвидация Берия была необходимым выводом из принятого — при участии того же Берия — решения установить коллективную и предотвратить единоличную диктатуру. Это было дело трудное и рискованное, надо было считаться с возможностью вооруженного сопротивления. Задача, повидимому, была решена благодаря поддержке руководящих кругов армии, имевших старые счеты с органами «безопасности».

Для коллективной диктатуры ликвидация Берия была необходимым шагом, но всей проблемы она не решала. Чтобы обезопасить себя со стороны чекистских органов, надо было уменьшить их удельный вес в системе власти, сузить поле их деятельности, сократив количество выполняемых функций. Это происходило и происходит. Лагери пустеют и ликвидируются, борьба с преступностью вводится в рамки законности, хотя бы и очень несовершенной по нашим понятиям. Но, ограничивая аппарат принуждения, власть тем самым уменьшает роль принуждения в управлении страной. Как же тогда вообще править? Ту долю принуждения, которая устраняется, надо чем-то заменить. Чем меньше принуждения, тем больше власть нуждается в добровольной поддержке, в согласии населения. Наследники Сталина с самого начала понимали, что их власть должна иметь базис, отличный от того, на котором была основана власть Сталина, и с самого начала старались популярными мероприятиями завоевать добровольную поддержку управляемых.

Ограничение функций и произвола чекистских органов уже само по себе очень популярно. Установление большей законности является очень ощутимым облегчением жизни. Таким образом, такими мероприятиями достигаются по меньшей мере две цели — мы увидим, что даже больше, чем две. Одна и та же политика может также определяться несколькикими мотивами. Мы должны тщательно оберегать себя от тенденции отыскивать непременно одил причину для каждого исторического явления. Историческое объяснение должно быть плюралистичным, сознавать множественность причин и мотиваций. Оно должно быть плюралистичным, потому что плюралистичен его объект — человеческая жизнь (в обществе и во времени). Трудность истории, как и всякой науки о человеке, в том, что она лишена возможности посредством экспериментов изолировать и измерять действие отдельных факторов. Своего рода умственный экперимент, выделяющий значение одного фактора, приближает к пониманию происходившего или происходящего, но всего не объясняет. Так и в нашем случае, выделение такого мотива, как желание наследников Сталина предотвратить единоличную диктатуру, помогает понять, но не объясняет всего, что происходит в России.

Конечно, члены Президиума, овладев властью, сейчас же должны были думать об ее утверждении и сохранении. Но для этого им было недостаточно принять специфические меры для предотвращения единоличной диктатуры. У них было много других забот и трудных проблем. Им предстояло управлять страной, в которой «произвольные решения» Сталина, о которых говорилось на съезде, вызвали ряд критических явлений, а сельское хозяйство привели на край катастрофы. Критическим могло стать и внешнеполитическое положение (корейская война!). Надо было сочетать решение ряда проблем внутренней и внешней политики с задачей утверждения власти. Это нельзя было сделать, продолжая политику Сталина, которая именно и привела к обострению проблем. Хотели они того или нет, наследники Сталина должны были стать реформаторами. У них не было предустановленной гармонии мнений по всем вопросам. В подходе к отдельным вопросам сказывались различные тенденции, в значительной мере обусловленные, как я писал раньше («Новый Журнал»

№ 40), различием большевистских поколений. В этом контексте лучше не говорить о борьбе за власть, с которой у нас связаны другие представления и ожидания. Но внутри Президиума, несомненно, шла борьба тенденций, с большинством переходившим от одной тенденции к другой, что особенно явственно обнаружилось в отставке Маленкова и выдвижении на первый план Хрущева. В таких условиях не могло быть единой прямой политической линии или неизменно последовательной мотивации решений. Тем более знаменательно, что то основное решение, о котором была речь, проводилось и проводится неуклонно. Это показывает, что после смерти Сталина начался существенно новый период советской истории.

Как я уже подчеркнул, то развитие, которое мы наблюдаем, не означает демократизации режима. Новая власть не перестала быть диктатурой. Говоря упрощенно, ее политика продолжает определяться не снизу — принцип демократии --- а сверху, то-есть этой властью самой. Диктатура остается, но режим диктатуры меняется. Он перестает быть террористическим. Нельзя поручиться, что не будет возврата к террору. Но власть старается, чтобы этого возврата не было. Она не хочет этого уже потому, что сама боится необходимого для террора аппарата. Освобождая страну от прежнего, проникавшего всю жизнь страха, власть освобождает страха и себя. Как мы видели, это прежде всего выражается в ограничении роли чекистских органов и в установлении известных норм законности. Для советских людей законность в первую очередь означает очень простую, но и очень важную вещь: человек, не совершивший преступления, может спать спокойно. Затем она означает удовлетворение самого элементарного чувства справедливости. Это очень важно для власти, которой нужно, чтобы ее считали справедливой --это способствует добровольному повиновению и уменьшает потребность в принуждении. Но законность имеет и свою экономическую функцию, которая имеет особый характер и особое значение — в государственном плановом хозяйстве. Я имею в виду огромное развитие обмана и коррупции, которые часто являются единственной защитой против произвола. Поясню это одним соображением. При системе твердых плановых заданий и без реальных правовых гарантий руководители предприятий рискуют стать жертвами бессудной расправы, если задания не выполняются даже не по их вине, а

вследствие их объективной невыполнимости или непредвиденных препятствий. Чтобы спасти себя нужно или прямо фальсифицировать отчеты о выполнении или посредством различных уловок конструировать фиктивное выполнение плана, а, чтобы избежать разоблачения, прибегать к разным видам подкупа. Даже судя только по советской печати, такие явления до сих пор были очень распространенными. Чтобы добиться честности в этом отношении, нужно гарантировать руководителям предприятий, что они будут ответственны только за действительные преступления или проступки. Замечу, что установление законности в этой области соответствует общему стремлению теперешней власти рационализировать систему планового хозяйства, централизация и бюрократизация которой дошли при Сталине до чудовищных размеров. Хозяйственники, наверно, очень сочувствуют стараниям сделать систему хозяйства более рациональной и в особенности обещаниям Булганина о предоставлении больших прав и большего простора инициативе директоров предприятий (конечно, при условии законности, позволяющей не бояться проявлять инициативу). Но широкие круги населения вряд ли интересуются такими мероприятиями, если они не сопровождаются повышением уровня жзни. Новая власть с самого начала постаралась показать свою заботу о материальном благосостоянии населения. Это была вторая главная линия борьбы за симпатии и добровольную поддержку населения. Принятые в этом направлении меры дали в первые два года ощутительные результаты, но в третьем году — после отставки Маленкова — снова наступило ухудшение. Тут сказались как объективные противоречия нового курса, так и борьба различных тенденций внутри правящей группы диктатуры.

«Материальное благосостояние трудящихся Советского Союза растет невиданными ранее темпами», — заявил Микоян в октябре 1953 года. Он демонстрировал это утверждение очень внушительными цифрами: снижение розничных цен 1 апреля 1953 года повысило покупательную способность населения на 46 миллиардов рублей, уменьшение размеров займа на 16 миллиардов, уменьшение сельско-хозяйственного налога и повышение заготовительных цен более чем на 13 миллиардов. Итак, мероприятия правительства повысили покупательную способность населения в общей сложности на 75 миллиардов рублей. Но повышение покупательной способности

предполагает соответствующее увеличение поступающих в продажу товаров. Иначе у населения будут «лишние» деньги, на которые нечего купить. Это должно вызвать инфляцию, резкое повышение цен на колхозном рынке, развитие черного рынка. Но о соотвествующем увеличении производства предметов потребления в такой короткий срок не могло быть и речи. Микоян указывал, что продажа продовольственных товаров увеличится за один год на 22 процента. Откуда же было их взять? Согласно отчету центрального статистического управления в 1953 году населению было продано товаров на 21 процент больше, чем в 1952 году, при чем во втором полугодии на 26 процентов больше, чем во втором полугодии 1952 года. Но тот же отчет дает и решение загадки, которую некоторые зарубежные экономисты уже до этого разгадали. В отчете сказано: «Продажа товаров населению в 1953 году значительно увеличилась по сравнению с 1952 годом. Это достигнуто в результате роста производства товаров народного потребления, а также мобилизации других государственных ресурсов». Другими словами, были использованы государственные запасы, а это главным образом запасы военные. Идея политики «крупного подъема народного потребления» состояла, очевидно, в том, чтобы сразу значительно увеличить продажу предметов потребления за счет запасов, рассчитывая на дальнейшее повышение благодаря расширению производства. В 1954 году имело место новое снижение розничных цен, но уже менее значительное. В оба года 1953 и 54, имело место существенное сокращение капиталовложений в оборон*ную* — но не вообще в тяжелую — промышленность, чтобы освободить средства для капиталовложений в легкую и пищевую промышленность*.

Это была, конечно, не только «маленковская» политика. Вероятно Маленков был ее инициатором, но она, несомненно, была принята большинством президиума. В 1953 г. Маленков (в августе), Хрущев (в сентябре) и Микоян (в октябре) солидарно выступали в защиту политики «крутого подъема». Но затем возникли разногласия. Как видно из сказанного, в споре о приоритете тяжелой или легкой промышленности, «тяжелая» промышленность была псевдонимом для оборонной. Маленков

^{*} Статистическое доказательство такого перемещения капиталовложений в Economic Survey of Europe in 1954, Publication of United Nations, стр. 69-70.

был, хотя имя его не было названо, сделан ответственным за расточение военных запасов. Это видно из того, что сейчас же после отставки Маленкова Булганин в первой своей речи в качестве премьер-министра сказал: «Одним из условий успешного хозяйственного строительства являются государственные материальные резервы. Резервы — это наше могущество, это укрепление обороноспособности страны. Было бы поэтому непростительной ошибкой ослабить внимание к этому важнейшему делу или поддаться соблазну решать частные, текущие задачи за счет государственных резервов». О чем и о ком шла речь, было совершенно ясно.

Более чем вероятно, что против расходования военных запасов прежде всего протестовала армия, с голосом которой теперь нужно было считаться более чем когда бы то ни было, так как свою политику ограничения чекистских органов власть может вести только при поддержке армии. Но возникшее расхождение было связано и с вопросом об ориентации внешней политики, в котором большинство президиума не шло так далеко как Маленков (новая война — «гибель мировой цивилизации»). Подробнее об этой стороне разногласий, как и вообще об изменении курса внешней политики, я в этой статье говорить не могу.

Но для расширения производства предметов потребления в задуманном размере было и объективное препятствие, преодолеть которое не удалось. Для такого расширения не хватало сырья, а не хватало его вследствие крайне неудовлетворительного состояния сельского хозяйства, которое поставляет сырой материал и для продовольственных товаров и для текстильных изделий и для обуви. Проведенные осенью 1953 года мероприятия оказались недостаточными, чтобы обеспечить желательный подъем сельскохозяйственного производства, и началась полоса хрущевских экспериментов. Задачей политики стало добиваться этого подъема во что бы то ни стало, то-есть с широким применением принуждения. В этом, вероятно, самое серьезное внутреннее противоречие политики коллективной диктатуры.

Может ли диктатура добиться от крестьянства подлинно добровольной поддержки ее политики? Это очень сомнительно уже потому, что крестьянство всё еще не примирилось с коллективизацией. Работа в колхозах является для крестьян принудительным трудом. А диктатура не только и думать не хочет о раскрепощении крестьян от колхозов, но продол-

жает борьбу против приусадебных участков, труд на которых является не принудительным, а добровольным. Сфера принуждения в сельском хозяйстве не суживается, а расширяется — вследствие этого, указанного выше «во что бы то то ни стало». Власть старается смягчить формы принуждения, создавая своеобразную «вынужденную добровольность», избегая грубых методов давления и жестоких репрессий. Но по существу положения она не может дать крестьянам ничего кроме некоторого увеличения доходов. Этого, по всей вероятности, далеко недостаточно, чтобы побудить крестьян полюбить колхозы. Власть не может дать крестьянам того, что она дает рабочим — сокращение рабочего времени, отмену прикрепления к предприятиям, усиленное жилищное строительство, улучшение общественных столовых. Всё это является хотя бы некоторой компенсацией ограниченной возможности повышать общий уровень жизни. Это — перемены к лучшему, которые производят свое впечатление, отвечающее намерениям власти.

Решив отказаться от террористических методов управления и добиться добровольного сотрудничества населения, наследники Сталина должны были как можно убедительнее показать, что они совсем не такие, каким был Сталин и какими они, по их версии, вынуждены были быть при Сталине. Они знали, что тень Сталина стоит на пути к их желанию, как выразился один автор, «заключить мир с народом». Критика Сталина в форме «культа личности» началась очень скоро после их прихода к власти. Можно понять, почему они не произвели операции развенчания Сталина сразу, так сказать, одним ударом. Это могло прозвучать слишком фальшиво. Чтобы им поверили, нужно было сначала показать, что они не только на словах отрекаются от Сталина, но что их дела действительно отличаются от сталинских дел. Не так ясно, почему процесс развенчания не только затянулся, но и шел зигзагами. Почему, например, в последнем месяце прошлого года имел место возврат к старому культу Сталина, как это отметил С. М. Шварц в предыдущей книжке «Нового Журнала». Были ли по этому вопросу внутренние разногласия? Может быть не было согласия в том, как далеко следует идти. Или партийное руководство старалось «прощупать пульс» страны и в особенности партии, следить за реакциями на признаки отречения от Сталина? Решение открыто отмежеваться от Сталина было принято не раньше,

чем во второй половине января. Но почему на партийном съезде было столько недоговоренности в докладе Хрущева и была такая разница между этим докладом и речью Микояна? И что вызвало затем почти что истерический взрыв Хрущева на секретном заседании съезда?

Нам не хватает точной информации, чтобы найти ответ на эти и многие другие вопросы. Но при всей неясности отдельных деталей достаточно очевидно, что развенчание Сталина было предприятием нелегким и связанным с известным риском. Мы знаем, но нам трудно вполне конкретно себе представить, в какой мере всё в советской жизни было проникнуто Сталиным и как волей-неволей всё подчинялось его авторитету. Это действительно был культ, своего рода обязательное вероисповедание, которому должны были следовать все — и верующие и неверующие. Когда говорили об «обожествлении» Сталина, это не было только фигуральным выражением. Авторитет Сталина был, действительно, сверхчеловеческим. Этот авторитет покоился прежде всего на всеобщем страхе. Сталина не все ненавидели, но все боялись. Но со временем к страху присоединилась вера в то, что против Сталина ничего нельзя сделать, что он несокрушим, потому что ему всё удается, ничего нет и не может быть сильнее Сталина. Когда произошел разрыв Москвы с Тито, я говорил об этом с некоторыми недавними пришельцами из Советского Союза. Они ненавидели Сталина всем существом, но характерно было их убеждение, что Сталин сумеет расправиться и с Тито.

Новая власть разрушает авторитет мертвого Сталина, но чем заменить этот авторитет? Чем заполнить образовавшуюся зияющую пустоту? Диктатура, решившая править без террора и боящаяся последствий террора для нее самой, нуждается в авторитете высшего порядка, чтобы прочно обеспечить свое существование. Старое вероисповедание отменено, но какое новое вероисповедание должно его заменить? Это особенно существенно для партии, воодушевленная активность которой особенно важна при изменившемся соотношении сил, на которых покоится авторитет власти — и для того, чтобы держать в повиновении органы террора и предотвратить чрезмерное усиление влияния армии, и чтобы усилившимся влиянием партии компенсировать во всех областях ослабление принуждения. «Коллективное руководство» старается заменить один культ личности другим, оживив культ

Ленина. Я сомневаюсь, чтобы ему удалось достигнуть желаемых результатов. Правда, по единодушным свидетельствам, имя Ленина пользуется популярностью в различных слоях населения. Крестьяне вспоминают Ленина, связывая его имя с НЭП-ом. У молодого партийного поколения с Лениным связано, без сомнения далеко не точное — представление о партийной демократии в форме подлинного «демократического централизма». У этой молодежи, ничего не знающей о демократии, то, что она считает «ленинизмом», по существу выражает не находящие другой формы выражения демократические стремления. Но всё это не значит, что новая власть может сделать себя популярной своим демонстративно подчеркиваемым «ленинизмом». Вряд ли наследники Сталина могут убедить, что они превратились в наследников Ленина. Во всяком случае не крестьян, для которых имя Ленино связано с расцветом личного хозяйства, тогда как теперешняя власть твердо держится за сталинскую коллективизацию и возобновляет поход против приусадебных участков. Те, кто верят в ленинскую «партийную демократию» скоро убедятся, а, может быть, уже убеждаются в том, что и коллективная диктатура не может допустить образования партийного и государственного руководства, как и определения его политики, не сверху, а снизу. В отличие от обилия информации, доходящей из Польши, мы только очень отрывочно, по сердитым окрикам партийной печати, а не по высказываниям самих критиков узнаем о том, что, почувствовав себя более свободной и стимулированная развенчанием Сталина, критическая мысль уже выходит за пределы того, что коллективная диктатура считает допустимым. Но по некоторым признакам и самому руководству уже приходится нарушать установленные им твердые границы критики сталинского прошлого. Однако для оценки этих процессов еще нет необходимой информации.

Я, конечно, не исчерпал всех проблем, стоящих перед коллективной диктатурой, остановившись на тех, которые мне представляются центральными. Выводов в форме предсказаний я делать не берусь. Из того, что мы знаем, видно, что власть проводит одно за другим мероприятия с целью улучшения материального положения и морального самочувствия населения, — мероприятия, действие которых весьма ощутительно и благоприятно воспринимается. О том, что «жизнь становится легче» можно теперь говорить вполне

серьезно, и закрывать на это глаза было бы опасным самообманом. Те, кто не придерживается принципа «чем хуже, тем лучше», не могут не радоваться тому, что положение в Советском Союзе улучшается, но, конечно, имеют право желать, чтобы улучшение шло дальше тех границ, которые ему поставлены самым фактом существования диктатуры. Страшно думать, что новым курсом политики коллективная диктатура может укрепить свое положение на неопределенно долгое время. Возможность этого не исключена, но оснований для безнадежности нет, потому что не исключены и другие перспективы. Хочет власть этого или нет (а она, наверно, этого не хочет), но она развязывает в стране силы, действующие в направлении дальнейших перемен. Такая встряска, какой является демонстративное развенчание Сталина, не может не вызвать интенсивной работы критической мысли, пока что, вероятно, еще мятущейся и растерянной, но могущей оформиться в определенные политические стремления. В том же направлении способно действовать и улучшение материального положения, постоянно освобождая людей от всеподавляющего гнета повседневных забот.

Ю. Денике

P.S. Эта статья была уже набрана, когда был опубликован полный и по всей видимости подлинный текст речи Хрущева на секретном заседании XX-го съезда. Речь производит сильнейшее впечатление. Хрущев нарисовал потрясающе жуткую картину того, чем была единоличная диктатура Сталина. И это самый убедительный аргумент в пользу подлинности опубликованного текста. Слишком трудно себе представить, чтобы кто-либо мог сфабриковать все детали, в особенности такие, как потрясающие письма видных большевиков, написанные ими из тюрьмы после невыносимых пыток и вынужденных этими пытками «признаний». Конечно, это, и еще многое, было известно, но не в такой конкретности. И то, что и как рассказал Хрущев, дает особенно красноречивое подтверждение исходной мысли моей статьи, что после пережитого при Сталине, члены «коллективного руководства» стараются оградить самих себя от возможности повторения подобного режима.

Для хода мыслей моей статьи особенно важно то, что Хрущев говорил о роли чекистских органов. Это вполне согласуется с моим объяснением-догадкой, почему эти органы были всегда на стороне Сталина. У меня нет возможности

остановиться на этом сколько-нибудь подробно, укажу только, что из некоторых мест речи Хрущева ясно видно, что чекистские органы старались придать террору самый широкий размах, прикрываясь при этом именем и идеями Сталина. «Пользуясь сталинской формулой, — говорит Хрущев, что чем мы ближе к социализму, тем больше у нас будет врагов,... проникшие в органы государственной безопасности провокаторы вместе с бессовестными карьеристами стали покрывать именем партии массовый террор против партийных и государственных кадров и простых советских граждан. Достаточно указать, что число арестов за контрреволюционные преступления с 1936 г. на 1937 г. возросло в 10 раз». Провокаторы тут, конечно, не при чем, если не считать провокатором самого Сталина. Беспринципных карьеристов было сколько угодно. Но главное в том, что крови жаждали не «провокаторы» и не «боги» как у Анатоля Франса, а люди, объединенные в страшной машине террора, жаждавшей крови для оправдания своего существования. И Сталин, как я писал выше, обильно кормил кровью эту машину.

Ю. Д.

КОМПЛЕКС ФИЛОФЕЯ

В «Социалистическом Вестнике» в 1951 году напечатано открытое письмо редактору «Нью Иорк Таймс» за подписью видных русских общественно-политических деятелей, в том числе самого редактора «С. В.» Р. А. Абрамовича и таких крупных его сотрудников как Б. И. Николаевский и С. М. Шварц. Письмо протестует против распространенной версии, согласно которой Сталин и большевики являются только продолжателями той политики завоеваний и экспансии, которую Российское государство вело на протяжении последних 500 лет. Письмо объявляет такие утверждения ошибочными с исторической точки зрения и еще более опасными с точки зрения политической. «Русский народ и русская политика не были ни более воинственны, ни менее миролюбивы, чем политики других государств». Авторы письма полагают, что «так называемые 'исторические традиции России' в смысле завоевательной внешней политики и угнетения национальностей, отнюдь не являлись традицией самого русского народа». Охарактеризована соответствующим образом и большевистская власть «ни по своим собственным воззрениям, ни объективно не являющаяся национальным правительством России; она интернациональна по самой своей сути». Но вот не прошло и трех лет со времени опубликования письма, как читатели «Социалистического Вестника» могли заметить появление на его страницах статей, развивающих ту самую точку зрения, против которой письмо протестовало. И даже почин этому был сделан Б. И. Николаевским, чья подпись стоит под письмом. Его статья «О корнях советского империализма»² развивает мысль, что хотя «внешняя политика Сталина-Маленкова, конечно, далеко не тождественна с политикой царской России», тем не менее «эти элементы несомненного различия отнюдь не устраняют того факта, что во внеш-

^{1 «}C. B.» № 6-7.

² «Соц. Вестник», 1954, № 2.

ней политике советской диктатуры имеется нечто, что сближает ее с политикой старой России и что заставляет некоторых вполне добросовестных и внимательных западных наблюдателей ставить вопрос; не является ли внешняя политика советской диктатуры простым продолжением старой русской империалистической политики?». Автор избегает сравнений советской политики с политикой царской; он открыто признается, что таким путем сходства не отыщешь. Ключ к отысканию сходства усматривается в сопоставлении фактов советской внешней политики, оторванных от своего идейного корня, с идеологией позднего славянофильства, оторванной от каких бы то ии было реальных фактов. В исторических илсях Н. Я. Данилевского, Конст. Леонтьева, в поэзии Тютчева таятся, по мнению Б. И. Николаевского, корни советского империализма. Б. И. Николаевский говорит: «Если мы хотим найти материал для действительно убедительных сопоставлений, мы должны из этого прошлого брать не материалы об официальной политике правительства старой России, а данные из литературных выступлений и даже личной переписки наиболее крайних представителей империалистического лагеря 3 .

За выступлением Б. И. Николаевского последовал ряд статей П. Берлина. В них вопрос ставится шире; не одна внешняя политика, но вся практика и вся природа большевизма вытекают нз природы и истории старой России, из ее тралиций. Коммунизм не только не интернационален по своей сущности, но имеет ярко выраженную национальную окраску, и эта окраска русская, точнее — великорусская. Истоки большевистского империализма и большевистской деспотии лежат в древней Руси, сформировавшейся под влиянием татарского ига. Совсем недавно появилась в том же журнале темпераментная статья Е. Юрьевского «От Филофея в наши дни» гле с предельной отчетливостью и категоричностью формулируется тезис: «в тоталитарной России в царствование Сталина воскрешается Московская русь 16-17 веков со всем ее тягловым укладом». Из Московской Руси и пришла к нам

³ Следуя методу Б. Николаевского, очень легко в любой стране набрать пышный букет «империалистических» вожделений.

^{4 «}Соц. Вестник», 1956, № 1. Эта же статья вышла по-французски в парижском журнале «Est et Ouest» в феврале 1956 г. под заглавием «Le complexe Byzantin dans la conscience russe».

идея мировой революции — как извечного стремления Москвы к всемирному господству. Творца этой идеи, в форме учения о третьем Риме, Е. Юрьевский усматривает в старце псковского Елеазарова монастыря Филофее, жившем в конце XV и в первой половине XVI века. Формулой «два Рима пали, третий Рим (Москва) стоит, а четвертому не бывать» Филофей, будто бы, создал комплекс идей и чувств, ставших сущностью русской натуры и питавших на протяжении веков русский империализм, а ныне питающий большевистскую экспансию. Подлинное торжество псковского монаха автор вилит как раз в наши дни: «Музыка Филофея играет, гремит на весь мир, особенно после второй мировой войны».

Какую бы политическую оценку ни давать подобной точке зрения, она нуждается, прежде всего, в рассмотрении в плане соответствия ее исторической истине. Предлагаем свои соображения.

В наши дни мало кто знает, что в старину идея всемирной империи означала не столько светское, политическое, сколько религиозное мировоззрение. Христиане первых веков, даже в пору жестоких гонений, считали необходимым молиться за языческую Римскую империю и своими молитвами поддерживать ее бытие, потому что с существованием ее связана была продолжительность существования всего мира. Когда эта империя, в 410 году, погибла под нашествием Алариха вестготского, то наибольшим ужасом охвачены были самые верующие христиане. Плач блаженного Иеронима — лучший памятник тогдашнего смятения душ. Полагали, что гибель Рима означает пришествие конца вселенной, и понадобилось всё напряжение богословской мысли, чтобы рассеять ужас и внушить людям надежду на продление жизни. Для западного христианства эту работу выполнил блаженный Августин, епископ Гиппонский, своим сочинением «О Граде Божием», а на Востоке обнаружился ряд толкователей видений Даниила, вроде Андрея Кесарийского, Козьмы Индикоплова и Мефодия Патарского, связавших идею всемирности, а следовательно и продолжительности этого мира с существованием Византии второго Рима. «И как владычество Израиля длилось до пришествия Христа, так и от нас греков, мы веруем, не отнимется царство до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа».

В основе своей сочинения о всемирном царстве заключают идею не торжества и превосходства, а спасения; они проникнуты страхом Божиим и должны быть отнесены к разряду эсхатологической литературы. Зерном этой богословской концепции служит библейское пророчество Даниила о смене всемирных монархий — вавилонской, ассирийской, мидо-персидской и каких-то других, в которых позднейшие толкователи усматривали македонскую и римскую. Всем им придет на смену новое царство, долженствующее быть вечным: «восставит Бог небесный царство еже во веки не рассыплется, и царство его людем инем не останется». В христианские времена продолжительность этого царства ограничили появлением антихриста и последующим вторым пришествием Спасителя. Вот почему всякий раз, когда гибла империя, с которой связывалось представление о «последнем царстве», наступало тревожное ожидание конца мира. Так было после 410 года, так было на Руси и после 1453 года, когда пал «второй Рим — Царьград». Тревога на этот раз усиливалась другим учением, по которому продолжительность существования мира определялась в семь тысяч лет со дня его сотворения, и эти семь тысяч были на исходе. Называли точно 1492 год как дату всеобщего конца. Пасхалия митрополита Зосимы на 1492 год заключала в себе стова: «смиренный Зосима митрополит всея Руси, трудолюбно потщився написати пасхалию на осьмую тысячу лет, в ней же чаем всемирного пришествия Христова». О том, как глубоко и всерьез переживали на Руси грядущую гибель вселенной, свидетельствуют иронические замечания, раздававшиеся по адресу Стефана Пермского, изобревшего азбуку для зырян. Зыряне, по словам критиков Стефана, тысячи лет жили без письменности, а ныне какой смысл вводить ее «в скончания лет, в последние дни на исход числа седьмыя тысящи... за 120 лет до скончания веку»5?

В такой психологической атмосфере зарождалось на Руси учение о третьем Риме. Надобно перенестись в нее, чтобы понять, как далеки были тогдашние умы от какого бы то ни было империализма и национальной гордыни. Объявление Москвы третьим Римом означало, такое же избавление от апо-

⁵ Пермская азбука изобретена была в 70-х годах XIV столетия.

калиптического страха, как учение Августина о граде Божием грядущем на смену Риму, как высказывания византийских авторов о священной миссии Царьграда. «Музыка Филофея» меньше всего походила на марш Буденного.

После того как нашего старца объявили злым гением русского исторического развития, читателю трудно будет поверить, что всё написанное им о третьем Риме умещается в десяти-пятнадцати ствоках:

«Тебе пресветлейшему и высокостольнейшему государю великому князю, православному христианскому царю и всех владыце, браздодержателю святых божиих престол святыя вселенския соборныя апостольския церкви пречистыя Богородицы чесного и славного ея Успения, иже вместо Римскня и Константинопольския просиявшу. Старою убо Рима церкви падеся навернем аполинариевы ереси, второго Рима Константинова града церкви агаряне внуцы секирами и оскордами рассекоша двери, сия же ныне третьяго нового Рима державного твоего царствия святые соборные апостольския церкви, иже в концых вселенныя в православной христианской веры во всей поднебесной паче солнца светится. И да весть твоя держава благочестивый царю, яко все царства православныя христианския веры снидошася в твое едино царство. Един ты во всей поднебесной христианам царь».

Вот и всё «учение». В послании к Мисюрю Мунехину оно повторяется с небольшой разницей в выражениях⁶, и ничего больше о третьем Риме от Филофея не сохранилось. Полагают, что и не было. Но где здесь мысль о «мировой гегемонии», об «экспансии», где приписанная ему Е. Юрьевским гордыня: «Нас ожидает великое будущеє, мы призваны к главенству, наш исторический путь не может и не должен совпадать с европейской судьбой»? Единственная гордыня Филофея — это праведность православной веры, поставленной у него выше всех других исповеданий. Но можно ли, вообще, найти религию не считающую ссбя единственно правильной и не пророчащей ада и душевной погибели всем инаковерующим? Религиозный мессианизм только тогда оди-

⁶ После слов: «паче солнца светится», следуєт: «Да веси Христолюбче и боголюбче, яко вся христианская царства приидоша в конец и снидошася во едино парство нашего государя. По пророческим книгам, то-есть Росейское царство. Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти».

озен, когда сопровождается проповедью насильственного подавления чужих верований. Этого у Филофея нет, и этим он выгодно отличается от тех же католиков, проповедывавших и практиковавших в XVI веке «Drang nach Osten». Когда он пишет Василию III: «вся царства православныя христианския веры снидошася в твое едино царство», то это означает последнее прибежище православия, а вовсе не всемирную империю⁷. Словно предвидя обвинения в «империализме» старец предостерегает великого князя от увлечения земной славой и земными стяжаниями: «не уповай на злато и богатство и славу, вся бо сия зде собрана и на земли зде останутся». Вообще по мере движения идеи на северо-восток акцент на всемирность империи слабеет и гаснет. Первый Рим, включавший в свои границы всё тогдашнее человечество, был не только в церковном, но и в светском сознании государством всемирным. У византийских авторов геополитический мотив едва слышен, он заглушен темой богоизбранности и духовной миссии второго Рима⁸. У псковского идеолога третьего Рима не находим даже намека на идею всемирного территориального расширения Москвы. Сущей несправедливостью надо признать анафемствования кроткого Филофея при полном

⁷ Исследователь много поработавший в области русской церковной идеологии, трактует учение о третьем Риме в таких выражениях: «Ветхий Рим пал именно за утерю веры, новый Рим тоже за утерю истинного благочестия, за союз с латинами. Понятно, что и третий Рим — Москва несомненно падст, и всё московское царство рушится, если русские люди не уберегут преданного им на сохранение Божественным Промыслом православия; только последствия их небрежения будут более ужасны и гибельны. У ветхого Рима был наследник в православии — второй Рим, Константинополь; преемником Нового Рима в благочестии сделалась Москва, которая уже не будет иметь по себе наследников, т. к. четвертому Риму не быть, — значит, если погибнет Москва, то погибнет и православие в целом мире, и русские люди одни будут неисходно виноваты в этой гибели».

⁽Н. Каптерев. «Характер отношений России к православному Востоку в XVI-XVII вв.» стр. 17).

⁸ Нельзя поэтому, признать удачным выражение: «византийский комплекс», понимая под этим дух экспансии, завоеваний и подчинений.

умолчании о наличии на Западе подлинно «агрессивных» писателей того же типа.

Как только Карл Великий увенчан был императорской короной, воскресли надежды на возрождение империи цезарей. В 954 году монах Адсо написал книту об антихристе, поднесенную королеве Герберге, где старый Рим объявлен был никогда не умиравшим, вечным. Только в вопросе избранничества сделаны были некоторые изменения: избранным народом и избранными государями стали считаться теперь франки и франкские короли. В отличие от Филофея, Адсо имел в виду не одну духовную миссию, но и политическое возрождение империи в старых границах. Франкскому государству, таким образом, ставилась обширная завоевательная задача. Почему же ни о каком «адсизме» во Франции не говорят, а вот «филофейство» у нас обнаружили?



Каково бы ни было само по себе учение Филофея, существует сильное сомнение в его широком распространении на Руси. Если, как говорит Е. Юрьевский, комплекс его идей, «прокламируемый церковью, всем государством, глубоко запал на дно национального сознания, стал важнейшей частью национальной идеологии», то надо предположить факт длительной, упорной, всеобъемлющей пропаганды, на манер той, что практикуют в наши дни большевики. Ничего подобного с учением Филофея не наблюдаем. При безграмотности тогдашнего духовенства, при ничтожном количестве образованных людей на Руси, трудно допустить возможность широкого внедрения в умы книжной идеологии, требующей от самих ее распространителей, по крайней мере, элементарной интеллигентности. У нас нет свидетельств широкого ее «прокламирования». Напротив, имеем все основания думать, что идея Москвы-третьего Рима не выходила за пределы узкого круга ученых монахов и книжников. Памятников письменности с упоминанием о третьем Риме насчитывается ничтожное количество и среди них нет ни одного, посвященного специально этой теме. Государство, во всяком случае, не прокламировало ничего такого. Ни в официальных актах, ни в летописных сводах, вроде Воскресенского и Никоновского, игравших роль тогдашних официозов, ни в Степенной Книге упоминания о Москве — третьем Риме не находим. Его нет

в цикле документов и текстов, связанных с венчанием Дмитрия Ивановича и Ивана Грозного. Только в «утверженной грамоте» константинопольского патриарха Иеремии, приехавшего в 1589 г. на Русь и давшего согласие на учреждение патриаршества в Москве, находим почти дословную формулу Филофея. Но в этом, как раз, и приходится видеть подтверждение давно высказанной мысли, что лозунг «Третий Рим» надо рассматривать как чисто церковную идеологию. И если подсчитать памятники, в которых он фигурирует, то, за ничтожным исключением, это будут сплошь памятники церковной письменности. Можно думать, что в самой церкви идея третьего Рима выродилась в XVI веке в чисто практическую идею — возведения московского митрополита в сан вселенского патриарха. Как только эта цель была достигнута, о третьем Риме замолчали. В XVII веке почти не находим произведений с упоминанием о нем.

Что же касается старца Филофея, приобретшего ныне такую неожиданную славу, то вряд ли за пределами Пскова он был известен. В Москве на него, кажется, не обратили внимания или не вняли его поучениям. По крайней мере первое его послание к Василию III, по мнению В. Малинина⁹, не возымело действия, и понадобилось второе, об успехах которого тоже ничего не знаем. Филофей был забыт после смерти и только изредка упоминался писателями раскольниками — Аввакумом, попом Лазарем, дьяконом Федором, Никитой Пустосвятом, иноком Авраамием. Но и они упоминали его не как автора третьего Рима, а в связи с выпадами против латынян и звездочетов, со спорами о крестном знамении¹⁰. В XVIII и в первой половине XIX века память о нем совершенно изгладилась. Ни Карамзин, ни митрополит Евгений Болховитинов, автор «Исторического словаря о бывших писателях духовного чина греко-российской церкви», ничего о нем не знают. Впервые его имя появляется на страницах печати в

⁹ В. Малинин. «Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания». Киев. 1901.

¹⁰ Филофей может считаться одним из предтечей раскола XVII в. Весь дух псковского Елеазарова монастыря был «раскольничий». Еще основатель его преп. Ефросин (Елеазар) совершил в 1419 г. паломничество в Царьград с единственной целью узнать, сколько раз следует петь «аллилуйа». Вернулся он оттуда убежденным сторонником сугубой аллилуйи.

1846 г. в 1 томе «Дополнений к Актам Историческим», где напечатано его послание к дьяку Мунехину-Мисюрю. Остальные его послания то в выдержках, то полностью стали появляться в конце 50-х и в 60-х гг. прошлого столетия в «Православном Собеседнике». Только после этих публикаций на псковского старца обратили внимание А. Н. Пыпин, С. М. Соловьев, Е. Е. Голубинский, о. Николаевский, П. Пирлинг. В. О. Ключевский и др. Именно под пером этих профессоров имя Филофея и обнаруженное у него «учение» приобрели широкую известность. Мотив третьего Рима подхватили поэты, публицисты, религиозные мыслители и в результате несколько строчек из послания Филофея обросли пышной легендой, корни которой уходят не в эпоху Василия III, а в идейный и политический климат царствования Александра II. В наши дни, когда говорят о третьем Риме, то имеют в виду обычно образ, созданный в XIX веке, приписывая его Филофею. При этом не дают себе труда даже обратить внимание на заголовок, под которым во всех почти дошедших до нас списках встречаем послание к Василию Ивановичу: «Послание к великому князю Василию, в нем же об исправлении крестного знамения и о содомском блуде». Оказывается прямой целью обращения к великому князю был призыв не к мировому господству, а к устроению внутри-церковных дел (крестное знамение) и к поддержанию нравственности. Послание убеждает Василия искоренить пороки и взять на себя заботу об охране благочестия на Руси. Кто читал послание полностью, тот знает, что борьба с мужеложством занимает автора больше, чем учение о третьем Риме. Тирада о третьем Риме приведена только для того, чтобы обратиться к Василию со словами: «сего ради» подобает тебе о царю содержати царство твое со страхом божиим». Другими словами, обязанность поддержания благочестия выводится из положения царя как главы нового Царьграда. Рассуждения о третьем Риме занимают подчиненное место в писаниях Филофея. Этим и объясняется их краткость. В послании к Мисюрю, наговорившись вдоволь о латинской ереси и о звездочетах, Филофей лишь в самом конце уделяет несколько строчек третьему Риму, открывая их словами: «Малая некая словеса изречем о нынешнем православном царствии». Неужели так «прокламируются» идеи, предназначенные стать национальным евангелием?

Но Филофей был краток и ограничивался «малыми сло-

весы» еще и потому, что предполагал идею третьего Рима известной своим корреспондентам. Не он был ее автором.

**

Все желающие видеть в идеологии «третьего Рима» исчадие русского национального духа должны были бы знать, что учение это не русского, а иностранного происхождсния и занесено к нам извне. В ученой литературе этот вопрос давно выяснен. О «новом Царьграде» стали поговаривать за полтораста лет до Филофея. Одна болгарская рукопись середины XIV века заключает такие строки: «Все это приключилось со старым Римом, наш же новый Царьград стоит и растет, крепится и омлаждается. Пусть он и до конца растет, — о царь, всеми царствующий, — принявши в себя такого светлого и светоносного царя, великого владыку и изрядного победоносца, происходящего из корени Асеня, преизрядного царя болгар, — я разумею Александра прекроткого, и милостивого, мнихолюбивого, нищих кормильца, великого царя болгар, чью державу да исчислять неисчислимые солнца». Под «новым Царьградом» здесь разумеется болгарская столица Тырнов — резиденция царя Иоанна Александра, именовавшегося «царем и самодержцем». Это по его приказанию приведенные только что строки вставлены в старую византийскую хронику. Тырнов здесь только буквально не назван третьим Римом, по смыслу же разумеется таковым. Появившись впервые на Балканском полуострове у южных славян, занимающая нас идея возникла не как тенденция к всемирной экспансии, а как средство самозащиты и национального самоутверждения. Болгары и сербы, издавна христианизированные, включенные в состав империи, хоть и восприняли византийскую культуру, но в то же время остро ненавидели всё греческое и самих греков, презиравших их и угнетавших. Они не раз восставали против своей метрополии и наконец добились полнтической независимости. Х веке болгары учреждают в Охриде свою патриархию, а в XIV веке царский и патриарший престолы переносятся Тырнов. Глядя на это, Стефан Душан заводит такую же независимую патриархию для Сербии. Освободившись «ромеев» югославяне перенесли на своих царей всё учение об императорской власти. Александра, владетеля Тырнова

— «нового Царьграда», украсили теми же цветами византийского красноречия, какими украшают обычно особу императора: «благоверный», «великодержавный», «божественный поспешник истины».

Но вот пришли турки, взяли старый Царьград, а вместе с ним и «новый». Не поняв всех размеров обрушившегося бедствия, югославяне долго надеялись на помощь ближайших соседей -- венгров и поляков. Когда выяснилась бесплодность этих упований, взоры устремились на далекую малоизвестную Москву. И тогда, весь комплекс идей и красноречия о «новом Царьграде» и национальном «царе самодержце» — перенесен был на русскую столицу и ее князя. После падения Константинополя, в царствование Ивана III наблюдается наплыв югославянской интеллигенции в Москву, куда она принесла свои политические идеи. По мнению П. Н. Милюкова, политическая литература на Руси создана югославами. Такое утверждение, может быть, чересчур смело, но, без сомнения, роль болгар и сербов в возникновении церковно-политических теорий у нас очень велика. Почва для них подготовлена была трудами таких выходцев с Балкан как митрополит Киприян, посланный к нам еще при Дмитрии Донском. С Дмитрием он не ладил, но с сыном его Василием сошелся и немало сделал в смысле литературного возвеличения великокняжеской власти на Руси. Это его опытная рука отредактировала житие митрополита Петра, написанное нашим старцем Прохором. Скромный москвич не решался писать о своей столице иначе как о «граде честном кротостию»; у Киприяна она становится «град славный зовомый Москвой». Это Киприян сочинил знаменитую речь митрополита Петра, якобы, обращенную к Ивану Калите: «Если ты успокоишь мою старость, если воздвигнешь здесь храм достойный Богородице, то будешь славнее всех прочих князей и род твой возвеличится; кости мои остаются в сем граде, святители захотят обитать в нем и руки его взыдут на плещи врагов наших». Пришедшие на Русь югославы были людьми византийской выучки и гибкости; сочинить пышную генеалогию правителя или оправдать самые фантастические притязания и права не представляло для них труда. Особенно выдающуюся роль сыграл серб Пахомий, достойный ученик тырновского книжника Ефимия. Он начал внедрять мысли о «высшем христианстве» на Руси, о «большем православии». Великого князя московского расписал на манер своих болгарских «самодержцев». Московский князь, по его словам, не зовется царем единственно «смирения ради и по величеству разума», тогда как имеет все права на этот титул. Признание за ним таких прав Пахомий влагает в уста самому греческому императору Иоанну Палеологу. Существовало у греков предание, по которому «русый род» должен победить исламитов и утвердиться на семи холмах Царьграда. Под пером Пахомия «русый род» превращается в «русский род». «Если все преждереченные Мефодием Патарским и Львом Премудрым знамения о граде сем сбылись, то и последния не минуют, но тоже сбудутся; ибо написано: русский род всего Измаила победит и Седмихолмый возьмет и в нем воцарится» 11.

Произведения югославян начали помаленьку заражать москвичей. Уже в 1492 году в пасхалии митрополита Зосимы Москва называется «новым Константиноградом», а Иван III «новым царем Константином». Что москвичи в данном случае выступали учениками болгар и сербов, видно по рабскому копированию приемов. Они в тех же самых словах и выражениях делают вставки в хроники и повествования. Так, в сказании о падении Царьграда после сожалений о гибели балканских православных царств, читаем: «Наше же российское Божею милостию, Пречистыя Богородицы и всех святых чудотворец молитвами ростет и молодеет и возвышается. Ей же Христе милостивый даждь рости и младети и расширятися и до скончания века» 12. Как это похоже на тырновскую вставку XIV века; «наш же новый царьград стоит и растет, крепится и омлаждается. Пусть он и до конца ростет!».

Не трудно заметить, что югославянская версия значительно отличается от версии Филофея; она насквозь политична и проникнута не церковными, а государственными устремлениями. Это вполне понятно; возникла она на почве национально-освободительной борьбы, а не на основе свя-

¹¹ Справедливость требует отметить, что сербы не сами выдумали «русский род». И. И. Срезневский нашел французский перевод одной грузинской летописи, где приводится пророческий текст надписи на Константиновой гробнице: «Les nations des Russes réunies ensemble avec tous ceux qui les entourent, triompheront des Ismaëlites».

¹² Такую же вставку находим в Хронографе 1512 г. Некоторые приписывают ее Филофею.

тоотеческой литературы о конце мира. Но несмотря на весь эффект, произведенный Пахомием, Русь не приняла ее в таком виде, в каком она выступает у сербов и болгар. На примере того же Филофея видно, что русские книжники восприняли ее более углубленно и в чисто религиозном плане. Мотив же государственной мощи и патриотического бахвальства не привился. Сравнение Москвы с Римом многим резало ухо. Вот что читаем, например, в «Казанской истории», составленной в середине 60-х годов XVI века: «И возсия ныне стольный и преславный град Москва, яко вторый Киев, не усрамлюжеся и не буду виновен нарещи того — и третий новый великий Рим, провозсиявший в последняя лета, яко великое солнце в великой нашей русской земли». Здесь явственно звучит нота смущения при сравнении Москвы с Римом. Автор должен сделать оговорку («не усрамлюжеся и не буду виновен»), прежде чем решиться на такое сравнение; он как бы с опаской оглядывается на кого-то, кто не одобряет такие сравнения.

**

Не одни, впрочем, югославы подсказывали русским идею преемственности Византии, это делал и западный мир в лице папы и императора Священной Римской Империи. Их сношения с Москвой в XV-XVI веке представляются сплошной цепью искушений королевской, царской, даже императорской короной, и упорных убеждений завладеть Константинополем и сесть на троне цезарей. Уже Ивана III пытались соблазнить этим, а к сыну его Василию Ивановичу слали посольство за посольством. Продолжалось это и при Грозном и при Федоре Ивановиче. Когда к этому последнему отправляли из Рима в 1594 году посланника гр. Ангвишиоли, ему дана была инструкция, предписывавшая всячески уговаривать москвичей на захват молдавских и фракийских земель как первого шага к завоеванию Балканского полуострова. Русская «империя», по словам инструкции, «могла бы укрепиться там и основать надежду на распространение славы и власти в этом более мягком и счастливом климате и открыть себе дорогу к завоеванию самого Константинополя». «Скажите, — продолжала инструкция, — что угнетенные нации (т. е. балканские народы) говорят тем же или мало отличным от московитов языком, и все они умоляют небо о помощи через своих соплеменников и ничего так пламенно не желают, как иметь в них защитников и патронов. Присоедините, что христиане всех этих стран соблюдают греческий обряд и имеют таким образом больше прав на поддержку со стороны их; что московиты могут надеяться на самый широкий и блистательный успех, после которого божественное милосердие благоволит соединить всех в общении истинной веры» 13. Такие указания давались послам в течение целого столетия. Особенно соблазнительные речи произносил знаменитый Антоний Поссевин, приезжавший к Грозному в 1580 году. Он обещал ему от имени папы, что будет «венчан более славными титулами и регалиями, чем какими венчался», что после такого венчания провозглашен будет «императором Востока». «Ты возьмешь не только Киев, древнюю собственность России, но и всю империю Византийскую, отнятую Богом у греков за их раскол и неповиновение Христу Спасителю». Соблазняла Грозного императорским титулом и Вена: «По воле цесаря, папы, короля испанского, эрцгерцога Эрнеста, князей имперских и всех орденов, — говорили австрийские послы, — все царство греческое восточное будет уступлено твоему величеству, и ваша пресветлость будете провозглашены восточным царем» 14.

Москве, следовательно, не только преподносили в готовом виде учение о ее великом предназначении, как новой Византии, но поощряли всеми мерами практическое вступление во владение византийским наследством. При некоторой склонности к поверхностным и вульгарным историческим обобщениям можно было бы сказать, что вся балканская политика России XIX века вплоть до «Константинополя и проливов» сочинена и полсказана ей Западом четыреста лет тому назад. Никому в Европе в то время это не казалось «агрессией», «империализмом».

Причины, по которым папа и император ухаживали за московитом, всем известны. Первая и явная заключалась в стремлении вовлечь Москву в антитурецкую коалицию. Турки после взятия Константинополя черной тучей нависли над Европой, угрожая не только Вене, но и самому Риму. Идея крестового похода против них обсуждалась при всех европей-

¹³ Русск. Истор. Библ-ка т. VIII.

¹⁴ Хороший обзор этой папско-австрийской дипломатии можно найти в статье Н. С. Чаева «Москва — третий Рим в политич. практике XVI века». «Исторические Записки». № 17. 1945.

ских дворах. Поход, однако, не клеился. Ощущалась необходимость привлечения новых мощных союзников. За участие в антитурецкой коалиции Москве обещали и византийскую империю и скипетр Ближнего Востока. Но как у Рима, так и у Вены существовали другие, тайные цели. Папа имел намерение окатоличить Русь, а император — распространить на нее свое политическое влияние. В той же инструкции Ангвишиоли находим предписание «внедрить в умы тех с кем придется рассуждать, мысль об авторитете святого престола и указать на достоинство, безопасность и честь тех, которые зависят от него и живут в союзе с ним, как милые дети в недрах матери». Особенно тонко надлежало внушить мысль о папе как о единственном источнике дарования титулов и достоинств. Только то звание и тот титул действительны, которые получены от апостольского престола. Маня царя императорским титулом и балканскими землями, надеялись заманить всё московское государство в унию с католической церковью. Венская дипломатия подчеркивала, напротив, что титулы и звания раздает не папа, а император, и что если царь будет дружить с ним, во всем его слушаться, то получит в обладание и Константинополь, и венец «восточного цезаря».

Для русской церкви в этом таилась грозная опасность. Люди, подобные Филофею, имели полное основание беспокоиться, как бы Василий, соблазнившись титулами и посулами, не сделал шага в смысле отступления от православия¹⁵. Москва, которую они хотели видеть заступницей и средоточием правой веры, в глубине души, вызывала у них сомнения в своей стойкости. У всех было свежо в памяти потрясающее событие конца царствования Ивана III, когда зародившаяся в Новгороде и изгнанная оттуда архиепископом Геннадием страшная ересь «жидовствующих» перекинулась в «царствующий град» и свила там гнездо при дворе самого великого князя. Виднейшая знать, члены великокняжеского семейства, даже митрополит Зосима — «жидовствовали», а по словам «Степенной Книги» «сия же безумных гнилая мудрствования внидоша во уши и самому великому князю Ивану Васильевичу всея Руссии самодержцу». Архиепископу Геннадию пришлось выдержать «аки льву» ожесточенную борьбу прежде

¹⁵ Филофей знал через Мунехина-Мисюря, что придворным врачем у Василия III был «немчин» Николай Булев, пропагандировавший идею соединения церквей.

чем добиться искоренения язвы в самом сердце православия. На хранителей благочестия этот случай произвел тем более мрачное впечатление, что показался одним из признаков приближения конца мира. Иосиф Волоцкий, ссылаясь на апостола Павла, писал: «В последняя дни настанут времена люта, приидет прежде отступление. И тогда явится сын погибельный. Се ныне уже прииде отступление». Чем угодно только не национальной гордостью и не всемирным господством веет от этих высказываний и настроений.



Нам могут возразить: не всё ли равно, сами русские сочинили «третий Рим» или заимствовали от кого-нибудь; важно, что они воспитались в этой идее и что цари следовали ей в своей политике. Такое рассуждение могло бы быть принято во внимание, если бы цари действительно ей следовали, и если бы стремились, по крайней мере, к овладению наследством «второго Рима». Но трудно согласовать с данными источников утверждение Е. Юрьевского, будто «Иван III женясь на племяннице последнего византийского царя, уже видел в себе носителя прав исчезнувших базилевсов Царьграда». Когда-то в общих курсах истории эта точка зрения была популярна, но специальные исследования разрушили ее совершенно. Начать с того, что Иван не стремился к браку с Софией и не был его инициатором. В гораздо большей степени инициатива исходила от папы, при дворе которого воспитывалась София Палеолог. Брак этот был состряпан двумя пронырливыми левантинцами — греком Юрием Траханиотом и итальянцем Джан Батистом де ла Вольпе. Они обоюдно ввели в заблуждение и папу и великого князя, вследствие чего для обеих сторон после заключения брака обнаружилось много неожиданностей и обид. Папа огорчен был крахом надежд на продвижение католичества на Русь, а Иван III тем, что вместо православной принцессы получил в жены католичку. Ни о какой пышности, ни о каком царьградском ритуале, якобы утвердившихся при дворе после женитьбы на Софье, источники не упоминают. Итальянец Контарини, посетивший Москву через четыре года после прибытия туда Софьи не только не заметил византийского церемониала и пышности, но был приятно удивлен скромностью и простотой великого князя. На приеме он сам подошел к Контарини и непринужденно с ним разговаривал. Даже вопрос о двуглавом орле, принесенном к нам, по всеобщему мнению Софьей, — сейчас не кажется таким простым как раньше. Герб этот тоже начинает фигурировать значительно позднее свадьбы Иоанна с Софьей, и история его появления в Москве достаточно темна¹⁶.

Уже эти штрихи рисуют в Иване плохого «носителя прав исчезнувших базилевсов». И он действительно ни о каких таких правах не думал. Когда, на следующий год после брака, сенат Венецианской республики написал ему, что власть над восточной империей, захваченная турками, в случае прекращения мужского потомства Палеологов, принадлежит ему теперь по брачному праву — великий князь отнесся к этому совершенно равнодушно. И еще большее равнодушие проявил он позднее, когда шурин его, Андрей, брат Софьи, выразил намерение продать за сходную цену свои права на византийский престол. Иван не пожелал истратить на это дело ни гроша, так что Андрею пришлось продать эти права католику — французскому королю Карлу VIII, а потом завещать их еще раз Фердинанду и Изабелле испанским. После его смерти и после перехода брата его Мануила в ислам и исчезновения всего потомства Палеологов, у Ивана не возникло ни малейшего соблазна напомнить о своей жене Софье, как единственной наследнице царьградской короны17. Не больше интереса к этой короне наблюдаем и у его сына Василия III. Папа Лев X стремился всячески соблазнить Василия перспективой воцарения в Константинополе. В 1518-1519 гг. он с помощью Альбрехта Бранденбургского снаряжает в Москву посольство Дитриха Шомберга, призывая великого князя к борьбе против турок и обещая за то короновать его и признать за ним право на византийские владения. Ответное посольство Василия III благодарило папу, не отказываясь в принципе от союза с ним, но совершенно уклонилось от конкретных переговоров об этом союзе. Что же касается вопроса о царском титуле и о константинопольском наследии, то о них москвичи не проронили ни слова. Так же вело себя посольство Дмитрия Герасимова, отправленное в Рим в 1524 году в ответ на новое папское посольство.

¹⁶ См. К. Д. Базилевич «Внешняя политика русского централизованного государства». М. 1952, стр. 86-87.

¹⁷ На брак своего деда с Софьей никогда не ссылался и Иван Грозный.

Но едва ли не ярче всех определил свое отношение к идее восточной империи Иван Грозный. Когда папский легат Антоний Поссевин начал расписывать ему всё ту же картину изгнания турок из Царьграда и воцарения на троне восточных цезарей, — Грозный пресек эти разговоры, отказавшись «на большее государство хотети». «Мы в будущем восприятия малого хотим, — сказал он, — а здешнего государства всее вселенные не хотим, что будет ко греху поползновение». Решать участь бывших византийских земель он, вообще, не считал возможным: «Земля Господня, которую он даст, кому ему угодно будет».

Для людей, составивших себе представление о доктрине «Москва — третий Рим» не по первоисточникам, а по популярным курсам русской истории и, особенно, по переживаниям этой темы в общественной мысли XIX века, такая позиция московского самодержавия будет неожиданностью. Но факт полного равнодушия московских царей к византийскому наследству не подлежит сомнению. Ни папе, ни императору так и не удалось на этой почве вовлечь их в крестовый поход против турок. С турецкой армией у нас до 1676 года не было никаких столкновений, да и в этом году оно произошло вследствие нападения самих турок.

Историкам давно известна причина такого поведения Москвы. «Третий Рим» ни о чем не думал, кроме как о том, чтобы стать столицей русского национального государства. Надобно быть слишком низкого мнения об умственных способностях тогдашних политиков, чтобы допустить у всемирно-исторические планы в такое время, когда ни территория их собственного государства, ни абсолютная самодержавная власть еще не сложились. Призванием своим они считали восстановление «империи Рюриковичей», как называл К. Маркс Киевскую Русь. Равнодушные к Царьграду и к балканским землям, они весьма неравнодушны были к Витебску и Смоленску, к Киеву и Полоцку, находившимся в польсколитовских руках. «Князь великий хочет вотчины свои — земли русские», — сказали бояре Шомбергу в 1519 году. Здесь разгадка московского «империализма». Пожелай великий князь турецких земель, он бы снискал почет и благословение папы, но так как он захотел не чужих земель, а своих, русских, он прослыл империалистом за несколько столетий до появления слова «империализм». Причина заключалась в том, что добрая половина этих русских земель находилась в чужих руках. В 1486 году, имперский посланник Николай Поппель проболтался в Москве: «Королю польскому очень не хочется, чтобы римский папа сделал великого князя королем; он посылал к папе великие дары, чтобы папа этого не делал... Ляхи очень боятся того, что если твоя милость будет королем, то тогда вся русская земля, которая под королем польским, отступит от него и твоей милости будет послушна». Ни от папы, ни от императора Иван III никакого титула не хотел, усматривая в нем опасность для своего суверенитета, но он в 1493 году формально принял гораздо более опасный для поляков титул «государя всея Руси», превосходно выражавший как внутреннюю его, так и внешне-политическую программу. С этого и началось поношение Москвы как «агрессора». Ни одного столкновения, ни одной тяжбы из-за русских земель не обходилось без того, чтобы поляки так или иначе не втягивали в эти споры папу, императора, европейских монархов. Беспрерывно сыпались жалобы и страшные рассказы о захватничестве московитов. А ведь шел всего лишь процесс образования национального государства! Во Франции, в Англии, в Испании, в Италии он протекал с гораздо большими насилиями, жестокостями и гораздо более кроваво, но ни одна из этих стран не снискала репутации «империалиста». Поляки уже тогда начали запугивать западный мир чудовищной, якобы, мощью России, ее широкими завоевательными планами, ее антихристианством. Не успел Ричард Ченслер в 1552 г. открыть морской путь к устью Северной Двины, не успела в Лондоне организоваться Компания для торговли с Москвой, как уже польский король писал Елизавете английской укоризны, обвиняя ее в преступлении перед Европой за то, что своей торговлей с врагом человеческого рода она укрепляет его военную технику. Так же, примерно, вела себя Ливония. Как только орден пришел в упадок и былая воинственность «божьих дворян» сменилась диким страхом перед Россий, они, по примеру поляков, стали «просвещать» Европу по части московского «империализма» 18.

¹⁸ Польша и Ливония поставили задачей препятствовать проникновению европейской культуры в Россию. Известна задержка в Любеке в 1547 году ста двадцати мастеров, инженеров, художников, врачей, ехавших на московскую службу. Были и другие случаи недопущения специалистов в Россию. Всё это могло бы послужить неплохим комментарием к утверждению Е. Юрьевского,

**

Если в истории нашей общественной мысли когда-нибудь и звучал мотив «über alles», то искать его надо не в XVI-XVII столетиях. Почему Е. Юрьевский не ограничился, по примеру Б. И. Николаевского, 60-70-ми годами XIX века, а устремился к Грозным Иванам, Темным Василиям в «тягловую» Московскую Русь? Кто читал его статьи, тому ясно, что задачу он преследует совсем иную, чем Б. Николаевский; речь у него идет не о том, чтобы доказать тождество большевистской политики с политикой царизма, а чтобы и царизм, и большевизм свести к одному знаменателю. Таится он, по мысли Е. Юрьевского, во всей нашей истории, в нашем народе, в некой «субстанции», которая «живет и неизменно звучит на протяжении веков». Книга монаха Адсо не вошла «в самую душу» французов и не сделалась их национальным евангелием, а десять строчек монаха Филофея сделали русских «империалистами». Произошло это, конечно, потому, что «филофейство» сидело у них в крови и существовало задолго до Филофея. Читая Юрьевского чувствуешь, что русские — большевики от сотворения мира, и цари и народные комиссары, и опричники, и чекисты, и Филофей и Герцен, и Тютчев и Стенька Разин, и народники, и марксисты (кроме меньшевиков), и революционеры, и черносотенцы. Может быть, это только в Западной Европе тоталитарные режимы порождаются общественно-политическими условиями, России они имеют какую-то другую основу? Мы говорим «они» и «имеют» потому что у Е. Юрьевского и П. Берлина речь идет не об одной пролетарской диктатуре. Вся наша история — сплошной тоталитаризм. Из их исторической схемы прямо следует, что абсолютная монархия известна только Западу, у нас вместо нее процветал некий сталинский режим, а если углубиться в эпоху татарского владычества, то можно обнаружить строй, как две капли воды похожий на большевистскую власть. П. Берлин прямо называет его «коммунизмом». «Чингиз-Хан ввел коммунизм, идущий дальше советского». «Законодательство Чингиз-Хана, — по его

полагающего, что не будь «заложенного в глубины русского сознания 'филофейства', проблема русского отношения к Европе была бы иной, в ее странном виде не существовала».

словам, — перешагнув европейский период развития России, густо вошло в строй советских и хозяйственных и государственных и военных отношений, и дипломатических приемов» 19. Для воззрений автора очень характерно это перешагивание через европейский период. Русское самодержавие просуществовало не более 400 лет, и его история делится на две равные половины — двести лет московских и двести петербургских или «европейских». Но оказывается, что двести «монгольских лет» перевесили европейские годы, и на условия породившие большевизм оказали влияние не петровские преобразования и просветительство екатерининских времен, не реформы 60-х годов, не манифест 17 октября, а чингисхановская Яса. Дело значит ясное: монголизм — наша вторая натура. Из всех народов, когда-то покоренных монголами, только нам русским пришлось по вкусу степное законодательство, да и так пришлось, что ни Лейбниц и Пуфендорф, ни Монтескьё и Дидро, ни Сперанский и Милютин, ни Пушкин и Чаадаев, ни Белинский и Герцен, ни весь расцвет нашей европейской культуры, названной Полем Валери одним из трех чудес мировой истории, не смогли его вытравить.

**

Страстность статей наших авторов не соответствует степени их оригинальности. Никакого нового слова они не сказали. Уже сто лет тому назад появились произведения, объявившие московское государство не русским, не славянским, а монгольским. Лежавшая на нем печать татарщины выражалась не только в деспотизме и экспансии, но также и в коммунизме. М. П. Драгоманов в 70-х годах видел в Цюрихе в польском музее, основанном графом Платтером, карту Европы, на которой Россия (за исключением Украины и Белоруссии) закрашена была красным цветом и тут же особая надпись поясняла, что «туранская Московщина» всегда была отмечена знаком неволи и коммунизма, в то время как арийская Польша, Русь, европейские страны — свободой и индивидуальностью. Директором музея и, видимо, автором карты был Францишек Духинский с именем которого связана самая популярная в Европе руссофобская теория.

^{19 «}Чингиз-Хан с водородной бомбой», Соц. Вестник, 1954. № 1.

Был он украинцем по происхождению, киевлянином, уже родители его захвачены были польским патриотизмом, а сам он вырос совершенным поляком. Эмигрировав, проживал в Париже, в Италии, в Константинополе, в Швейцарии, снова в Париже. Там он и прогремел своими лекциями по польской истории, успех которых некоторые его биографы объясняют невежеством французов по части славистики²⁰. Во Франции как до, так и после Крымской войны, кипели раздражение и ненависть к России, находившие выход в памфлетах, речах, даже официальных документах, вроде царкуляра министра народного просвещения, опубликованного в Moniteur'e 24 сентября 1863 года. Он трактовал о необходимости включения в курс всеобщей истории в лицеях и колледжах изложения доктрины панславизма «как бича европейской цивилизации». Со своим «знанием» славянского мира, Духинский явился сущей нахолкой для французов. Он прежде всего потребовал не смешивать москалей с русскими. Русские — это белоруссы и украинцы, представляющие простую разновидность поляков; те же, что обитают к северо-востоку от Днепра — не арийцы, не славяне, не русские, — они народ туранской ветви, родные братья финнов, калмыков, киргизов, монголов и китайцев. Отличительная черта туранцев — кочевничество, тогда как арийцы — народ оседлый, земледельческий. Не надо смущаться при виде московита, пашущего и сеющего в поле, это одна видимость земледелия; в душе он — бродяга. Русский барин стыдится быть рожденным, жениться и умереть в деревне, он никогда не ведет своего хозяйства, бросая его на руки управляющего; ни у него, ни у мужика нет привязанности к земле, оба — сущие номады. В полной гармонии с кочевым бытом стоит коммунизм. В период между появлением «Коммунистического манифеста» К. Маркса и Парижской Коммуной, Духинский энергично развивал взгляд на коммунизм как отличительную черту туранской натуры, вовсе не свойственную индоевропейцам. Московский коммунизм он усматривал в пренебрежении к частной собственности²¹, в общинном землевладе-

²⁰ Прочитанные в 1847-48 гг. лекции были напечатаны в виде статей в одном из польских журналов в Париже, а в 1858-61 гг. выпущены трехтомным изданием под заглавием «Zasady dzejow Polski i innich krajow słowianskich».

²¹ Как на один из образцов такого пренебрежения, он указы-

нии и в органической неспособности терпеть какое бы то ни было деление на классы и касты. «Всё хорошее и плохоее, что несут с собой касты и классы у европейских арийцев служит гарантией безопасности, свободы и морали. Туранские народы меньше заботятся о свободе, чем о безопасности, и они находят ее в патриархальном самодержавии, в коммунизме и, как следствие этого, — в классовой ненависти к частной собственности»²². Вспомнив, что он пишет в стране, откуда на весь мир прогремел лозунг «La propriété c'est le vol» Духинский прибегает к бесподобному маневру для объяснения столь досадного случая. «Формула» 'собственность есть кража' родилась во Франции, — по его словам, — после того, как стало известно о положении вещей в Московии и в Китае» 23. Доживи он до наших дней, мы бы имели откровение касательно другой формулы «L'état c'est moi», возникшей во Франции, безусловно, после того как там узнали о сталинизме.

Оказывается, туранцы при всей их дикости обладают способностью влияния на арийцев, что признано и Е. Юрьевским, констатировавшим, что даже индо-европейская голова К. Маркса не устояла против народнического дурмана. Старик поддался-таки на идею обходного движения к социализму, подсунутую ему кочевником Чернышевским. Размеры статьи не позволяют заняться сравнением работы Е. Юрьевского «Антиевропеизм и византизм в русском сознании» 24, с произведениями Духинского. Между тем, такое сравнение обнаружило бы немало совпадений и общих точек зрения на наше народничество и на всё вообще революционное движение. Выводя мораль, духовную и религиозную жизнь московитов с ее обилием сект, расколов и изуверств из их кочевой туранской стихии, он мог бы подписаться под утверждением Е. Юрьевского, усматривающего в народничестве «левую вариацию национальной

вал на реформу Александра II, предоставлявшую освобожденным крестьянам усадебные участки (принадлежащей помещикам земли) без всякого выкупа. Ссылается Духинский также на отсутствие у русских прав наследования; даже слова «наследство» и «наследование» отсутствуют, по его мнению, в русском языке.

²² «Peoples Aryas et Tourans», Paris, 1864, p. 152.

²³ Там же, стр. 141.

^{24 «}Соц. Вестник», 1956. № 4.

мессианистической религиозной русской мысли, начальное оформление которой находим у псковского инока Филофея»²⁵.

Французским государственным деятелям, вроде Друэн де Люиса, некоторым министрам и сенаторам, пришлись чрезвычайно по вкусу высказывания Духинского. Он оказал влияние на школьное и университетское преподавание, благодаря чему поколения французов получали руссофобское воспитание. Его книга «Nécessité des réformes dans l'exposition de l'histoire des peuples Aryas et Tourans» вызвана как раз упомянутым циркуляром министра народного просвещения представляет своего рода программу того, что должно преподноситься юношеству в русском вопросе. Он же сделался источником вдохновения всех антирусских выпадов такого видного историка, как Анри Мартен, обратившегося к нему в 1864 г. с письмом выражавшим полную солидарность во взглядах на русских, как на народ туранской расы, чуждый европеизму. Сильна была власть Духинского и над более мелкими историками, вроде Альберта Ревиля, писавшего: «Казак²⁶, монгол и татарин — вот извечные враги нашей расы!».

Духинский давно осужден своими же соотечественниками²⁷, забыт и ни в одном ученом сочинении нет ссылок на его анекдотические «труды», но руссофобские теории его, пущенные в широкий оборот, получили самостоятельное бытие, независимое от судьбы их творца. Мы живем в эпоху всемирного их распространения, когда они сделались идейной манной для всех так или иначе занятых проблемой большевизма.

²⁵ Мессианство и идею избранного народа Духинский тоже тесно связывает с кочевым образом жизни, ссылаясь на пример евреев (тоже туранцы), обреченных на бездомность, потому что нет такой страны и такого очага, которые бы еврей не бросил раз этого требует его священная миссия.

В те времена во Франции, русских часто называли казаками.

²⁷ В 1886 г., когда польская общественность стала готовиться к 70-летнему юбилею Духинского, знаменитый польский лингвист Бодуэн де Куртенэ выпустил в Кракове брошюру, разоблачавшую антинаучный характер трудов Духинского и протестовавшую против придания юбилею характера национального торжества. Протест Бодуэна де Куртенэ поддержан был краковской газетой «Кгај» и группой профессоров во главе с историком Иосифом Шуйским, Ст. Козмьяном и гр. Ст. Тарновским.

Что вкус к такой манне начинают приобретать и русские — не удивляет. Удивляет другое: уверенность в возможности сочетать этот вкус с борьбой за освобождение России. Как можно освобождать от тоталитарного строя народ, в котором сам же освободитель видит прирожденного тоталитариста?

Н. Ульянов

KOMMEHTAPИИ

1. О русском мессианстве

По этому вопросу мне уже приходилось высказываться раньше. Я возвращаюсь к нему сейчас в связи с напечатанной в этой же книге «Нового Журнала» статьей Н. И. Ульянова.

Со многими из основных положений его статьи я вполне согласен. Я имею в виду прежде всего то, что он говорит «о сущности и значении идеи Третьего Рима». В статье, появившейся на страницах нашего журнала около пяти лет тому назад я подчеркивал возникновение этой идеи в церковных кругах и на религиозной почве и указывал, что она имела практическое значение только в процессе утверждения национальной самобытности русской церкви. Допуская, что эта идея сыграла некоторую роль в создании официальной идеологии русского самодержавия, я вместе с тем отказывался видеть какие-либо следы ее влияния во внешней политике московского государства. Не видел я и никаких оснований для того, чтобы утверждать, что она проникла в народные массы Московской Руси. В статье общего характера мои указания поневоле носили слишком суммарный характер. И потому я особенно рад, что Н. И. Ульянов предлагает теперь вниманию наших читателей подробную и документированную сводку исторических данных о происхождении идеи Третьего Рима, об ее иностранных источниках и об ее судьбе в Московской Руси. Фактическое изложение сопровождается в его статье очень интересным и на мой взгляд убедительным комментарием.

Согласен я с ним и в том, что в дальнейшем идея Третьего Рима была в России основательно забыта — вплоть до эпохи Александра II-го, когда старец Филофей был открыт русскими историками, а по их следам — публицистами, поэтами и философами².

Но конечно история русского мессианства не совпадает с историей идеи Третьего Рима, и мессианские высказывания

¹ «Русский империализм или коммунистическая агрессия», «Новый Журнал», книга 25-я.

² «От Третьего Рима обычно делается большой скачек к панславизму 19-го века», писал я в своей вышецитированной статье.

можно найти в русской литературе и раньше указанного Н. И. Ульяновым периода. Надо признать, что число их достаточно внушительно, как внушительны и имена многих из их авторов. Но, как и Н. И. Ульянов, я отказываюсь видеть в этом доказательство существования в России непрерывной и общенациональной мессианской традиции. В России были мессианские течения, как были они в разные периоды и в других странах мира. Но были в русской мысли и течения антимессианские. и решаюсь утверждать, что в общем они были преобладающими. «Властителями дум» своих современников не были ни ранние славянофилы, ни Тютчев, скорее современниками недостаточно замеченный и оцененный, ни даже Достоевский — поскольку речь идет об его мессианской проповеди (несмотря на эмоциональный эффект, произведенный на слушателей его знаменитой речью о Пушкине!). Как мне не раз приходилось указывать, книга Данилевского, после кратковременного успеха 70-х и 80-х гг., к началу 20-го века была уже основательно забыта, да и всё панславистское движение очень скоро утратило свой первоначальный динамизм. Едва ли может быть сомнение в том, что по крайней мере за последние десятилетия перед революцией никаких ощутительных признаков действительного влияния мессианства нельзя было обнаружить ни в русской общественной мысли, ни в народных настроениях.

Есть еще одна сторона этой проблемы, которую нельзя оставить без внимания. Под общей этикеткой мессианства можно объединить — и часто объединяют — очень различные, по происхождению и по характеру, идеи. Между тем нельзя относить под одну и ту же рубрику разные проявления обостренного национального чувства, безотносительно к вызвавшим их историческим обстоятельствам. Из произведений русских писателей второй половины 18-го и начала 19-го века можно составить довольно обширную антологию заявлений о превосходстве русского народа над западно-европейскими и об исключительном будущем, ожидающем Россию. Но было бы напрасно искать в этих заявлениях какое-либо мессианство. Это просто симптомы роста нового национального самосознания, попытки со стороны умственной элиты того времени утвердить права России на культурную самобытность — в рамках той общеевропейской культуры, с которой Россия казалась им уже неразрывно связанной. В какой-то мере это было проявлением и своего рода комплекса неполноценности.

На это предположение наводит факт частого повторения двух мотивов: 1) пусть Россия и отстала от Запада в области материальной цивилизации и общественно-политической техники, но зато она располагает лучшим, более здоровым человеческим материалом; 2) самая отсталость России может обернуться для нее преимуществом — как в силу ее исторической юности, а следовательно и свежести, так и потому, что придя на общественную сцену позднее западных народов, она сможет использовать накопленный ими вековой опыт. И та, и другая идея, в разнообразных сочетаниях, неоднократно появлялись потом в истории русской общественной мысли.

Славянофильство середины 19-го века было первой попыткой создать философию русской национальной самобытности. Усвоив и углубив первый из указанных выше мотивов (но уже без всякого комплекса неполноценности!) и переработав второй, с помощью немецкой философии, в учении об исторической избранности русского народа, славянофилы построили всю свою систему на религиозном основании. Здесь мы уже имеем дело с несомненным мессианством, но мессианством религиозно-культурным, а не политическим — мессианством, далеким от всяких агрессивных замыслов³.

Герцена часто сближали со славянофилами, и сам он не отрицал своего с ними родства — правда, с существенными оговорками. Но в той мере, в какой он был повинен в мессианстве, оно не имело почти ничего общего со славянофильством. После 1848 года вера в особую историческую миссию русского народа сделалась для Герцена необходимой для спасения его веры в общеевропейскую революцию. Его тревожила судьба всей современной цивилизации, и уже поэтому одному в его мессианстве нельзя видеть выражения чувства национальной исключительности или национального превосходства. Этому не противоречит наличие в психологии Герцена тех лет обостренного патриотического чувства. Доказывая иностранцам потенциальную революционность русского народа, он добивался для него своего рода «патента на благородство». Это был протест против смешения русского народа

³ В этом коренное отличие ранних славянофилов от Данилевского. Да и весь общий («биологический») подход Данилевского к проблеме исторической судьбы России настолько отличается от основных предпосылок славянофильского учения, что его едва ли можно причислить даже к «эпигонам славянофильства»!

с николаевским режимом, против идеи, что народ этот не знает чувства свободы и легко примиряется с деспотизмом. К этому надо добавить, что революционное мессианство Герцена было только временной фазой в его развитии. Он забыл о нем в период издания «Колокола», а затем, после кратковременного рецидива, в последние годы жизни разочаровался и в самой революции⁴.

Не думаю, чтобы можно было говорить о русском мессианстве в применении к революционному народничеству 60-х и 70-х гг. В народничестве, конечно, была распространена идея об особом историческом пути России, но сама по себе эта идея вовсе не связана с мессианством. Ценность ее для народников заключалась в том, что она позволяла им верить в осуществимость социальной революции в России путем скачка через пройденные Западом «промежуточные стадии развития». Но никакой претензии на гегемонию России в общеевропейской революции народники как будто не заявляли, а без такой претензии нет и революционного мессианства.

В моем понимании, не заявлял такой претензии и Ленин. Если даже Ленин иногда и склонялся к идее возможности «социализма в одной стране», то ведь и эта идея не связана необходимо с революционным мессианством, с претензией на международную гегемонию. Даже если она не является выражением своего рода «революционного изоляционизма», она может мыслиться как временный тактический маневр: отряду международной социалистической армии, в силу счастливых обстоятельств, удалось захватить часть вражеской территории, и на его долю выпала почетная, но всё-таки подчиненная общей стратегии, задача — удержать этот плацдарм в своих руках до тех пор пока не подойдут главные силы. И разве не установлено, что вплоть до 1920 года Ленин продолжал надеяться на социальную революцию в Европе и видеть в ней спасение для советского режима? И разве не играла Россия — по крайней мере в тот момент, когда он совершал свой

⁴ Бакунин в революции, конечно, никогда не разочаровывался. Но его революционный панславизм, связанный с идеей об особой революционной миссии России, был характерен для него тоже только в 1840-х годах. В позднейший период своей деятельности он не настаивал на том, что инициатива революции будет принадлежать непременно России. Несколько упрощая, можно сказать, что он видел революционные возможности всюду и в любой момент!

перєворот — скорее служебную, чем руководящую роль в международной революции?

Последняя часть статьи Н. И. Ульянова вызывает во мне некоторые сомнения. Прежде всего мне кажется, что он сильно преувеличивает степень влияния идей Духинского. По его словам, под этим влиянием «поколения французов получали руссофобское воспитание». Книга Духинского вышла в 1864 г. Чтобы воспитать в ее духе «поколения» нужно было значительное время -- по меньшей мере три последних десяталетия прошлого века. Но ведь это как раз был период развития французской славистики, в частности — серьезного и сочувственного изучения русской истории и культуры. В 1881-1882 появилась монументальная работа Леруа Больё «L'Empire des Tsars et les Russes» (в 1897-98 гг. вышло уже четвертое издание), а в 1886 г. — известная книга Вогю о русском романе. В 1883 г. автор «Истории России» Рамбо стал профессором Сорбонны, а в 1885 г. Леже занял кафедру славянских языков и литератур в Collège de France⁵. Думаю, что их совокупное влияние сильно перевешивало авторитет не только Духинского, но и Анри Мартена, в то время уже сходившего со сцены (он умер в 1886 г. семидесяти шести лет отроду), да и Россией никогда специально не занимавшегося.

Те же десятилетия были во Франции временем открытия новой русской литературы. Вспомним «миссионерскую» деятельность Тургенева и тот престиж, которым он пользовался во французских литературных кругах. А потом, в 1880-х гг. пришло время повышенного интереса к Толстому — и больше всего именно в молодом поколении. Достаточно прочесть автобиографическое предисловие Ромэн Роллана к его книге о Толстом, чтобы почувствовать как глубоко он и его сверстники переживали впечатление от открывшегося перед ними «нового мира». И, наконец, надо учесть и происшедшую после 1870 года радикальную перемену в международном положении Франции. Руссофобские идеи Духинского могли находить отклик в атмосфере, созданной сначала Крымской войной, а потом польским восстанием 1863 г. Но после франкопрусской войны почва для них стала гораздо менее благоприятной.

⁵ С 1881 г. Леруа Больё был профессором, а позднее директором *Ecole Libre des Sciences Politiques*.

Мое более существенное сомнение относится к другой области. Меня смущает то распространительное толкование, которое Н. И. Ульянов дает «исторической схеме» П. А. Берлина и Е. Юрьевского. Очень мало вероятно, чтобы они действительно считали, что русские были большевиками «от сотворения мира» (!) или что тоталитаризм является исконной и неискоренимой сущностью русской натуры. Полемизируя с авторами статей в «Социалистическом Вестнике», Н. И. Ульянов безоговорочно сближает их взгляды со взглядами Духинского и таким образом, сам того не желая, может создать впечатление, будто и они попали под его (т. е. Духинского) могущественное влияние. Здесь мне приходится повторить то, что я уже сказал выше по другому поводу: нельзя объединять под одной рубрикой идеи, исходящие из совершенно разных источников и вдохновленные совершенно различными мотивами, — как бы они ни казались сходны в некоторых отношениях. Чаадаев, как и Духинский, называл русских «кочевниками», но это еще не значит, что он разделял теорию их туранского происхождения. Так и в данном случае. Духинский писал как враг России. Целью его было отдалить Россию от Европы, отбросить ее в Азию, и для этого-то ему и понадобилась его расистская теория. Авторы, с которыми спорит Н. И. Ульянов, руководимы тревогой за судьбу России. Они хотят не отдаления России от Европы, а ее сближения с Европой в. И уже, конечно, никакой расистской теории они не исповедуют. Пусть они преувеличивают (на мой, по крайней мере, взгляд) значение мессианских идей в русской истории, но источник их обостренного антимессианства лежит в правильном по существу сознании таящихся во всяком национальном мессианстве опасностей.

Не сомневаюсь, что Н. И. Ульянов понимает всё это не хуже меня. Но так как в своей статье он не сделал нужных на этот счет оговорок, то я и почувствовал потребность сделать их от себя.

⁶ В отношении Е. Юрьевского его западничество может быть установлено документально по писаниям его alter ego — Н. Валентинова. Что касается П. А. Берлина и Б. И. Николаевского, то вся их общественная и литературная деятельность свидетельствуют о том же.

2. Достоевский, Белинский, Шиллер

Хочу сделать несколько замечаний по поводу очень содержательной и интересной статьи Д. И. Чижевского о «Шиллерс в России». Первое из них не имеет отношения к основной теме статьи, но зато касается Достоевскаго, которому в ней уделено так много места.

В связи с обсуждением «Легенды о великом инквизиторе» Д. И. Чижевский говорит, что Достоевский «предостерегает устами Алеши, несомненно высказавшего мысли самого Достоевского, от смешения идеологии великого инквизитора с реальным католицизмом; Достоевский обвинял католицизм во многом, но не в этом». С этим утверждением я не могу согласиться. Вообще говоря, в романах Достоевского часто трудно установить, какой из антагонистов высказывает мысли самого автора. Иногда даже кажется, что они оба (если это диалог) одинаково могут претендовать на такую роль. Но в данном случае дело, на мой взгляд, обстоит яснее — и притом в смысле противоположном толкованию Д. И. Чижевского.

Я имею в виду рассуждения Достоевского о судьбе католичества в «Дневнике писателя» за 1876 г. (март, глава первая, V). Там, говоря о «римском католичестве», Достоевский утверждает следующее:

«...раз, когда надо было, оно, не задумавшись, предало Христа за земное владение. Провозгласив, как догмат, 'что христианство на земле удержаться не может без земного владения папы' оно тем самым провозгласило Христа нового, на прежнего не похожего, прельстившегося на третье дъяволово искушение, на царства земные...».

Достоевский соглашается с теми, кто возражал ему, что «вера и образ Христов и поныне продолжает еще жить в сердцах множества католиков» (это и есть, по существу, алешино возражение Ивану), но от своей мысли всё же не отказывается на том основании, что «главный источник (католичества) замутился и отравлен безвозвратно». Новое подтверждение этого он видит в догмате папской непогрешимости:

«...Рим слишком еще недавно провозгласил свое согласие на третье дьяволово искушение в виде твердого догмата...»

«...Это воскрешение древней римской идеи всемирного владычества и единения, которая никогда и не умирала в римском католичестве...».

Затем идут предсказания насчет дальнейшего пути развития римского католичества: «потеряв союзников-царей, католичество несомненно бросится к демону». Достоевскому мерещится целая католическая армия десятков тысяч «соблазнителей, премудрых, ловких, сердцеведов и психологов, диалектиков и исповедников», которые пойдут в массы с проповедью социальной революции под водительством папы. Эти «соблазнители» гарантируют народу полный успех под одним условием:

«...только веруйте, да и не в Бога, а только в папу... Радуйтесь же теперь и веселитесь, ибо теперь наступил рай земной, все вы станете богаты, а через богатство и праведны, потому что все ваши желания будут исполнены и у вас будет отнята всякая причина ко злу».

Против такого искушения народ, который «всегда и везде... прямодушен и добр», устоять не сможет, тем более, что «в довершение ему дают опять веру и успокаивают тем сердна слишком многих, ибо слишком многие из них давно уже чувствовали тоску без Бога».

Мне кажется, что в этом рассуждении о католичестве, написанном за два года до начала работы Достоевского над «Братьями Карамазовыми», намечены уже все основные элементы «идеологии» великого инквизитора: церковная иерархия, она же и носительница земной власти, — вместо Христа; один непререкаемый верховный авторитет, удовлетворяющий стремление людей к объединению; соблазнение народных масс обеспеченным материальным благополучием и раз навсегда успокоенной совестью. И притом — та же ссылка на искушение Христа дьяволом, что и в «Легенде». Добавлю еще, что в той же главе из «Дневника» Достоевский пишет: «Я уже раз говорил обо всем этом, но говорил мельком в романе». Здесь имеется в виду, конечно, тирада князя Мышкина на вечере v Епанчиных («Идиот», часть IV, глава 7-ая). Показательно, что в этом случае Достоевский прямо отождествляет себя с Мышкиным («я уже раз говорил...»). Тем больше у нас оснований считать рассказанную Иваном Карамазовым легенду выражением тех же самых мыслей Достоевского о католичестве, на этот раз высказанных уже не мельком, а в развернутом виде7.

⁷ В своєй книге о Достоевском К. Мочульский говорит: «...Это несправедливое и нехристианское осуждение католичества

Мое второе замечание имеет уже прямое отношение к главной теме статьи Д. И. Чижевского. Один из шиллеровских мотивов у Достоевского он находит в знаменитом бунте Ивана Карамазова против Бога, или точнее — против созданного Богом мира. В этой связи он указывает на шиллеровское стихотворение «Отречение» и на «Дон-Карлоса». Высказанные им по этому поводу соображения кажутся мне вполне убедительными, но я не могу отделаться от мысли, что у Достоевского мог быть и другой, более близкий, источник. Я имею в виду известное письмо Белинского к Боткину (1-III-1841), в котором он говорит о своем бунте против Гегеля. Возможно, что я «ломлюсь в открытую дверь», но так как я по специальности не литературовед, то это меня особенно не смущает. Всей литературы о Достоевском я, конечно, не знаю, но читал о нем всё-таки довольно много, и хотя кое-где я и встречал попутные сравнения между письмом Белинского и монологом Ивана Карамазова, я не помню ни одной попытки установить между ними непосредственную связь. Приведу центральную часть из письма Белинского:

«Благодарю покорно, Егор Федорович (т. е. Гегель — М. К.), — кланяюсь вашему философскому колпаку, но, со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением, честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лествицы развития, — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр.; иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братий по крови».

Одинаковая природа обоих бунтов бросается в глаза: Белинский отказывается от мировой гармонии, обещанной ему Гегелем, так же как Иван отказывается от «высшей гармонии», обещанной ему Богом; один потому, что она не сто-

[—] только внешний покров религиозного мифа. Под ним скрывается глубочайшее исследование метафизического смысла свободы и власти». Что в обсуждении проблемы свободы и власти заключается главная философская ценность «Легенды» — с этим я совершенно согласен. Но к сожалению Достоевский так часто и с такой страстностью возвращался к «обличению антихристова начала римской церкви» (формулировка К. Мочульскаго), что видеть в нем «только внешний покров» я затрудняюсь.

ит «слезинки хотя бы одного только замученного ребенка», — другой потому, что он хочет быть спокоен насчет каждого из его «братий по крови». (Отмечу, что Иван Карамазов тему свою «нарочно сузил»: — «Я взял одних деток для того, чтобы вышло очевиднее. Об остальных слезах человеческих... я уже ни слова не говорю»). Есть между письмом и монологом и некоторое стилистическое сходство — в том ироническом тоне, в котором и Белинский и Иван отказываются от своего права на вечное блаженство. У Ивана — «не по карману нашему», «билет на вход спешу возвратить обратно», «почтительнейше возвращаю». У Белинского — «благодарю покорно», «кланяюсь», «со всем подобающим... уважением», «честь имею донести»...

Этот отрывок из письма Белинского к Боткину был впервые опубликован А. Н. Пыпиным в его биографии Белинского, которая сначала печаталась в «Вестнике Европы», а потом вышла отдельным изданием (в 1876 году). Не знаю, есть ли где-либо ссылки на знакомство Достоевского с этой биографией, но очень мало вероятно, чтобы при своем интересе к Белинскому он мог бы ее не прочесть. Остается, конечно, возможность, что формулировка «бунта» в обоих случаях была вдохновлена Шиллером. Весь бунт Белинского против Гегеля шел под лозунгом: «Да здравствует великий Шиллер!» А то, что в письме Белинского упоминаются инквизиция и Филипп II, тоже может быть отражением впечатлений от «Дон-Карлоса» Шиллера.

Еще одно интересное сопоставление. Д. И. Чижевский цитирует упрек, направленный Достоевским по адресу русских радикалов: «Для (может быть и мнимого) блаженства человечества они готовы требовать голов сотен и тысяч отдельных людей». В биографии Пыпина Достоевский мог прочесть такую фразу в одном из писем Белинского к Боткину: — «Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сделать счастливою маленькую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную». Если приведенные выше слова Достоевского не были написаны раньше появления пыпинской биографии, то может быть он не только «предугадал сущность большевистского террора», как говорит Д. И. Чижевский, но и вспомнил о признании, сделанном Белинским в один из его самых «неистовых» моментов.

М. Карпович

БИБЛИОГРАФИЯ

IVAN FEDOROV'S PRIMER OF 1574. Facsimile edition with commentary by Roman Jakobson and appendix by William A. Jackson. Cambridge, Massachusetts. 1955. Pp. 45+XII sheets of reproductions.

Удивительные русские книжные сокровища хранятся в американских библиотеках. В них можно найти и «первопечатный» Апостол Ивана Федорова, и его львовское переиздание, и знаменитую Острожскую Библию. Еще удивительнее, что библиотека Харвардского Университета недавно обогатилась единственным экземпляром львовского Букваря 1574 года, который до сих пор вообще не был известен, несмотря на давние исследования и тщательный учет первопечатных книг.

Как показывает заглавие этого издания, основой книги является самый памятник, работа же проф. Р. О. Якобсона представлена лишь как комментарии к тексту. Но в них мы имеем дело, в сущности, с целым ученым исследованием даже по объему почти вдвое превосходящим публикуемый памятник. Исследование проф. Якобсона, несмотря на свой предварительный характер, обстоятельно разъясняет происхождение памятника, его источники и определяет его значение в разных отношениях. Приложение А. Джаксона представляет краткое материально-библиографическое описание новооткрытой книги.

Букварь-грамматика, размером 157 на 100 миллиметров, т. с., в восьмушку имеет 80 страниц. Переплет, повидимому, современный изданию, позже подвергался реставрации. Под прекрасной заставкой, в стиле определившегося московского Ренессанса, — а всего их в книге четыре, — на первой странице изящно расположен алфавит из 45 знаков. В других местах помещены три более скромных концовки. Сохраняя связь с тем же веком по роскоши и сложности линий, они в то же время свою строгую геометричность черпают из предыдущего, XV-го века. На второй странице алфавит повторяется в обратном порядке (44 буквы) и в колонках. Это, конечно, педагогический прием: разный порядок букв должен обеспечить прочность запоминания. Дальше пять страниц занимают всевозмож-

ные слоговые комбинации, даже и не встречающиеся ни в фонетике, ни в орфографии живого языка. На 9-ой стракице появляется под заставкой заглавие: «А сія азбука откниги осмочастныя, сирѣчь грамматикіи». «Грамматикія» дает на примерах в азбучном порядке спряжение глагола. Затем 20 страниц отводятся «орфографии». Тогда под нею разумели главным образом титла, сокращения, принятые для определенных слов; при этом давались и некоторые падежные формы и словопроизводство, но опять-таки без правил и парадигм. К этому прибавлены с титлами же, в виде примеров для повторения, 28 изречений из Св. Писания и учительной литературы. Здесь же заканчивается и изображение чисел буквами, доводится оно до 3 тысяч.

Последние 30 страниц составляют маленькую хрестоматию, материал для чтения ученикам, уже «навыкшим азбуке». Сначала даны краткие молитвы, ежедневно употребляемые. Естественно, конечно, присутствие тут и Символа веры, данного в старинной редакции восьмого члена: «и в Духа Святаго, истинного (вместо «Господа») животворящего». Это разночтение, очень устойчивое и особенно ценившееся раскольниками, было отвергнуто Петром Могилой в его «Требнике», а вслед за ним и Никоном с 1652 года. Молитвы Василия Великого, еврейского царя Манассии и два отрывка из апостольских Посланий заканчивают хрестоматию как образцы литературы, с которой встретится будущий читатель, когда постигнет элементарную грамоту.

Интересно послесловие «слагателя» и издателя Букваря, где он ссылается и на источник, «Грамматикию» отца нашего Иоанна Дамаскина, откуда взято, впрочем, «мало нечто». Да и весь материал сокращен, по признанию Ивана Федорова, «ради скораго младеньческаго наученія». Если этот труд заслуживает внимания, то пусть читатели примут его с любовью. «А я», заканчивает он, «потружусь вашими молитвами над другими писаниями». Энтузиаст-первопечатник всегда сознавал и исповедывал важность книгопечатания, которое было делом всей его жизни.

Концовки в виде герба города Львова и печатного знака самого Федорова указывают место и исполнителя работы. Место дальше и прямо обозначено: «Выдруковано волвове, року АФОД (1574)», что является и бесспорной датировкой. Таким образом, львовский Букварь пополняет собою список первопечатных русских книг и, конечно, перечень несомненных работ первопечатника. Если же мы отправимся от традиционного представления, что первой работой такого рода является Букварь-Грамматика, изданная в 1593-1601 гг. в Виленской типографии Мамоничей учениками Федорова по

Заблудову, то новая находка своей точной датировкой отодвигает на 20-25 лет назад «начало школьного научения». Результат сам по себе не маловажный, но он углубил и расширил проблему. Уже выход на рынок и приобретение Харвардом федоровской Грамматики произвело известную сенсацию в кругах ученых славистов разных стран. Занявшись всесторонним ее исследованием, проф. Якобсон привлек к делу факты хотя и известные ранее, но остававшиеся вне ученых обобщений.

Прежде всего здесь нужно вспомнить, что не так давно изменились общие представления о начале русского книгопечатания и составе первой печатной продукции. Еще в 19-ом веке высказывались осторожные предположения, что в Москве печатались книги и до Федорова. Накопившиеся с тех пор мелкие факты и экспериментальные методы исследования привели специалистов, занимавшихся этим в Москве (проф. М. Н. Тихомирова, 1940 г. и А. Зернову, 1947 г.) к твердому выводу, что первые книги печатались уже около 1551 г. (Стоглавый собор), и известно несколько названий относящихся ко времени до 1564 г., года выхода Апостола.

Еще в 1938 году англичанин Джон Барникот, при участии Симонса, описал в малодоступном «Временнике Общества друзей русской книги», выходившем в Париже, неизвестный ранее Букварь, который сохранился в Англии в двух экземплярах в Бодлеанской библиотеке Оксфорда и в Троицком Колледже Кэмбриджа. Изучение их показало, что во всяком случае одна из этих книг вывезена из России ранее 1593 года, вернее — до 1574, а может быть, и до 1569 года, одним из многих англичан, пошедших в Московию по проторенному Чэнслором пути (1553). Уже это означало, что английские экземпляры Букваря старше Виленского. Но они и не львовский Букварь. Проф. Якобсон в американском Кэмбридже получил микрофильмы Букваря из английского Кэмбриджа и Оксфорда. Сравнение, буквально микроскопическое, со львовским уником показало, что материал в страницах и расположение набора почти одинаковы в обоих случаях, за исключением типографских мелочей. Но в львовском Букваре нет заглавия, в английских оно есть: «Начало Ученіа Дътемъ хотящимъ разумъти писаніе...». Здесь же мы находим и отсутствующее в львовском Букваре «Сказаніе како состави святый Кириллъ философъ Азбуку». Но зато в английских Букварях отсутствуют послесловие-обращение, выходная дата и, конечно, печатный знак Ивана Федорова. Проф. Якобсон находит кроме того, что буквы, употребленные в «Букваре без даты», при всей близости к буквам львовского, сделаны всё-таки не столь изящно; самый набор, менее тщательный, не дает им такой ровности и устойчивости, как в Букваре 1574 года. Отсюда вывод, что английские экземпляры напечатаны во второй половине 60-ых годов Андроником Тимофеевичем Невежею и Никифором Тарасиевым, учениками Федорова, восстановившими, как известно, московскую типографию после ее пожара и разгрома. При всем пиетете к учителю они не могли назвать в послесловии имя беглеца-эмигранта, приятеля кн. Курбского. Федоров после Москвы везде повторял свои работы, и очень близко к московским первым изданиям. Едва ли поэтому совершенной новинкой была и львовская Грамматика 1574 года. Как и не датированная английская, она восходит к московскому прототипу, который в рукописи, а может быть уже и в печати, нужно считать делом рук Ивана Федорова.

Проф. Якобсон выяснил происхождение и источники труда Федорова, в основу которого легла так называемая Грамматика псевдо-Дамаскина. Сделаны также некоторые выводы относительно роли нового памятника в истории языка и литературы той эпохи, когда влияния второй славянской рецепции боролись с народной стихией тогдашнего московского говора. Здесь, кстати, предстоит определить значение двух случаев так наз. «цоканья», зафиксированных памятником. Оно встречается в Букваре в двух употребительных молитвах, «Царю Небесный» и «Пресвятая Троице», наряду с нормальным употреблением ч в других местах. Относится ли эта «хромота» ко всему московскому говору, составляет ли широкній для того времени стандарт, или это случайное представительство узких локальных очагов, уцелевших и доныне, например, таких, как староверческая Гуслица (на границах б. Броницкого и Богородского уездов) или отдельные села Рязанской Мещорской стороны? Этот мелкий вопрос тем более интересен, что двухвековая «витальность» букварей федоровского прототипа поддерживалась именно ревнителями старой веры, еще в 1781 г. переиздавшими «Начало книжного научения» из-за любезной им старинной формулировки 8-го члена Символа Веры. Этот факт, как и то, что по образцу первопечатника до Никона (1652 г.) было по меньшей мере шестнадцать изданий Букваря, красноречиво показывает, как мы должны повысить оценку заслуг Федорова в истории русского просвещения.

Естественно, что новое открытие должно было заинтересовать и московских ученых. Повидимому, в Москву была отправлена фотокопия Букваря-Грамматики, еще до того, как книга-уникум попала в Харвардскую библиотеку. Специалист по истории русской книги, проф. А. А. Сидоров сделал общую внешнюю оценку книги и ее культурного значения. Из его сообщения (журн. «Славяне», дек. 1954 г.) можно узнать немногим больше, чем из этой рецензии, а

в некоторых отношениях и меньше. Гораздо большего можно ожидать от изучения фотокопии проф. М. Н. Тихомировым, который ведет его гораздо шире и глубже. Нельзя сказать, прибавит ли он что-нибудь к выводам проф Якобсона. Результатов исследования проф. Тихомирова я в печати не встречал. Но в таком общем издании, как «Очерки истории СССР», в очередном третьем томе (М. 1955) мы уже находим фразу: «Первая печатная руссская грамматика была издана первопечатником Иваном Федоровым в 1574 г. во Львове» (стр. 422). Очень приятно видеть, когда последнее слово науки быстро становится достоянием широкой публики. Но в данном случае это слово возвестили раньше, чем оно было произнесено. После всего сказанного выше цитированная фраза звучит неосторожно и, при наличии «английских» предшественниц львовской Грамматики, прямо неверно. Для характерного по нынешнему времени прославления русского имени в культурных достижениях новое открытие не теряло бы своего значения и в более точной формулировке. Но такая неосторожная поспешность очень мало служит прославлению имен современных нам русских ученых. Об этом тем более надо пожалеть, что автором вышеприведенного утверждения является вообще весьма компетентный И. У. Будовниц, автор очень хорошей книги «Очерки по истории русской публицистики XVI века» (М. 1947).

К. Солнцев

КН. СЕРГЕЙ ЩЕРБАТОВ. Художник в ушедшей России. Издво Им. Чехова. Н. И. 1955.

Название книги кн. С. Щербатова может ввести в некоторое заблуждение. Судя по нему тему книги можно понять, как повествование о художниках — в прежней России. Что было бы, конечно, очень интересно. Но этого нет. Тема гораздо уже. Это просто воспоминания. Кн. Щербатов рассказывает о своей жизни в России. И если есть в книге страницы посвященные Врубелю. Серову. Головину, Сурикову, Сомову и другим, то это никак не портреты маслом в рост, а скорее беглые карандашные зарисовки. Иногда — яркие, иногда — не очень. Из них больше всего удались автору зарисовки тех, кого он любил — Врубель, Головин. Их изображения живы и привлекательны. И сын священника, «мистериозный» Головин, с внешностью английского лорда, живущий на мансарде императорского Мариинского театра. И больной полуребенок Врубель, которого из-за вечной нищеты один московский купец «держал в рублях». Хорошо зарисованы также Суриков и Серов, хотя эти зарисовки еще более эскизны. О других упоминаемых художниках автор больше говорит и рассказывает, чем живописует их. И этот недостаток (много рассказа и разговора и мало словесной живописи) мы отнесли бы и ко всей книге кн. Щербатова.

Но в целом эта книга, конечно, ценная. Кн. Щербатов хорошо воссоздает «воздух» прежней мирной, довоенной, дореволюционной Москвы. Эта приверженность князя к белокаменной очень искренна и приятна. У старого москвича Щербатова ощущается «особое тувство Москвы». И читатель верит автору, когда тот говорит, что «всё русское мое нутро питалось Москвой». Несколько скупо, но интересно очерчено московское дворянство. Гораздо ярче рассказано об именитом московское дворянство. Гораздо ярче рассказано об именитом московском купечестве во главе с такими своеобразными фигурами, как издатель известного журнала «Золотое руно», «московский Петроний» Николай Рябушинский, С. Мамонтов, знаменитый собиратель и знаток иконы И. С. Остроухов и другие. Автор совершенно справедливо отмечает большую роль московского купечества в служении русскому искусству, пусть иногда не без снобизма и провинциализма, но в целом сделавшего много для культуры страны.

Интересны страницы о выставке «Современное искусство» в Петербурге, где почти все тогдашние выдающиеся художники, по идее кн. Щербатова, дали — декоративный ансамбль отдельной комнаты. Правда, «всё течет» и то, что тогда казалось прекрасным, сейчас, пожалуй, могло бы показаться лишенным вкуса. Я разумею все эти «сказочные грёзы», «нимф и фавнов», «павлинов с вставленными глазками бирюзового цвета», и «нежную женственную мебель, от которой, по словам Бакста, должен итти запах пудры и духов». Но над временем и связанными с ним вкусами никто не властен. Много страниц автор посвящает своему, известному всей Москве, дому-дворцу. Это подробное — комната за комнатой — любовное описание своего бывшего дворца, строившегося и обставлявшегося с исключительной тягой ко всему прекрасному, читается с большим интересом.

В кратком отзыве нет возможности указать на многое ценное и просто занимательное, что есть в книге. Нам, например, представляется многое верным из того, что автор говорит об искусстве, приводя знаменитое слово Андрея Рублева — «От видимого, молясь перед работой, я перехожу к невидимому». Интересными и правильными кажутся мысли о разнице между русским предреволюционным театром, (отягощенным психологической и социальной проблематикой) и всегдашней живительной легкостью игры французского театра. Повторяю, в том, что автор говорит об искусстве — много интересного. Но этого же, к сожалению, нельзя

сказать, когда автор касается общественных тем. Тут многое весьма наивно, а подчас и карикатурно. Так, русская интеллигенция, вся «передовая Россия» представляется автору в образе «лохматого студента с перхотью на воротнике». Это, конечно, очень плохая карикатура. Не убедительны и страницы, где князь рассказывает, как помещики любили и понимали крестьян. В этом весьма сантиментальном изображении крестьяне внезапно превращаются в пейзан. Впрочем, таким «пейзанским изображением» деревни грешен не один кн. Щербатов, а многие мемуаристы-эмигранты. Вообще, слишком уж много в этой книге сантиментальной бытовой ностальгии. Большая сдержанность в этой ностальгии, кажется нам, была бы для воспоминаний о провілом лучшим тоном, чем «плач на реках вавилонских». Хотя плакать, конечно, есть о чем. Но во всяком горе — сдержанность чувств лучше несдержанности. И в эмигрантском — тоже.

В целом книга кн. С. Щербатова займет законно ей принадлежащее ценное место в мемуарной литературе об искусстве в ушедшей России.

Роман Гуль

СЕРГЕЙ МАКСИМОВ. Бунт Дениса Бушуева. Изд-во имени Чехова. Нью-Йорк. 1956.

В 1950 г., в № 23 «Нового Журнала», была напечатана рецензия на первый роман С. Максимова: «Денис Бушуев». Она заканчивалась так: — «Денисова стезя повернула в сторону Москвы, а стезя самого Максимова пересекла Германию, океан, довела до Нью-Йорка. Неизвестна пока что судьба Дениса: станет ли он в Москве известным поэтом, лауреатом сталинской премии, подхватит ли его буря войны и унесет далеко за пределы России... Несомненно только то, что с холмов Москвы — как и Максимову с берегов Гудзона — многое должно представиться в иной, более широкой перспективе. Загадка личности Дениса еще не решена... Теперь его внутренние борения переносятся в другой — не провинциально-волжский, а всероссийский, даже общечеловеческий — план. Хочется думать, что Максимов, неся в душе Волгу, всё же поймет, что она не есть ось мира и, вместе с героем своего романа, подымется на новые высоты».

Прошло шесть лет. Перед нами вторая книга романа: «Бунт Дениса Бушуева». Первая охватывала шесть лет: с 1931 года по осень 1937 года. Вторая — начинается с весны 1938 года и кончается в писне 1941 года, как раз накануне войны. Если действие

первого романа не распространялось за пределы средне-волжского плёса, линии Рыбинск-Горький, то во второй книге мы видим не только Отважное, родное село Дениса Бушуева, но и лагерь на Воркуте, воровской притон в Нижнем Новгороде, писательский дачный поселок Переделкино под Москвой и, разумеется, самое Москву, даже Кремль и кабинет Сталина... Денис Бушуев, как мы и предвидели, во второй книге действительно становится известным поэтом, лауреатом сталинской премии, но до войны не доживает, не попадает ни в плен, ни в эмиграцию: арестованный и приговоренный к 25-летнему заключению в лагерях, он бежит с этапа и разбивается при падении с волжского железнодорожного моста.

«Бунт Дениса Бушуева», как и пєрвый том романа, богат сценами и деталями, которые свидетельствуют о несомненной художественной одаренности автора. Такова, например, сцена возвращения деда Северьяна из лагеря. В ней всё пластично, ярко. Такова любовная сцена, в которой внутренние переживания женщины выражены через жест, предметно: «...Придя домой, Ольга, не раздеваясь и не зажигая огня, бессильно повалилась на постель и, радостно потянувшись, тихо засмеялась. Даже в темноте был виден лихорадочный блеск ее глаз. Высоко подняла косынку и, раскачивая конец ее над лицом, прихватила ее зубами, натянула косынку и замерла, припоминая всё, всё, до малейших деталей». В особенности хороша в романе Волга: то, как Денис догоняет на катере пароход; то, как он катает Ольгу на парусной шлюпке. На вопрос Ольги, правда ли, что он любит село Отважное больше, чем Москву, Денис отвечает: «Да, это правда... это и естественно — я здесь родился, вырос, всё здесь мне дорого и мило, а Москва — что ж Москва? Она мне чужая».

Так мог бы сказать о себе и Сергей Максимов. В этом — в любви к Волге и знании Волги — сила Максимова как писателя. В этом же его слабость: за шесть лет, прошедших со времени появления первой книги романа, он не освободился от провинциализма. Второстепенные — если угодно, провинциально-ограниченные — характеры хороши во второй книге: Ананий Северьяныч, например. Круг его переживаний узок: всю жизнь проживший в бедности, он вдруг, к старости, обрел достаток в доме, выстроенном на гонорары сына — писателя-орденоносца, лауреата сталинской премии. Всюду он держит себя, как отец знаменитого писателя, с которым сам Сталин «за ручку». Когда один рабочий говорит ему, что «теперь частной собственности, папаша, нету, не должно быть», Ананий Северьяныч отвечает: «У кого нет, а у мово сына — есть!» И таская дрова в кабинет сына, он не позволяет Денису

тратить время на растопку печки: «...Ты пиши себе знай, пиши да пиши, а пустяками не занимайся. Дела твои тысячные, а печки топить — дела копеечные». Тип такого старика, разумеется, не нов в литературе, но читатель всё же остается благодарен автору за то, что в обрисовке Анания Северьяныча он достиг характерности, определенности, даже яркости. Не менсе ярок и сын Анания, Денюс, когда мы видим его на фоне Волги, скажем, за штурвалом катера «Вьюга». Но каков внутренний облик Дениса Бушуева? Бушуева-писателя, а не просто парня с Волги? Чем живет Бушуев не на Волге, а в Москве? Увы, на этот вопрос «Бунт Дениса Бушуева» не дает внятного ответа.

Изображая московских писателей, Максимов лишь слегка меняет их фамилин: «упившийся Алексей Николаевич Большой», «Сашка Шаров, обойденный орденом», «Иван Кимов, автор романов 'Заозерье' и 'Колокола'»... В образе Дениса Бушуева, как писателя, видны некоторые черты Николая Вирты; подобно Вирте, он пишет пьесу, тема которой антисоветский мятеж в Тамбовщине; подобно Вирте, он строит дачу с «высоким тесовым забором, почти в полтора человеческих роста» (дача Вирты была описана в нашумевшем фельетоне в «Комсомольской правде»). Но эта будто бы «документальность» не обманывает читателя: в романе нет глубокого знания московской литературной жизни. Писатели представлены либо как «адвокаты убийц», «растлители душ», получающие за свои книги «ордена и сумасшедшие гонорары» и довольные своей «барской жизнью», либо как «арестанты, лишенные свободы» («Вы бы лучше пожалели нас, — сказал как-то с горечью Денис Ольге. — Мы лишены свободы, а к арестантам русский народ всегда относится с чувством жалости»). В действительности всё это, конечно, гораздо сложнее: есть писатели, которые сами искренне отказываются от свободы; есть писатели, которые, опять-таки искренне, гордятся своими орденами — и отнюдь не потому, что ордена открывают им дорогу к барской жизни. Вскрыть их нутро, показать мотивы их поведения, вот чего мы вправе ждать от романа, в центре которого стоит писатель-лауреат и действие которого частью происходит в Переделкине, писательском дачном поселке. С веранды дома Дениса Бушуева, — пишет Максимов. — «видна была залитая огнями дача Леонида Леонова». Но вот вопрос: в чем загадка Леонова, как объяснить то, что автор «Вора» написал «Русский лес»? К сожалению «Бунта Дениса Бушуева» показывает московскую литературную жизнь только так, как дачу Леонова, — поверхностно, снаружи.

Подобно Леониду Леонову, во втором томе «Дениса Бушуева»

«краснеет» архитектор Николай Иванович Белецкий. Почему он «покраснел» — никак не объяснено. «В политических спорах даже с домашними, — пишет Максимов, — архитектор держал сторону советской власти, убежденно и упорно». Было бы интересно послушать, что высказывает Белецкий в политических спорах с домашними (следовательно, откровенных, искренних). То же и с писателями: в романе Максимова есть только писательские пьянки, но нет их серьезных споров и разговоров. «Мысли», которые, порою, высказывают герои романа, не идут дальше плоских и убогих питампов.

Приходится отметить и наличие провинциальности в стиле и языке романа. Это тем более досадно, что Сергей Максимов обладает природным слухом и наблюдательностью. У него, например, проститутка, знакомясь с возможным клиентом, спрашивает, кто он, бухгалтер или агент по снабжению, и узнав, что — «снабженец», говорит: «Так снаблите меня хорошей папироской...» В другом месте парень в вагоне, взяв от соседа пачку папирос, задается таким вопросом: «Почему это читают 'Дели'? А по-моему 'дели', то-есть значит, дели на всех...» Наряду с такими находками, наряду с песней, которую поют нижегородские воры: «Мы не сеем и не пашем — из тюрьмы платочком машем», в глаза особенно бросается такая, например, банальность: «...жемчугом сверкали зубы, а на губах появлялась и порхала та таинственная, манящая улыбка, что сводила с ума мужчин». Есть в романе и много пустых фраз и образов.

Нельзя не пожалеть, что «Бунт Дениса Бушуева» свидетельствует не о подъеме молодого писателя-волжанина «на новые высоты», а, наоборот, всё о том же неизжитом провинциализме, о недостаточном внимании к слову и образу.

Михаил Коряков

АЛЕКСАНДР ВЕНУА. Жизнь художника. Воспоминания Том I и II. Изд.-во им. Чехова. Нью Иорк, 1955.

А. Бенуа один из создателей журнала и группы художников «Мир Искусства». В его личности совмещаются художник-живописен, прекрасный график-иллюстратор, историк искусства, художественный критик, декоратор и создатель балетов. К голосу А. Бенуа прислушивались художественные круги России. Увлеченный жизнью 18-го века, А. Бенуа призывал своим творчеством и статьями почувствовать своеобразную красоту старого Петербурга, Царского Села, Петергофа и тем отдать дань уважения величию северной столицы. То, что мы представляем себе, как общее понятие

— «Мир Искусства», — в значительной мере было отражением идей и стремлений А. Бенуа. Влияние его на друзей и сподвижников было весьма значительно. Изданная еще в 1902 г., книга Бенуа о русской живописи открывала новый взгляд на многих русских художников и в значительной мере утверждала наши сегодняшние воззрения на русскую живопись.

Зная деятельность А. Бенуа и тот след, который он оставил в истории русского искусства, испытываешь некоторое разочарование от книги его воспоминаний. Название книги совсем не отвечает ее содержанию. О жизни Бенуа-художника мы, к сожалению, в этих томах узнасм очень мало. Воспоминания прерываются временем окончания автором гимназии. У читателя рождается непреодолимое желание прочесть продолжение, где Бенуа-художник будет показан в годы его кипучей деятельности. Два первых тома могут служить пока только введением к дальнейшему, что будет уже непосредственно относиться к созреванию целой эпохи русского искусства. Но они имеют и самостоятельный интерес, лежащий в другой плоскости.

Необычайно яркая память помогает А. Бенуа нарисовать подробную картину своего детства и юности, протекавших в Петербурге в исключительных условиях. Со стороны отца и матери А. Бенуа унаследовал художественные способности и интересы. Уже с детских лет маленького Шуру Бенуа окружали произведения искусства и занимали вопросы живописи, музыки и особенно театра. В числе его предков были отличные архитекторы и музыканты. Внимательно заносит он в свою семейную хронику бабушек и дедушек, родителей, тетей и дядей, братьев и сестер, родных, знакомых, преподавателей и товарищей по школе. Читатель вслед за автором входит постепенно в жизнь большой семьи и начинает понимать особый уют и домовитость всего «гнезда Бенуа».

Весьма интересны и автобиографические признания автора: — «У должен отмстить определенное влеченые к тому, что принято называть реализмом. Мои любимые художники в прошлом и настоящем — фантасты, но только те фантасты среди них действительно мои любимцы, которым удается быть убедительными, а убедительность достигается посредством какого-то 'стояния на земле и глубокого усвоения действительностн'». — «Мне чужда живопись отвлеченная и меня не удовлетворяют те художники, произведения которых выдают небрежное и нелепое отношение их творцов к природе, а то просто игнорирование ее... пламенность моей симпатии к мастерам, знавшим толк в действительности, бесконечно

превосходит то холодное внимание, которое я уделяю мастерам действительность игнорировавшим»...

Воспоминания подтверждают, что сам А. Бенуа стоял крепко на земле и действительность не игнорировал. Жизнь петербургских улиц, масленичные балаганы, театр, обстановка квартир, костюмы знакомых и масса других подробностей заботливо сохранены автором воспоминаний. Богатейшая мозаика петербургской жизни иногда кажется даже перенасыщенной деталями, но сама по себе каждая деталь очаровательна.

Наводят на размышления некоторые утверждения А. Бенуа. В самом начале первого тома А. Бенуа сознается: «Я Россию как таковую, Россию в целом, знал плохо, а в характерных чертах ее многое даже претило мне и это еще тогда, когда я о существовании каких-то характерных черт не имел ни малейшего понятия».

Во втором томе А. Бенуа как бы опровергает приведенное признание и говорит: — «Еще больше глупости было в нашем игнорировании многого в русском быту, вовсе того не заслуживавшего. Мы просто не умели осознать и оценить то, что составляло самые устои нашего жизненного счастья... Перевалив двадцатилетний возраст, мы даже пережили искреннее и прямо-таки бурное увлечение всем русским. Мы прозрели и это прозрение освежило нас, обогатило нашу душу».

А. Бенуа прекрасно знал и любил Петербург, но Россию в целом (по его же словам) знал плохо. «Во мне нет ни капли крови русской» — говорит А. Бенуа. Но не в «крови», конечно, дело, а во внутренней установке и устремлениях. А. Бенуа сам говорит о своем «космополитизме». Не этим ли объясняется его сравнительно малый интерес к русской древности и к русской иконе?

Искренность воспоминаний А. Бенуа несомненна, чудесен язык его повествования, живописна панорама петербургской жизни конца 19-го века, нарисованная зорким художником.

Волна революции захлестнула целую эпоху русского искусства. На сцену выступили другие силы, с иными идеалами, в корне противоположными группе «Мир Искусства». Но память об особом цветении русского искусства в последние десятилетья перед революцией стереть невозможно. Пленительные воспоминания А. Бенуа дополнят многими деталями наши представления о жизни дореволюционного Петербурга.

О РЕЦЕНЗИИ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА НА «СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ» ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

(Письмо в редакцию)

- В кн. 43 «Нового Журнала» была напечатана рецензия Георгия Иванова на редактированное нами и выпущенное Издательством имени Чехова «Собрание сочинений» Осипа Мандельштама. Мы не стали бы отзываться на эту рецензию если бы дело было в нашем несогласии с мнениями и оценками Г. Иванова. Но речь идет не об этом, а о ряде делаемых им необоснованных утверждений, порой просто свидетельствующих о том, что он не потрудился как следует прочесть рецензируемую им книгу. Только поэтому мы считаем своим долгом хотя бы и с опозданием, вызванным чисто внешними причинами ответить на рецензию Г. Иванова по основным ее пунктам.
- 1) Г. Иванов пишет об одном из редакторских примечаний к стихам Мандельштама: «Цитируя две разрозненные строчки, примечание говорит по поводу них: «Очевидно у автора бродила мысль о какой-то поэме». Почему «очевидно» — никак не поясняется, Такое «чтение посмертных мыслей» — скорее спиритический чем исследовательский прнем», и т. д. Между тем, если раскрыть «Собрание сочинений» Мандельцітама на стр. 376-77, там можно прочесть в примечаниях к стихотворениям «Как тело маленькое» и «А небо будущим беременно», что они, вместе со стихотворением «Ветер нам утешение принес», опубликованы Мандельштамом в сборнике 1923 г. «Лёт» в качестве небольшой — без заглавия — поэмы. Указаны точно распорядок строк, все разночтения, нумерация маленьких «подглавок». Две «разрозненные» строчки, приведенные в разночтениях, — это именно разночтения с последующими публикациями. Но так как в «Стихотворениях» 1928 года все эти три стихотворения опубликованы в качестве самостоятельных произведений, мы и не могли утверждать решительно, что автор думал о соединении трех стихотворений в одну поэму, и выразились осторожно: «Очевидно, у автора бродила мысль о какой-то поэме или цикле стихов». Г. Иванов обрывает конец нашей фразы, извращая характер достаточно обоснованного и отнюдь не голословного примечания.
- 2) Г. Иванов пишет: «Отец [Мандельштама], видимо говоривший и писавший на плохом русском и немецком языке», сообщает в «Опыте биографии» Глеб Струве». Г. Иванов считает, что это предположение не соответствует действительности. Между тем это осторожное (отсюда и «видимо») замечание Г. П. Струве прямо

основано на словах самого Осипа Мандельштама: «У отца совсем не было языка, это было косноязычие и безъязычие. Русская речь польского еврея? — Нет. Речь немецкого еврея? — Тоже нет. Может быть, особый курляндский акцент? — Я таких не слышал». И немного дальше: «...причудливый синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда договоренная фраза — это было всё, что угодно, но не язык, всё равно — по-русски или по-немецки» («Собрание сочинений», стр. 218). Кому же мы должны верить? Г. Иванову — или самому О. Э. Мандельштаму?

- 3) «Стихотворение «В пол-оборота, о печаль» всегда носило заглавие «Ахматова» Как было не восстановить это заглавие, так «освещающее» стихотворение? Если даже позднее оно было опущено — чего из примечаний не видно — всё равно следовало восстановить» — пишет Г. Иванов. В нашем предисловии к «Собранию сочинений» очень точно изложены принципы, положенные в основу издания: «В основной корпус вносились последние авторские редакции, за исключением случаев, когда изменение редакции было вызвано не художественными, а цензурными соображениями. Тогда принималась более ранняя и «свободная» редакция произведения. Все разночтения и варианты приведены нами в конце книги». То же относится, конечно, и к заглавиям стихов. И вот, в последней публикации этого стихотворения, в «Стихотворениях» 1928 г., заглавие снято. В то время, правда нечасто уже, Ахматова еще появлялась в печати, имя ее не было «запретным», и потому для восстановления заглавия у нас не было достаточных оснований у Мандельштама могли быть свои причины его снять. Но в примечании на стр. 371 — наперекор голословному утверждению Г. Иванова — можно прочитать: «Впервые в «Камне» 1916, затем — в «Камне» 1923, в обоих случаях под названием «Ахматова».
- 4) «Среди множества малоинтересных разночтений не приведено почему-то как раз имеющее интерес. В стихотворении «Невыразимая печаль» строка 11-ая первоначально читалась так: «И потянулась оживая». Мне кажется, именно так и было напечатано в «Аполлоне» 1911 г.» пишет Г. Иванов. Между тем, если бы автор рецензии внимательно ознакомился с рецензируемой им книгой, он увидел бы в примечании на стр. 369, что строка эта в кн. 9-й «Аполлона» за 1910 г. читается: «И упоительно живая».
- 5) «Более чем сомневаюсь пишет Г. Иванов чтобы Мандельштам, не любивший — и не умевший — переводить стихами, решился перевести заново отрывки «Grand Testament» и «Баллады о дамах прошлых времен» после Гумилева, мастерской перевод которого, напечатанный в «Аполлоне», был ему отлично известен».

Это заявление Г. Иванова ничего кроме изумления вызвать не может. В библиографии нашего издания, на стр. 396, прямо указана книга, в которой напечатаны эти переводы Мандельштама из Виллона — «Поэты французского Возрождения». Дан год издания, указаны точно страницы и пр. Если удастся нам выпустить приготовленный нами к печати второй том Мандельштама, Г. Иванов сможет и прочитать мандельштамовский перевод, в существовании которого «больше чем сомневается», и судить о его качестве.

6) «Задам все-таки редакторам «Собрания сочинений» под конец еще вопрос. В своем коллективном обращении они, перечисляя несколько имен... благодарят их за помощь в своей «нелегкой работе». Спрашиваю, не облегчилась ли бы эта работа, если бы редакторы, кроме названных лиц, обратились за советом и помощью еще и к некоторым другим?.. Вот, кстати, небольшой пример. Примечание № 179 гласит: «РЕЙМС И КЕЛЬН — стихотворение нами не разыскано. Два последних катрена стихотворения, помещенные нами, взяты из статьи Георгия Иванова «Военные стихи» — «Аполлон», 1915, кн. 4-5, стр. 85»... Если бы вместо утомительных — и бесплодных — «розысков» редакторы обратились непосредственно к нему (Г. Иванову) — обратной почтой получился бы исчерпывающий ответ: «Не ищите, «первых катренов» РЕЙМСА И КЕЛЬНА никогда не существовало. Восемь строк, напечатанные в моей статье, и есть «Реймс и Кельн» целиком». — Так выговаривает Г. Иванов редакторам Мандельштама в конце 1955 года. А указанное нами в примечанни место в его статье в «Аполлоне» 1915 г. гласило: «Реймс и Кельн» О. Мандельштама грешит реторикой, но последние строки этого стихотворения совсем хороши:

> …Но в старом Кельне тоже есть собор, Неконченный и всё-таки прекрасный, И хоть один священник беспристрастный, И в дивной целости стрельчатый бор;

Он потрясен чудовищным набатом. И в грозный час, когда густеет мгла, Немецкие поют колокола: «Что сотворили вы над Реймским братом!»

Что это? Целое стихотворение, так и начинающееся с многоточия и «но»? О каких «последних строках» говорил Γ . Иванов сорок лет тому назад? Каждому, прочитавшему это место в статье Γ . Иванова, должно быть ясно, что эти две строфы — конец более длинного стихотворения.

Добавим к этому, что среди лиц, за необращение к которым упрекает нас Г. Иванов, есть и такие, с которыми мы были в переписке в процессе работы над изданием, например, С. К. Маковский. Если мы не обратились к. Г. Иванову, то для этого у нас были свои основания: мы боялись «исчерпывающих» ответов, подобных вышеприведенному.

7) «Почему не все стихотворения из «Гиперборея» включены в «Стихотворения 1910-1923 гг.»? — грозно вопрошает нас Г. Иванов. Да просто потому, что — несмотря на очень упорные розыски (в которых нам оказал большое содействие Ю. К. Терапиано) нами найдены за рубежом только номера 5, 7 и 8 этого журнала. Не было пами найдено и указаний на наличие стихов Мандельштама в какомнибудь другом номере. При этом мы оговариваем, что нами не разысканы еще многие журналы и альманахи, в которых — мы знаем это по рецензиям и библиографическим справкам — имеются стихи и прозаические произведения Мандельштама. Мы указывали эти альманахи и журналы в нашей библиографической справке, часто не зная даже, какие именно произведения Мандельштама там помещены. В таких случаях нами приводятся только название издания, его выпуск и год. Так именно обстоит дело с возмутившим Г. Иванова «Абраксасом». Не нашли мы также сборника стихов «Московские поэты» (изданного в Великом Устюге!), сборника «Тринадцать поэтов» (о нахождении там стихотворения «Зверинец» знаем из рецензии на этот альманах), альманаха «Возрождение», журналов «Гермес» (Киев), «Паруса», многих номеров журнала «Россия», журнала «Творчество», альманаха «Сирена» (Воронеж) и даже 9-й книги «Северных Записок» за 1913 г. Нелегко найти многие из повременных, да еще иной раз провинциальных, изданий в библиотеках русского Зарубежья, в книгохранилищах Запада и Америки! Так, нам не были известны приводимые рецензентом два политических стихотворения Мандельштама. Но не правильнее ли было бы со стороны Г. Иванова, не ог-раничиваясь отрывками, указать — где именно они опубликованы, или привести их в своей рецензии целиком? Мы честно сказали в предисловии к «Собранию сочинений» («Собранию, а не «Полному собранию»), что «в неразысканных нами альманахах и журналах имеется, очевидно, еще некоторое количество неизвестных стихов поэта». Почему мы всё-таки считали необходимым включать в библиографию и те альманахи и журналы, которые нами не обнаружены? Да просто потому, что эти справки помогут будущей работе по собиранию наследия Мандельштама, как нам помогли библиография Владиславлева и другие справочные издания. По той же причине мы поместили в книгу и все известные нам разночтения и варианты, не считаясь с эстетической стороной издания. Нужно было использовать редкую в условиях эмиграции возможность — сохранить от полного исчезновения и гибели возможно большее число мандельштамовских текстов и материалов о Мандельштаме.

Что касается невключенных нами в книгу четырех последних статей из книги «О поэзии» и ряда других материалов, собранных нами, мы надеемся их издать дополнительным томом, о чем также писали в предисловии. Упрек автора рецензии, что вместо библиографии с ее «Абраксасами» можно было напечатать остальные четыре статьи из книги «О поэзии», неоснователен. Во-первых, в издании, стремящемся сохранить всё, что возможно, о Мандельштаме, библиография неизбежна и абсолютно необходима, а вовторых, она занимает всего восемь страниц. Стесненные техническими требованиями издательства имени Чехова — не более 416 страниц в книге — редакторы не могли вместить в книгу больше того, что они вместили. И восемь страниц, отданные под библиографию, не помогли бы: вся книга «О поэзии» всё равно не уместилась бы в наш том.

8) Г. Иванов упрекает нас за то, что в биографическом очерке о Мандельштаме ничего не сказано о его несчастной женптьбе и о его «горячо любимой дочери Липочке». Эти упоминаемые Г. Ивановым факты из биографии Мандельштама в момент составления нашего биографического очерка не были, повидимому, известны многим лицам, интересовавшимся Мандельштамом и писавшим воспоминания о нем — например, С. К. Маковскому, который уже позже писал Г. П. Струве, что был поражен, узнав, что Мандельштам был женат. Сам Георгий Иванов умолчал об этих фактах в своих воспоминаниях о Мандельштаме. Наш биографический очерк представлял собой первый опыт биографии Мандельштама и был составлен главным образом на основании опубликованных материалов, и пропуски и промахи в нем были неизбежны.

Мы знаем, что недостатков в нашей редакторской работе много — их и не может быть мало: Мандельштама до нас никто не «собирая», собрание его сочинений издано впервые. Но как раз настоящих недостатков и ошибок Г. Иванов не заметил, а придрался к мнимым, обнаружив при этом плохое знакомство с рецензируемой им книгой.

Глеб Струвс Борис Филиппов

ОТВЕТ г.г. СТРУВЕ И ФИЛИППОВУ

Отвечаю г.г. Струве и Филиппову.

- 1. Из моей рецензии в этом месте редакцией было выпущено несколько слов. Этот пропуск, впрочем, нисколько не уменьшает основательности моего вопроса: почему, собственно, очевидно? Ответ г.г. редакторов этого не разъясняет, а напротив вносит еще большую неразбериху. «Но так как в 'Стихотворениях 1928 г.' все эти три стихотворения опубликованы в качестве самостоятельных произведений, мы и не могли утверждать решительно... а выразились осторожно: 'Очевидно у автора бродила мысль о какой-то поэме'...». Не могу не указать, что «очевидно» по русски значит: несомненно, безусловно. А отнюдь не: возможно, вероятно и т. д. Очевидно порусски является решительным утверждением (употребляю плеоназм г.г. редакторов), не содержащим в себе никакой осторожности. А что в догадках, домыслах и предположениях очевидности быть не может очевидно всем и каждому.
- 2. «Отец Мандельштама видимо говоривший на плохом русском языке» это замечание г. Струве основано «на словах самого О. Мандельштама». Только г. Струве не принял во внимание, что слова эти взяты из очаровательной «Египетской Марки» одного из редких образцов русской сюрреалистической прозы. Принимая за истину все ее фантастические и стилистические вычуры, можно счесть, например, «в не по чину барственной шубе» фотографически точным портретом одного из основоположников символизма, директора Тенишевского училища В. В. Гиппиуса-Бестужева. И ссылаясь «на слова самого Мандельштама» «литератор-разночинец», настаивать на «плебействе» В. В. Гиппиуса-Бестужева. Повторяю, отец Мандельштама отлично говорил по-русски. Разумеется его подлинный отец, а не тот, прошедший «сквозь магический кристалл Египетской Марки».
- 3. «В полоборота, о, печаль»... То же недоумение, что и я выразил и Г. В. Адамович в № 6 «Опытов». Для краткости отсылаю г.г. редакторов к заметке 1`. В. Адамовича, такого же, как я, участника тогдашней петербургской литературной жизни.
- 4. Охотно верю, что в «Аполлоне» 1911 г. была напечатана указанная г.г. редакторами строка, а не «потянулась оживая». Возможно, что она в первом «Камне» изд. «Акмэ» 1913 г. Я ведь писал «мне кажется». Мандельштам часто делал по несколько вариантов одной и той же строки. Мое указание на «новшество», возбудившее спор в Цехе, от этого ничуть не теряет своего значения.

5. Мое сомнение в том, что Мандельштам действительно псревел отрывок из Grand Testament и «Балладу о дамах прошлых времен» вызвало в г.г. редакторах изумление. Между тем сомнение, высказанное мной, основано на очень близком знании Мандельштама, с его достоинствами и слабостями. Сомневаюсь. И даже очень сомневаюсь. Не в самой «публикации» в каком-то сборнике. Мало ли что мог напечатать Мандельштам лишь бы рукопись была принята и оплачена... Мандельштам молитвенно-серьезно, с какойто исступленной честностью относившийся к своему творчеству, сутками не выходивший из дома, поглощенный шлифовкой какойнибудь строфы — с поразительным, чисто детским легкомыслием относился ко всему, что он считал «халтурой». А переводы как раз и входили для него в это понятие. Когда зимой 20-го года Мандельштам вернулся в Петербург, ему, естественно, сейчас же предложили заняться стихотворными переводами для горьковской Всемирной Литературы. Переводами в те голодные годы кормились решительно все поэты. Но тут, неожиданно, выяснилось, что Мандельштам, несмотря на свой огромный талант, лишен самой элементарной способности рифмованно передавать чужое. Ни уроки общепризнанного мастера переводов М. Л. Лозинского, ни совсты и помощь Гумилева, не привели ни к чему. Справиться с работой, легко исполнявшейся учениками-студистами, он так и не смог. И несмотря на то, что членами коллегии были его ближайшие друзья, ни один из переводных опытов Мандельштама не был принят. Неудачи эти очень огорчали Мандельштама. В заработке он нуждался еще больше остальных. Однажды он торжественно принес Гумилеву рукопись — «Вот, оды Китса!» — Гумилев удивился. -- «Но ведь ты не знаешь английского?» — «Мне сделали подстрочник!» — Перевод оказался отчаянным. Гумилев, просмотрев его, взялся за Мандельштама. — «Осип, признавайся, откуда ты взял это?» — И Мандельштам «признался». Перевод ему вручила знакомая барышня, мечтавшая увидеть его напечатанным, хотя бы под псевдонимом, только бы напечатали. Гонораром она не интересовалась. — «Гонорар мне! А Мандельштам, чем не псевдоним?», старался он убедить Гумилева. Это вспомнившееся мне, долго тогда смешившее всех нас — «А Мандельштам, чем не псевдоним?» — и заставило меня усумниться не в самой «публикации», а в подлинности авторства Мандельштама. Повторяю, что перевод виллоновской Баллады представляет совершенно исключительные трудности. Ее, взаимно состязаясь, перевели два такие искусника перевода, как Брюсов и Гумилев, и мне не верится, чтобы Мандельштам взялся перєводить ее заново.

- 6. «Реймс и Кельн». Отсылаю г. г. редакторов к вышеупомянутой заметке Г. В. Адамовича (там же и о Чаадаеве). Прибавлю только, что в своем очередном обзоре в «Аполлоне» 1915 г. я включил эти две, нигде не напечатанные строфы по просьбе самого Мандельштама, снабдив их «для проформы» Мандельштамом же придуманным замечанием о «риторичности» несуществующего начала стихотворения. Было это 40 лет тому назад. Мы были молоды и любили «веселость едкую литературной шутки».
- 7. «Добавим к этому что среди лиц, за необращение к которым упрекает нас г. Иванов, есть такие, с которыми мы были в переписке в процессе работы над изданием, напр. С. К. Маковский». Догадаться, что с С. К. Маковским г. г. редакторы «были в переписке в процессе работы над изданием» я действительно не мог редакторского «спасибо за помощь!» С. К. Маковский почему-то не заслужил. Единственное упоминание в связи с «работой над изданием» маститого редактора «Аполлона» находим на стр. 377 № 170: «Взято из книги С. Маковского «Портреты Современников». Судя по характеру и стилю, стихотворение это Мандельштаму только приписывается». Кстати, стихотворение это, по моему мнению, типично мандельштамовское, хотя, конечно, не из лучших. «За высокое племя людей...» «Мне на плечи кидается век-волкодав» «Чтоб сияли всю ночь голубые песцы» характерные мандельштамовские интонации и словарь.
- 8. «Почему не все стихотворения из Гиперборея включены в Стихотворения 1910-1923 гг. грозно спрашивает г. Иванов». Недоумеваю в чем собственно г.г. редакторы усмотрели «грозность»? Г. г. редакторы утверждают, «что несмотря на очень упорные розыски» ими найдены «за рубежом» только три номера Гиперборея. Знаю, что в Париже имеются и другие номера. Года полтора тому назад мне пришлось перелистать некоторые со стихами Мандельштама, не включенными в «Собрание Сочиненей». Среди прочих:

Хлеба́. Серебряные рыбы. Плоды и овощи простые. Крестьяне — каменные глыбы. И краски темные, живые.

9. «Не правильнее ли было бы со стороны Г. Иванова, не ограничиваясь отрывками, указать где именно они опубликованы или (?) привести их в своей рецензии целиком?» Но почему собственно мне следовало в моей рецензии «не ограничиваясь отрывками, указать где именно они опубликованы или (?) привести их целиком» — для меня неразрешимая загадка... «Мы указываем эти альмана-

хи и журналы, часто не зная даже какие произведения Мандельштам там помещал», заявляют г. г. редакторы. Позволю себе усумниться не только в том, что такая библиография «неизбежна и абсолютно необходима», но и в правильности избранного г. г. редакторами метода. Когда изредка «трудные поиски» Абраксасов и велико-устюжских «Сирен» увенчиваются успехом — что мы из них узнаем?.. «Сборник 'Тринадцать поэтов' (о нахождении там стихотворения «Зверинец» знаем из рецензии на этот альманах)»... Что из этого следует? Какой смысл «устанавливать, что «Зверинец», одно из знаменитейших стихотворений «Tristia», появилось впервые в «Тринадцати поэтах»? «Упоминаемые г. Ивановым факты из биографии... не были повидимому известны многим лицам»... Мало ли что из биографии Мандельштама не было известно не только «многим лицам», но и самим г. г. редакторам! Не моя вина, что они не подозревали о женитьбе Мандельштама и о его дочери Липочке — факты, на которые ясно указывает стихотворение № 181, помеченное 1923 г. — годом рождения его дочери — и не снабженное в Собрании Сочинений никакими комментариями. «Сам Г. Иванов умолчал об этих фактах в своих воспоминаниям о Мандельштаме». Мало ли что я еще знаю и о чем «умолчал» в моих полубеллетристических фельетонах, из которых составились «Петербургские зимы»? Иввестие о женитьбе Мандельштама, удивившее весь тогдашний литературный Петербург, привез из Москвы весной 1922 года Корней Чуковский. Вскоре, осенью того же года, перед своим отъездом заграницу я в Москве прощался с Мандельштамом и познакомился с его женой. Позднее, уже в Париже от наезжавших сюда из России общих знакомых — Альтмана, Мейерхольда, Миклашевского, я слышал разные грустные и даже трагические подробности о судьбе этого брака.

Георгий Иванов.

ИСПРАВЛЕНИЕ

В № 44 «Нов. Жур.» в статье В. Маркова «Моцарт» надо сделать следующие исправления: стр. 101, 20 строка снизу, напечатано: «то, что Пушкин написал до 'Салтана'». Нужно: «то, что Пушкин написал Салтана; стр. 104, 16 строка снизу: «расиновской красоты Расина», нужно: «расиновской красоты Грибоедова»; стр. 110, 16 строка снизу, напечатано: «наполняют зал», нужно: «наполняет зал».

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» ЗА 1955 ГОД

КНИГА 43-я. ПРОЗА: Бор. Зайцев — Звезда над Булонью. Леонид Зуров — Ксана. Гуси-лебеди. Н. Ульянов — Сириус. СТИХИ: Н. Бернера, А. Величковского, И. Елагина, Ю. Одарченко, И. Одоевцевой, Ек. Таубер, И. Чиннова. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУС-СТВО: Р. Плетнев — Преображение мира. Ю. Клобуковский — Трое Толстых. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Ек. Кускова — Давно минувшее. М. Л. Гофман — Петербургские воспоминания. Б. Л. Гершун — Воспоминания адвоката. ПОЛИТИКА И КУЛЬ-ТУРА: Н. А. Бердяев — Из записной тетради. Г. П. Федотов — Две статьи. Дм. Иванцов — Последний удар по колхозам. Г. Гинс — Церковь и война. Ф. Степун — Родина, отечество и чужбина. М. Вишняк — Об общественном мнении в СССР. М. Карпович — Комментарии. СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: А. Кохановская — П. П. Чистяков. М. Л. Гофман — Существует ли неизданный дневник Пушкина? Проф. В. Тотомианц — Журнал «Начало» и провокатор Гурович. Б. Крестинский — Происходит ли концентрация производства? БИБЛИОГРАФИЯ: Георгий Иванов — О. Мандельштам. Прот. В. Зеньковский — Б. Вышеславцев. Вечное в русской философии. Петр Ершов — Московские новинки о советском театре. С. Зеньковский — The Formation of the Soviet Union, by R. Pipes. А. Браиловский — О произведениях Н. С. Калашникова. Г. Иванов — Г. Адамович. Одиночество и свобода. В. Коварская — The Art and Architecture of Russia, by G. Hamilton. П. Ершов — А. и Е. Фесенко. Русский язык при советах. Ю. Сазонова — Л. Леонидов. Рампа и жизнь.

КНИГА 44-я. ПРОЗА: Мих. Иванников — Правила игры. Г. Альтшуллер — Дело Тверитинова. В. Яновский — Болезнь. СТИХИ: Георгий Иванов — Дневник; Вл. Корвин-Пиотровский — Заклинания; Игорь Северянии — Очаровательные разочарования; Лидия Алексеева, Кира Славина. ЛИТЕРАТУРА и ИСКУССТВО: Г. Адамович — Наследство Блока. В. Марков — Моцарт. Е. Каннак — Неизвестная пьеса А. Чехова. ВОСПОМИНАНИЯ и ДОКУМЕНТЫ: Ек. Кускова — Давно минувшее. Г. Андреев — Трудные дороги. А. Бургина — Неизданные письма Софии Ковалевской. ПОЛИТИКА и КУЛЬТУРА: М. Вишняк — Мемуарист, историк, политик, человек в «Воспоминаниях» П. Н. Милюкова. Н. О. Лосский — Мысли Н. А. Бердяева о назначении человека. А. Добровольский — Фиктивные и действительные закономерности. С. Шварц — ХХ-й съезд КПСС. О. Анисимов — Большая стратегия советской внешней политики. М. Карпович — Комментарии: 1) Постскриптум к статье О. Анисимова, 2) К нашим читателям. БИБЛИОГРАФИЯ: Н. Ульянов — Книга о В. Э. Мейерхольде. А. Гольденвейзер — R. Maurach. Handbuch der Sowjetverfassung. Р. Плетнев — Ю. Сазонова. История русской литературы. Ю. Денике — В. Варшавский. Незамеченное поколение. В. Варшавский — С. Жаба. Русские мыслители о России и человечестве. М. Добужинский — С. Маковский. Портреты современников. В. Эфер. — Ал. Браиловский. Дорогою свободной. Роман Гуль — Б. Ольшанский. Мы приходим с востока.

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией М. М. КАРПОВИЧА

ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

В 1956 году выйдет ЧЕТЫРЕ КНИГИ

Подписная цена по 1 дол. 75 цент. за книгу, т. е. 7 долларов за 4 книги с пересылкой.

Цена одной книги — 2 доллара

Во Франции — 400 франков, в Германии — 4 марки, в Бразилии — 40 крузейро

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»: The New Review, Inc., 223 West 105th Street, New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: МО-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 4-х до 5-ти час. дня